

Дальний Восток



1976



На Комсомольской
площади
в Хабаровске

Фото В. Пильгуева



Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
И ХАБАРОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ГОД ИЗДАНИЯ 44-й

С О Д Е Р Ж А Н И Е

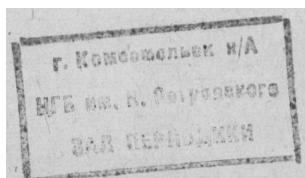
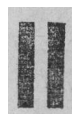
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Алексей Бадаев — ИЗ ПЕСЕН СУРХАРБАНА: ПРОСЛАВЛЕНИЕ ГОДА, ПРОСЛАВЛЕНИЕ МАСТЕРА, «ЗЕМЛЯ ВЫДЫХАЕТ БЕЛЕСУЮ ДЫМКУ ТУМАНА...», «ВЫ, О МОЛОДОСТЬ И СТАРОСТЬ, — ТАЙНА БЫТИЯ...», «БУДЬ БЕСПОКОЙНЫМ, КОГДА НЕ ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ...», «ПРИРОДА СОТВОРИЛА ГОРЫ, РЕКИ...», стихи	3
Борис Миллер — «С УТРА КО МНЕ В ОКНО...», В НАЧАЛЕ ДНЯ, стихи	5
Владимир Санги — БАМ, стихи	6
Федор Стариков — ТРУДНАЯ НАУКА, повесть	7
Ян Вассерман — МЫС АНИВА, АНТОШКА, ГДЕ-ТО В МАЕ, ДЕВЧОНКАМ ПОСЛЕВОЕННЫХ ГОДОВ, ПЕСОЧНЫЕ ГОРОДА, МЕТЕЛЬ, стихи	78
Лада Магистрова — «ЖИВУ Я НЕПРИКАЯННО И ПРОСТО...», «СТО ДОРОГ...», «УМИРАЛ ЧЕЛОВЕК...», «МОИ ЧЕРНЫЙ НЕСКЛАДЕНЬШ БУДЕТ ДОГОМ...», «КАКОЕ СЧАСТЬЕ ЗНАТЬ, ЧТО ТЫ НЕ ЛИШНИЙ...», стихи	81
Юрий Ефименко — СЛОЖНАЯ ИСТОРИЯ, повесть	83

ПО ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ

Валентин Федоров — ТОННЕЛЬЩИКИ, очерк	109
Владимир Коренев — ЖИВОЙ ОГОНЬ, очерк	115
Зиновий Ключиков — ПОКОРЕНИЕ БУРЕИ, репортаж	118
М. Чапаров. — МЫ МОЛОДЫ, НАМ ПЯТЬДЕСЯТ	121

НОЯБРЬ • 1976



В. И. Чернышева — ХАБАРОВСК В ГОДЫ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ	124
--	-----

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Б. П. Полевой, Г. Н. Утин — НАХОДКА КАРТЫ В. К. АРСЕНЬЕВА	134
--	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Л. Якимова — СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ СИБИРИ	139
Н. Рогаль — ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ ПОЭТА-ЛИРИКА	151
А. Кабаков — ТРУДНАЯ НЕФТЬ	157
НОВЫЕ КНИГИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ	158
КОРОТКО О РАЗНОМ	159

Главный редактор **Н. М. РОГАЛЬ.**

Редакционная коллегия:

**В. Н. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, В. М. ЕФИМЕНКО,
Н. Д. НАВОЛОЧКИН (зам. главного редактора),
В. Е. РОМАНОВ, В. М. САНГИ, П. В. ХАЛОВ.**

Ответственный секретарь **К. С. ОВЕЧКИН.**

Рукописи объемом меньше авторского листа не возвращаются.

Технический редактор *Н. А. Лызова*. Корректор *А. Е. Москвитин*.
Адрес редакции: 680610, г. Хабаровск, Комсомольская ул., № 80. Телефон 33-13-68.

Подписано к печати 21/X 1976 г. ВЛ 00297.
Бумага 70X108 ¹/₁₆. 14 усл. печ. л., 15,76 уч.-изд. л. Тираж 30 000 экз.
Заказ № 563. Цена 50 коп.

Хабаровское книжное издательство, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.
Типография № 1 Краевого управления издательств, полиграфии и книжной торговли,
г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.



«Дальний Восток», 1976

Из песен Сурхарбана

1. ПРОСЛАВЛЕНИЕ ГОДА

Добра земля. Когда в ней семена
труда людского — как щедра она!
Трава и злаки лезут дотемна
вверх по лучам — по нитям небосвода.
Молочных рек на фермах слышен ход.
У стригалей руна — неспорот.
Так мудрено ль, что весел полевод
и так светла улыбка скотовода!

Видать, не пожалели мы труда.
Похоже, год-то будет хоть куда!

Кто молодежь ругает? Что за вздор!
Работать, петь ли — тотчас дружный хор!
А девушки — как будто на подбор:
чем поздно сватов слать — уж лучше

рано!

Одна печаль: тyani иль не тyani —
разборчивы невесты в наши дни.
И станут разговорчивы они
лишь с победителями Сурхарбана.

Найдутся и герои, не беда.
Похоже, год-то будет хоть куда!
Забыла степь о воздухе сыром.
Но слышен гром, июльский нежный гром.
Он — голос, возвещающий о том,
что наконец включилась и природа
в народный летний праздник, а верней—
в веселье вся и всех: людей, коней,
а также луков, стрел, до этих дней
висевших на стене в течение года...

А Сурхарбан-то нынче — красота!..
Похоже, год-то будет хоть куда!

2. ПРОСЛАВЛЕНИЕ МАСТЕРА

На стене,
над ложем старого стрелка,
год висели,
запыленные слегка,
лук из рога и серебряный колчан,
вещи древние, начало всех начал.
Так кинжал висит
над жителем вершин,
так хуур¹
всегда хранит улигершин.

¹ Хуур — музыкальный, инструмент.

Алексей БАДАЕВ



Эти стрелы,
 этот дивный мощный лук —
 это дело чьих искусных умных рук?
 Что за мать-земля
 вдохнула жизнь в него?
 Дух бессмертья, в нем живущий, —
 от кого?
 Безымянный мастер,
 гнувший этот рог,
 был поэтом.
 Это — лучшая из строк!
 В этой песне
 гул ветров и писк птенца,
 появившегося нынче из яйца,
 сила скрытая берез,
 мороз и зной
 и гармония изюбра —
 в ней одной...
 И любой музей,
 конечно, был бы рад
 все отдать
 за этот редкий экспонат.
 В нем
 высокое искусство —
 на века! —
 вновь явила нам
 безвестная рука.

* * *

Земля выдыхает белесую дымку тумана,
 зевает, отходит от сна, хоть не так уж
 и рано.
 Видать, разомлела земля, подремать ей
 охота.
 Еще бы, вчера ведь такая свершилась
 работа!

Земля поражает здоровьем своим
 исполинским.
 Она нас вскормила своим молоком
 материнским.
 И вечно в трудах. Мудрено ли, что нынче,
 с рассветом,
 она пробуждается, долго зевая при этом?

* * *

Вы, о молодость и старость, — тайна
 бытия.
 Ваши голоса во мраке снова спутал я:
 эта песня за дорогой, за крошечной
 мглой, —
 песня о любви грядущей или о былой?

Голос юным остается, хоть и гаснет
 взгляд.
 И поют старушки, каждой — мало
 шестьдесят...
 Если столько в этой песне силы и тепла—
 то любовь была какая, ах, любовь была!..

* * *

Будь беспокойным, когда не грядут
 перемены.
 Там беспокойся, где царствует мнимый
 покой.
 В жизни спокойны, пожалуй, одни
 манекены.
 Ну да и скалы, которым до неба —
 рукой...

Ярость судьбы не сильнее человеческого
 гнева.
 Сколько бы яростных лет над землей
 ни прошло,
 истинно грозным и яростным могут быть
 небо
 и человек, увидавший воочию зло.

* * *

Природа сотворила горы, реки,
 живых существ — от мухи до слона,
 но лишь в одном создании — в человеке—
 зажгла источник разума она.

А сын? Неблагодарный, год от году
 он в творчестве являл такую прыть!
 И до того дошел, что мать Природу
 теперь готов во многом поучить.

С бурятского перевел Юрий РЯШЕНЦЕВ.



* * *

Борис МИЛЛЕР



С утра ко мне в окно

стучится кто-то:

— Тук-тук!

— Кто там?

— Я — песня. Отворяй.

А мне, сказать по правде, неохота

Покинуть мягкий, обогретый рай.

— Тук-тук! Тук-тук!..

Настойчивость завидна.

Уже и солнце светом истекло.

Иду к окну. И сквозь него мне видно —

То голубь бьет крылами о стекло.

Такая песня мне в окно стучала

И упорхнула, не успев влететь...

Пусть нет стиха, но есть уже начало —

И, значит, дело сделано на треть.

Вот снова слышу тук-тук-тук!..

И споро

Я подбегаю к синему окну.

Но только ветер, балуя со шторой,

В лицо мне вешней свежестью пахнул.

Он прост,

как все великое на свете.

Ему лететь. Ему весну встречать...

Смотри: стихи готовы на две трети!

Теперь меня от них не оторвать!..

В НАЧАЛЕ ДНЯ

Качнулась сарана на тонкой ножке,

разжав бутон в рассветные часы.

И вот — алеют у нее в ладошке

рубиновые камешки росы.

А на лугу бессчетно и несметно,

сверкая так, что береги глаза,

под диском солнца золотисто-медным

разбрызгана по травам бирюза.

Куда-то облака плывут отважно,

туманя неба радостный сапфир.

Таким вот легким, многоцветным, влажным

люблю и принимаю

этот мир!

Перевел с еврейского
Виктор СОЛОМАТОВ.



БАМ

По болотам, где лишь выдре проползти,
По тайге, где ни ночлега, ни пути,
«Бам!» — трубит изюбр вселенной по
утрам,
Эхо тут же возвращает нам: «Бам! Бам!»

Клад несметный мать-земля хранит в себе,
«Бам...» — чуть выдохнет, покорная
судьбе,
Словно просит нас во тьме любая пядь
Этот клад из глубины своей принять.

Владимир САНГИ



Здесь однажды выдра высунула нос
И застыла в тине, где лишайник рос:
Будто небо раскололось пополам,
Раскатилось стоголоса: БАМ! БАМ! БАМ!

Расступись, тайга, не хмурь своих бровей,
Стань уютней и добрее, и светлей,
Мы друзья твои сюда к тебе пришли
Ради жизни, ради юности земли.

Мы пробьемся сквозь тайгу — всесилен
труд! —
И уйдем в края другие, где нас ждут.
Время головы заснежит, но глаза
Не состарят ни пурга и ни гроза.

Ночь тайги разбудит солнце наше — БАМ!
В новых далях разнесется наше — БАМ!
Отзовется в поколениях наше — БАМ!
Вечной памятью пребудет наше — БАМ!

Усть-Кут—Улькан—Тында
Декабрь, 1975.

*Перевел с нивхского
Марк ЛИСЯНСКИЙ.*



ТРУДНАЯ НАУКА

ПОВЕСТЬ

Спешу предупредить: обо мне здесь нет ни одной строчки, хотя рассказ идет от первого лица.

С Петькой (сейчас уже Петром Николаевичем) мы дружны с детства, и я ему немного завидую. Петр Николаевич закончил курсы и стал старшиной, я порадовался за него, но стерпел. Он закончил вторые курсы и стал капитаном сейнера, я стерпел. Он закончил морское училище и стал водить океанский сейнер в непривычные для нас дали, а я терпел! Он получил Звезду Героя! Здесь уж я... взялся за перо.

Я не стану писать о его настоящем, а расскажу о том времени, когда Петр Николаевич был еще обыкновенным Петькой. Время было трудное, послевоенное. С той поры в нашем колхозном флоте так все изменилось, что молодым, начинающим сейчас, трудно будет поверить в то, о чем здесь рассказывается. Но все это было.

1

Ворона уселась на торчащую из воды корягу и каркнула несколько раз подряд, нахально разглядывая меня. И чего раскаркалась, как будто делать ей больше нечего! Я погрозил вороне кулаком и вдруг вспомнил, что сегодня день моего рождения.

Шестнадцать лет — это рубеж, после которого начинается совершенно новая жизнь: скоро у меня будет паспорт, тогда не придется больше позориться с детской справочкой всякий раз, когда дело доходить до документов. Ох, и натерпелся же я с этим свидетельством о рождении за последнее время! Прямо сейчас бы побежал получать паспорт. Но сегодня нельзя: сегодня, в первой половине дня, наш «СП-44» выходит на лов рыбы. Ради этого стоит немного потерпеть. Для меня первый выход в море — настоящий праздник, как подарок к дню рождения!

Именинник вороне не понравился. Она отлетела подальше и уселась на низкой крыше ледника, в дальнем конце деревянного пирса. Я проводил ее презрительным взглядом и отвернулся: надо быть полным идиотом, чтобы родиться вороной. А я с сегодняшнего дня рыбак! Только вот. ждать отплытия трудно. Скоро пройдет половина первой половины дня, а старшины все еще нет. Дотянет, пока что-нибудь случится, и не выдать нам тогда моря, как своих ушей. А случиться всякое может, недаром ворона каркала. Смешно, конечно, верить в приметы: кошки, вороны, пустые ведра — все это ерунда на постном масле. Но ведь бывают же совпадения.

Чувство тревоги преследует меня, побуждая к активным действиям. Отдать бы сейчас швартовы и плыть самому вниз по течению реки. Какой бы переполох поднялся на той стороне, в мэрэесе, да и здесь, на рыбобазе! Так я, конечно, никогда не сделаю, но погугать немного кое-кого не мешало бы, чтоб поторапливались.

На судне я один, значит, могу думать, как хочу, даже высказывать мысли вслух. Старшина судна Кашин уехал в мэрэс, прихватив с собой ловца Антипова. Уехал по каким-то старшинским делам, которым, похоже, конца никогда не будет. Остальные, во главе с Зубовым, пошли в магазин за махоркой и тоже пропали без вести. Впрочем, магазин недалеко, можно сбежать, появившись только Кашин.

Противоположный берег реки совершенно пустынный, словно там все вымерло еще задолго до появления жизни на земле. Только одиноко темнеет на светлом песке наша шлюпка, до половины вытащенная из воды. С ума сойдешь от такого однообразия. Непонятно, как иные люди могут всю жизнь оставаться на твердой земле.

Я нашел себе подходящее занятие: изображая старшину, начал обход палубы.

— Проверим, готово ли судно к выходу в открытое море, — сказал я довольно решительно, но тут же почувствовал затруднение: интересно, что в первую очередь должно интересовать старшину в такой ответственный момент?

Ничего не придумав, я для начала пнул сапогом бухту канатов, аккуратно уложенную по борту вдоль кубрика. Таких бухт у нас две, называются они ваерами, и каждая имеет длину шестьсот метров. Мне уже известно, что ваера вместе с тралом составляют наше орудие лова, но непонятно одно: как это можно ловить рыбу веревками? Спросить бы у старших, но я, боясь показаться смешным, ждал выхода в море, где само собой все объяснится.

Палуба небольшая, очень не разгуляешься. Я попробовал руками упругость вант, потрогал клинья, которыми крепился брезент на трюме, и пошел на корму. Трал лежал на своем месте. Я одобрительно кивнул. Судно вполне готово к выходу в море. Вот разве что-нибудь с двигателем! Впрочем, за двигатель можно не беспокоиться: там командует Пронин!

Три дня назад Пронин, только что закончивший курсы мотористов, явился на судно. Он охотно делился со всеми недавно приобретенными знаниями и вонючим самосадом из новенького кисета. Распространяемый прониным табаком запах для нас, некурящих, оказался сущим наказанием. Но надо было терпеть, потому что как же иначе узнаешь, что четырехтактный двигатель гораздо экономичнее двухтактного, и многое другое.

Хотя в рассуждениях Пронина для меня многое и оставалось не-



Федор Семенович Стариков родился в 1930 году в Приморье. Много лет работал ловцом, потом мотористом на колхозных судах. Сейчас живет в Советской Гавани. В журнале публикуется впервые.

понятным, но одно я усвоил крепко: в технике этот человек силен. Поэтому, когда Пронин пошел в машинное отделение, где слесарь Ушкалов заканчивал ремонт двигателя, я неслучайно оказался поблизости.

— Здорово, Гена! — сказал Пронин, неторопливо спускаясь по трапу. — Трудисься помаленьку?

— А, Устинович! Здорово! Тружусь, как видишь!

— Как машина? — продолжал Пронин, останавливаясь на последней ступеньке трапа.

— Да, ничего, путину отмолотит. Сейчас заводить будем, посмотришь сам. Давай знакомься, привыкай.

— А чего тут знакомиться: две трубки всего! — бросил Пронин и поворотил назад.

Ушкалов казался вконец озадаченным. Он даже не нашелся что ответить. Я наблюдал все это с палубы и с готовностью посторонился, чтобы не загораживать дорогу большому специалисту. Вместе с табачным запахом Пронину охотно извинялось и то, что он мал ростом, неуклюж и на ходу раскачивается с боку на бок, как утка. Выдающаяся личность может позволить себе то, чего мы никак не можем простить обыкновенным людям.

Между прочим, разговор в машинном отделении как-то сразу превратился в анекдот местного значения. Ребята охотно рассказывают его друг другу, безобразно искажая факты. По-моему, все они просто завидуют нашему мотористу...

Вспоминать о хорошем человеке — одно удовольствие. Я откинул крышку люка, устроенного над дверью для того, чтобы мотористы могли входить не нагибаясь, и заглянул в машинное отделение.

— Леонид Устинович, у тебя все готово к выходу в море?

Это был один из тех ненужных вопросов, на которые ответ известен заранее, но без которого трудно начинать разговор. Я с удовольствием выслушал воображаемый ответ и продолжал:

— Тогда заводи, сейчас выходим на лов, — затем тщательно пересчитал трубки, которых почему-то оказалось девять, а не две.

Двигатель маленький, не очень чистый, со следами масла и накипи на боках. Он больше не казался мне ни загадочным, ни строгим, хоть и невозможно было понять, как и где разместились в нем тридцать лошадиных сил. Дружески подмигнув двигателю: ничего, мол, не расстраивайся, еще и не такое бывает, — я пошел в рубку.

Помощник старшины Зубов (мы называем его старпомом, хотя никаких других помощников старшины на судне больше нет) мог бы и сам быть старшиной, но у нас есть Кашин. Мне кажется, что Зубов на его месте был бы гораздо лучше: он так много знает, а главное, замечательно умеет командовать. Но начальство решило по-своему, и с этим приходится мириться.

Впрочем, и Кашин неплохой старшина: по возрасту он самый старший, к тому же с рыбацким стажем — восемнадцать лет! Но голос у него слабый, он ни на кого не кричит, не приказывает, а просит или старается сделать сам. Странно, такой здоровый мужчина и такой слабый голос — явное несоответствие!

Рубка — любимое место Зубова. Он постоянно находится здесь, словно примеривает рубку на себя, готовясь к будущему. Поэтому, когда я вошел, Зубов — условно — был там. Придирчиво оглядев штурвал, компас, часы, я с огорчением отметил, что времени уже без четверти десять, и решительно потребовал:

— Значит так, Геннадий Иванович, сейчас выходим в открытое море. Готовься отдать швартовы! И проверь, пожалуйста, орудия лова, все ли там в порядке, — добавил я.

Я крутил штурвал, сам себе подавая команды, дергал за тросик звонка, требуя от мотористов то полного, то малого, то заднего хода, пока не вспомнил, что про самую главную команду — отдать концы! — совсем забыл.

Трудная наука — судовождение, обязательно попадешь впросак. Я оставил штурвал и начал придумывать для себя оправдание. Это оказалось совсем не трудно. Действительно! Была же команда: «Готовься отдать швартовы!» — а если без «готовься» — оно и выходит: «Отдать швартовы!» Подумаешь, одно лишнее слово! Да, наш старпом сразу поймет, что одно слово тут лишнее.

Кстати, припомнился недавний случай, так неприятно действовавший на меня: на днях мы заливали смолой палубу, точнее, пазы между досок. И вот, разогревая смолу на костре, Зубов подпалил свою фуфайку, вата сразу полезла во все стороны. Старпом не растерялся — взял мою брезентовую куртку и натянул на пострадавшую фуфайку. Куртка совсем новая, очень хорошая куртка! Я мечтал надеть ее сегодня, перед выходом в море. И вот... Зубов уже привык к моей куртке, как к своей.

Снова ухватившись за штурвал, я с каким-то злорадным наслаждением скатал его влево до отказа. Конечно, штурвал здесь ни при чем, просто попал под горячую руку. Но тут я посмотрел в окно и не увидел на берегу нашей шлюпки.

«Украли! Так и знал, что-нибудь случится! Теперь пойдет волонита... Как? Почему! Пропал сегодня день».

С этими мыслями я рванулся из рубки на палубу, обшаривая взглядом поверхность реки.

Базовский пирс отделен от главного фарватера песчаной отмелью. Чтобы попасть из мэрэса на базу, надо сделать порядочный крюк, а я сгоряча забыл об этом и сразу ударился в панику.

Шлюпка уже обогнула косу и быстро приближалась к судну. Кашин сидел на корме, лицом вперед, обхватив руками что-то блестящее, прямоугольное. Антипов ловко вел шлюпку и что-то говорил с увлечением. Чувствовалось, что он не новичок за веслами, но я заявил вполголоса: «Балабол!» — и тут же прикусил язык. На таком маленьком судне нельзя враждовать и ссориться, жить здесь надо одной, дружной семьей. Это мысли Зубова, мне они очень нравятся, но Антипов все равно почему-то мне неприятен.

Я полтора месяца пробыл на ремонте флота и считаю себя бывалым рыбаком. Обидно, что Антипов, приехавший три дня назад, сразу же стал ловцом, а я кок. Варить тоже кому-то надо, но это слишком скучно и однообразно. Зубов утверждает, что карьера хорошего рыбака всегда начинается от камбуза. Утешение, но слабое. К тому же, и камбуза у нас нет, готовить приходится прямо в кубрике.

Шлюпка подошла к борту. Антипов убрал весла, выбросил их на палубу. Придерживаясь за планшир рукой, он обратился к Кашину:

— Я, Иван Прохорович, сейчас вылезу и приму у вас «инз».

— Ничего, Васильевич, ты лучше придержи шлюпку, — возразил старшина и со словами: — Прими-ка, Петро! — подал мне то, что держал в руках.

Это была большая прямоугольная банка из белой жести. Я принял ее, как награду за долгое ожидание, сверху вниз взглянул на Антипова и отошел в сторону, чтобы не мешать высадке экипажа. Очень хотелось узнать, что значит «и н з э», — что это за штуковина такая? Но я ничем не выдал себя и делал вид, что повидал на своем веку таких банок добрую сотню. Пусть Антипов не думает, что знает больше моего.

— Отнеси неприкосновенный запас в кубрик, поставь в заглазник, там место есть, — поднявшись на палубу, сказал Кашин, огляделся, спросил: — А ребята где, ушли, что ли, куда? — и направился к рубке.

— Ясно! Есть! Пошли в магазин... Да вон они идут! — весело отбарабанил я и еще немного задержался на палубе, чтобы полюбоваться на подхихивавших ребят.

В центре выступал Зубов. Слегка нахмурившись, он глядел прямо вперед и угрожающе сжимал кулаки, хотя достойных противников поблизости не было. Справа от него Пронин важно переставлял короткие ноги. Чувствовалось даже на расстоянии, что идет специалист высокого класса. Слева — Быков, помощник Пронина. Этот не шел ни в какое сравнение с двумя первыми, особенно с Зубовым, который был велик даже в моей брезентовой куртке.

2

«Ну, конечно же, это «энзэ» — неприкосновенный запас, без которого в море нечего делать! Сам ты «инзэ», — спускаясь по трапу в кубрик, мысленно упрекнул я Антипова. Впрочем, от человека с трехдневным рыбацким стажем всего можно ожидать.

Между тем на судне все пришло в движение. Кашин не пошел в рубку, дождался ребят на палубе, сказал:

— Давай, Устинович, заводи, сейчас выходим.

— Валя, включай лампы, грей пока калоризаторы. Я махорку положу и приду, — распорядился Пронин, обращаясь к Быкову.

Валька пошел в машинное отделение, откуда вскоре послышался характерный гул скородействующих ламп. Пронин выложил пачки махорки под постель, а одну из них пересыпал в кисет. Делалось все это не спеша и с самым серьезным видом, словно не было у нас других, более важных дел.

«Быстрой, Леонид Устинович, быстрее надо!» — мысленно торопил я моториста. Но Пронин знал себе цену. По палубе он шагал так, как если бы отправлялся не в море, а на прогулку. Нетерпение мое нарастало. Я не знал, куда себя деть, и сел на фальшборт. Но тут же вскочил, нетерпеливо прошелся по пирсу и вернулся назад.

Гудение ламп в машинном отделении резко оборвалось. Я вздрогнул, насторожился: сейчас вылезет из машинного отделения моторист и заявит, что двигатель вышел из строя. Но Пронин не подвел, двигатель выстрелил выхлопной трубой, потом забарабанили все тридцать лошадиных сил, а палуба пошла мелкой дрожью. Зубов пошел на нос судна, Антипов — на корму, я с удовольствием метнулся на пирс, чтобы отдать наконец швартовы. Старшина озабоченно шмыгнул носом и отправился в рубку. Судно отвалило от пирса.

Море встретило нас холодным, но слабым ветерком и такой мелкой волной, которую иначе, как рябью, и называть неудобно. Море обязано не морщиться, а вздымать настоящие волны. Мне всегда почему-то казалось — рыбаки тем только и занимаются, что совершают подвиги, а в свободное от них время ловят рыбу и на берегу расхаживают по улицам в резиновых сапогах.

Как только судно миновало опасное для судоходства устье реки, Зубов чуть ли не силой отнял у Кашина штурвал. Старшина устал, пусть отдыхает, пока идем к месту лова, а идти нам почти два часа. Кашин уступил с неохотой, но без сопротивления. Предпутинная суета кого хочешь вымотает: имущество получай, документы оформляй, за порядком следи, палубу мой — успевай только поворачиваться. Раза

два старшина, пользуясь моей небрежностью, даже брался за уборку кубрика. Сейчас я строго слежу за этим: прячу метелку подальше.

Пока в рубке были двое, я все время вертелся рядом, а войти туда не решался. Но вот Кашин ушел в кубрик отдыхать, и мне только этого и было нужно.

Зубов встретил меня доброжелательно, улыбнулся даже. Спросил:

— Чего ты вокруг вертишься? Заходи, раз интересуешься!

Он нахмурился, сгоняя улыбку с лица, а взгляд устремил вдаль, прямо по курсу судна. Благодаря старпому я уже знал кое-что о судовождении. Так выяснилось, что название нашего судна «СП» значит сетеподъемник и ход у него около семи миль в час. Ну и, конечно, многое другое. Сейчас мне ничего не оставалось, как устроиться ближе к штурвалу, нахмуриться и смотреть вдаль, по курсу судна.

— Где плавает наша золотая рыбка! — неожиданно воскликнул Зубов и спросил: — Как думаешь, Петро, поймаем, или она только хвост нам покажет?

— Поймаем. Должны поймать! — уверенно заявил я и нахмурился, ни на секунду не отрывая взгляда от горизонта.

Прямо по курсу, где небо и море сходились вместе, виднелся мыс, напоминавший посиневший на холодном ветру нос. Я решил: «Золотая рыбка» — это не что иное, как годовой план. Надо постараться, чтобы хвостик у этой рыбки получился побольше, этак плана на полтора».

— Главное, работала бы машина, а там уж мы развернемся. Понимаешь, Петро, не нравится мне Пронин, не тот человек! — поделился весьма неожиданными для меня сомнениями Зубов.

Пронин мне казался очень даже Тем человеком. Это звезда второй величины на нашем судовом небосклоне, потому что первой звездой для меня был Зубов. Но спорить я не решился и осторожно переменил тему:

— А ветер холодный и как будто усиливается...

— Чего ж ты хочешь, апрель! — удивился Зубов моей недогадливости, легким движением штурвала удерживая судно на курсе.

— Южняк дует, — продолжал я, довольный, что морщинки превращаются в небольшие волны и спросил: — Тралить не помешает?

— Южняк! — передразнил Зубов. — Ты, Петро, как деревенская баба: «Южняк, туфон, каласак!» На море работаешь, привыкай сразу говорить, как положено. А то получится: «Эй, Ванька, отвяжи там веревку, да поедем!» А это зюйд работает.

В замечаниях старпома не все было правдой. «Туфон» — искаженное слово тайфун — так у нас некоторые называют северо-восточный ветер, самый опасный и свирепый на побережье. Я давно это понял и называл его норд-остом. Слово «каласак» произошло от японского — кавасаки. Постараюсь больше не пользоваться им. Но с ветрами действительно получилось неплохо. Не додумался как-то, что южный ветер приличнее называть зюйдом.

Итак, передо мной новая задача: форсировать морскую терминологию. Без помощи старпома здесь, очевидно, не обойтись. Взгляд мой неожиданно наткнулся на топор, оставленный на палубе, рядом с большой чуркой. Чурку я с самого утра собирался расколоть на поленья, но как-то упустил это дело из виду. Топор — слово сухопутное, и, возможно, на море у него есть достойная замена. Не откладывая на потом, я сразу же обратился к старпому:

— Гена, а как будет по-морскому топор?

С минуту Зубов молчал, с интересом разглядывая меня. Лицо его при этом быстро краснело, особенно шея и уши.

— Балда!.. — рявкнул он наконец.

Я невольно отшатнулся, подвинулся к самой двери. Помолчали. Зубов успокоился, поинтересовался, не глядя в мою сторону:

— Не пойму я тебя, Петро. Парень вроде ничего, а как сморишь что-нибудь: хоть стой, хоть падай!

Я не обиделся, а спросил, как называется мыс, похожий на нос.

— Мыс Встречный, — с готовностью ответил Зубов.

— Мы туда идем?

— Нет, Видишь, вон наши тралят, на траверзе Русаловки?

Опять новое слово! Вернее, оно встречалось и прежде, но сейчас получило неожиданный и важный смысл. Траверз! Надо запомнить.

Присмотревшись, я увидел над горизонтом рубки и мачты, до них было еще далеко. А на берегу ничего не было.

— Где же Русаловка?

— Вон за тем мыском. Не видно ее отсюда. Там деревушка — домов пятнадцать. Глушь, ничего интересного.

— Разве ближе нельзя тралить, зачем так далеко ходить?

— Ближе негде. Против Теплинки можно, но там зацепы встречаются. Да разве это далеко — дальше ходили!

Сведения очень важные, абсолютно необходимые будущему старшине. Зубов ничего не пожалел для меня, охотно поделившись своими знаниями. Я почувствовал неодолимую потребность сделать что-нибудь приятное для него и, не придумав ничего лучшего, неожиданно брякнул:

— Знаешь, Гена, мне ведь сегодня шестнадцать исполнилось. Именинник я, кажется... — Среди безбрежной водной глади событие это показалось таким незначительным, что я, смутившись, прибавил только: — Так что... — и замолчал окончательно, не зная, как исправить положение.

— Как это шестнадцать? Сегодня! А чего же ты утром молчал? Ведь такое событие, его же обмыть надо! Денег, что ли, пожалел?

Мое сообщение произвело на старпома такое впечатление, что он оставил штурвал и повернулся ко мне. Судно почувствовало свободу. Как конь, закусивший удила, оно шарахнулось в сторону, нацеливаясь задиристо вскинутым носом прямо на скалы, вдруг оказавшиеся в ужасающей близости от нас.

— Куда, разобьем судно! — заорал я и обеими руками вцепился в штурвал, оставленный Зубовым на произвол судьбы.

— Чего орешь, — сказал Зубов и, мрачно усмехнувшись, оттеснил меня на прежнее место. — До берега больше мили, а ты орешь, как недорезанный поросенок.

Он помолчал, выводя судно на курс, и предупредил:

— Паника на корабле — последнее дело. Запомни это, Петро, раз и навсегда. На лбу запиши, на носу заруби!

Мне нечего было сказать в свое оправдание. Настроение старпома испортилось. Ясно, что день рождения — это прежде всего прекрасная возможность выпить за счет именинника, но по его же халатности возможность эта была упущена. Я почувствовал себя утопающим и в поисках подходящей «соломинки» стал с большим усердием разглядывать море. Ничего утешительного: винно-водочные ларьки в этих местах не водятся. Только мелкие, однообразные волны убегали вдаль, подталкивая и обгоняя судно.

— Может быть, вечером, Гена, когда вернемся? — осторожно спросил я.

— Ладно, там посмотрим, — согласился Зубов.

Пришел Антипов, как всегда, не вовремя: помешал нашей беседе. Я ощутил что-то похожее на ревность, но ничего не сказал, только

подвинулся ближе к штурвалу. Постой, дескать, там, у дверей, а здесь место занято другими.

— У-у, а на скале бакланов — черно! Вот бы ружье, мясом можно завалиться. Только у них мясо противное, рыбой воняет, — с порога сообщил Антипов, бесцеремонно обошел меня, Зубова и пристроился с другой стороны около штурвала. — Скоро придем, а, Гена? — спросил он и заговорил о другом: — Погода сегодня хорошая, тралить можно, холодно только... Горы зеленые, а издалека синими кажутся.

— Это они от тоски синеют, когда ты от них далеко уходишь, — не удержавшись, поддел я Антипова. — А когда подходишь слишком близко, зеленеют от злости.

— Если тебя не спрашивают, то и не суйся. Материно молоко на губах не обсохло, а тоже...

— Слушай, Сенька, у тебя бумага есть? — неожиданно спросил Зубов.

— Что, закурить? Пожалуйста!

Он вытащил из кармана небрежно сложенную газету.

— Я тебе сейчас оторву половину. А то чего ты будешь ходить за мной каждый раз?

Не успел Антипов выполнить свое намерение, как случилось чудо.

— На-ка, Петро, постой, а мы с Сеней покурим, — сказал Зубов.

— Ты кому?.. Мне! — не поверил я, а руки сами потянулись к полированным ручкам штурвала.

Сколько раз мысленно я переживал этот исторический момент. Все было обдумано до мельчайших деталей. Даже мера радости, положенная в таком случае человеку, была заранее высчитана. А получилось это неожиданно просто, очень буднично, без торжественных слов и напутствий. Но судно восприняло смену рулевых по-своему: добро вильнуло туда-сюда и устремилось в открытое море с явным намерением заглянуть за горизонт.

— Мили не воруй! — посмеиваясь, предупредил Зубов.

— Зачем ты так сильно крутишь штурвал? Здесь кочек нету, можно прямо ехать! С таким рулевым до ночи будешь топать. И тралить некогда будет, — набросился на меня Антипов.

— Ладно, Семен Васильевич, кури, — миролюбиво предложил я, готовый согласиться, что Антипов тоже мужик неплохой и с ним можно ладить.

— Ничего, пускай привыкает. Не вечно же ему коком быть, — вступился за меня старпом и затянулся дымом папиросы.

— Да это я просто так. Я хотел только, чтобы он знал, — пояснил Антипов с видом правдолюбца, которому не дают рта открыть, отодвинулся от штурвала и занялся своей папироской.

«Что получил, съел? Со старпомом ты не очень-то!» — с удовольствием подумал я.

Контакт с судном понемногу налаживался. «СП-44» хорошо слушался руля. Он шел уже не зигзагами, а слабо волнистой линией. Очень хотелось, чтобы волнистая перешла в прямую, но этому, очевидно, мешала улыбка, неудержимо расплывающаяся по моему лицу. Здесь бы побольше суровости: нахмурить брови как следует, рот привести в порядок. И что за дурацкая привычка — улыбаться от радости!

И все равно было хорошо. Безмерно хорошо! В какое-то время даже показалось, что жизнь — абсолютное счастье, а за спиной у меня стоят настоящие ангелы. Из скромности они прячут крылышки под фуфайкой и под моей брезентовой курткой, которой мне уже ни сколько не жаль.

Антипов думал иначе. Крылья ему ни к чему, лишняя только обуза. Вот мальчишку проучить надо — строит из себя неизвестно кого.

Ты, Никифоров, почему обед не варишь? — после долгого раздумья нашел он способ оглушить меня. — Время уже двенадцатый час, а он болтается, где ему не положено. С таким коком с голоду подохнешь. Раз ты кок, то не забывай своих обязанностей.

— Точно, Петро, иди заваривай, — сказал Зубов и сам встал к штурвалу.

3

«Ну, Антипов! Ну, погоди!» — думал я, берясь за топор.

Чурка охнула и развалилась на две части. Дальше пошло легче. Поленья летели во все стороны, два из них даже свалились за борт. Количество поленьев росло, и мое настроение изменялось к лучшему. Нет, еще не все потеряно. Передо мной стояла задача сварить борщ, достойный момента.

Верхняя часть печки и низ трубы раскалились докрасна, в кубрике становилось жарко. Я быстро помыл начищенную картошку, покрошил и всыпал ее в кастрюлю. Капусту тоже надо помыть: очень уж она кислая. Где-то есть свекла и несколько морковок.

В кубрик заглянул Антипов. У меня порядочек — не придерешься. Он посмотрел, неопределенно хмыкнул и стал спускаться по трапу. Рукавом рубахи я смахнул с лица пот и невозмутимо принялся скоблить морковку. Невозмутимость эта чисто внешняя. Злости во мне еще вполне достаточно. Да и обидно: на палубе затевается что-то серьезное, а ты торчи возле дурацкой печки.

— Иван Прохорович, вставайте, уже близко, — тихо сказал Антипов и тронул старшину за плечо.

— В чем дело? Уже пришли! — удивился Кашин.

— Пришли! Все наши здесь тралят, и другие колхозы тоже. А «тридцатка» стоит у берега: трал порвали или машина сломалась. Деревня здесь маленькая, домов пятнадцать, не больше!

Все эти сведения разом обрушились на нас. Мне захотелось на палубу, чтобы все увидеть своими глазами. Кашин тихонько покашлял, прикрывая ладонью рот, не спеша поднялся.

— Ладно, иди, я сейчас, — сказал он равнодушно.

Для него это работа, а не праздник, как для нас, новичков. Антипов еще что-то хотел добавить, но только разочарованно вздохнул. Кашин, уходя, спросил:

— Что, Петро, жарко?

— Ничего, Иван Прохорович, привыкаю! — бодро ответил я и стал крошить уже помытую морковку прямо на столе.

— Жарко! — повторил старшина, с одобрением наблюдая за моими действиями. — А что у нас сегодня на обед?

— Борщ будет, Иван Прохорович, и чай.

— О, борщ! Это хорошо! — обрадовался Кашин и пошел наверх.

Нашему старшине все хорошо, что бы я ни сварил. Это, наверно, потому, что аппетит у него отменный.

Дали малый ход. На палубе послышались деловитые голоса. Сейчас начнут ловить рыбу. Что же, пока борщ преет, можно посмотреть. Я взял кастрюлю и пошел на палубу, чтобы попутно начерпать воды для чая.

На палубе прохладно, даже холодновато, и дышится легко. Здесь распоряжался Зубов. Кашин из рубки только наблюдал да управлял

судном. Я поставил кастрюлю на кубрик и кинулся помогать ребятам, для чего-то спускавшим на воду шлюпку.

К шлюпке привязали конец ваера и снова дали полный ход. Судно пошло вперед, а шлюпка, оставаясь на месте, потянула с палубы ваер. Я вертел во все стороны головой, стараясь все запомнить и ждал указаний, чтобы включиться в дело. Но делать пока было нечего, все чего-то ждали. Зубов посмотрел на оставшуюся на палубе часть ваера, посмотрел назад и сказал старшине:

— По-моему, Прохорович, пора поворачивать!

— Да, Геннадий Иванович, пора, — согласился Кашин.

Он круто развернул судно и повел его параллельно шлюпке.

— Сеня, идем на корму. Делай все так, как я тебе говорил, да сам вместе с тралом не окажись за бортом, — строго предупредил Зубов. И они вместе ушли на корму.

«Эге, стало быть, дело опасное!» — смекнул я.

На корме шумно: рядом выхлопная труба, и дверь в машинное отделение открыта настежь. Говорить натуральным голосом здесь бесполезно, надо кричать. Но в этом пока не было необходимости. Старпом все предусмотрел, распределил роли заранее: сам он на верхах, Антипова поставил на нижнюю подбору. Я остановился возле битенга, готовый прийти на помощь любому из них.

— Ты не швырай, не швырай подбору, пусть она сама идет, подправляй только, — крикнул старпом, когда трал пошел.

Антипов взглянул виновато и стал делать так, как ему велели. Впрочем, дело это не трудное — подправлять, любой сможет. У меня зачесались руки, но спасать пока было некого.

Старпом начал сбрасывать за борт мотню — громоздкое сооружение в виде мешка из частой и прочной дели. Работа не простая и срочная, ведь судно движется, не ждет. Ну, как тут не помочь человеку! Я понял, что настал мой черед и кинулся ему помогать.

— Куда! Пошел отсюда!.. — заорал старпом и добавил несколько заковыристых слов, которые я решил запомнить: в жизни все может пригодиться.

Трал остался за кормой, и мы все отправились на нос судна. Разматываясь, уползал в воду второй ваер. Выписав большой круг на воде, судно подходило к шлюпке. Вернее, не круг, а равнобедренный треугольник, центром основания которого является трал. Зубов с багром в руках стоял впереди, мы — наготове! — сзади. Вот он взмахнул багром, подтянул шлюпку к борту, ловко перехватил веревку, не оборачиваясь назад, крикнул:

— Багор возьми! Сеня, шлюпку за корму, побыстрее! Готово, Иван Прохорович, можно давать ход!

— Подождем немного: трал, ваера сухие, не сразу утонут, — возразил Кашин, выходя из рубки.

— Тоже верно, Прохорович. Надо подождать минут десять, — согласился Зубов. — А чего это Вальки не видно!

Быков спал в кубрике, его забыли разбудить. Поставив багор на место, я заторопился в кубрик и вспомнил про борщ.

В печке почти прогорело, но в кастрюле еще кипело. Одной рукой я подкладывал в печку дрова, второй тормозил Быкова. Проиграл он вчера до трех часов в «козла», сейчас не добудишься.

Борщ сварился, надо только заправить его. Лук, сковорода, масло растительное, мука, где-то даже яйцо у меня припрятано — я метался по кубрику. Быков, посмотрев на меня, спросил:

— Чего надо?

— Спишь! Иди. Там уже замет сделали.

А тут еще качка заметно усилилась. Надо все время придерживаться за что-нибудь одной рукой или работать сидя. В довершение ко всем бедам разболелась голова, начало поташнивать. В кубрике жарко, появились какие-то запахи, которых прежде я почти не замечал.

Мне всегда казалось, что морская болезнь — это привилегия женщин. И вдруг сам ее почувствовал. Я сначала решил, что это просто недоразумение какое-то. С усилием проглотив обильную слюну, я переставил тяжелую кастрюлю с печки прямо на пол. Сковороду на печку. Плохо, что печка одноместная, если стоит кастрюля, то больше ничего не поставишь. Ну вот, все необходимое для заправки борща — на сковороде. Пока жарится, можно немного передохнуть. А чай! Ведь кастрюля стоит на кубрике пустая.

Почему-то именно наверху, на свежем воздухе, меня стошнило. Стыдно, но деваться некуда, зато потом стало легче. Черпая воду из бочонка, я успел заметить, что судно уже движется, но очень медленно, почти не натягивая ваера. Ребята примеряли новенькие брезентовые рукавицы, только что выданные старшиной. После чего все стали закуривать.

Обидно. Мне тоже хотелось пофорсить в новеньких рукавицах, а заниматься приходится черт знает чем. Хотелось побыть еще немного на палубе, посмотреть. Но старшина направился в кубрик, и я сразу вспомнил свои обязанности, опередил его. На трапе я поскользнулся и сел, но кастрюлю удержал в руках.

— Эх, тебя нанесло! — удивился Кашин, сверху разглядывая меня. — Так и шею свернуть недолго. Не ушибся?

Он подождал, пока я встану, понюхал воздух и заметил:

— Лук как будто у тебя горит.

Лук горел без всяких «как будто». Я бросил кастрюлю на стол, ухватил сковороду и стал яростно дуть на нее. От обиды хотелось заплакать. Такой намечался борщ! И, на тебе, все испортил.

Кашин спустился по трапу, поставил кастрюлю на печку.

— Пойдет, чего там. Все съедим! — успокоил он.

Борщ получился вполне съедобным. Все ели с удовольствием. Кашин даже покрывал. Зубов попробовал и сказал:

— Лук сильно пережариваешь. А так ничего, есть можно.

Я сел поближе к трапу, здесь было прохладнее, и, раз за разом глотая слюну, молча боролся с тошнотой. Иногда казалось, что надо срочно бежать на палубу, но я пересиливал себя, стиснув зубы. Ребят ведь надо накормить, это моя обязанность.

— Кок, чаю давай! — потребовал Антипов, отодвигая пустую миску.

— Не вскипел еще.

— Вот, Никифоров, тебе сколько раз говорили: иди вари, не болтайся, где не положено. А сейчас что! Ты думаешь, здесь как дома — чего захочу, то и делаю. Здесь мамы нет, самому надо работать. А если не так, то на черта ты здесь нужен?

— Некогда чаи распивать, пошли трал брать, — непривычно решительно вмешался Кашин и почти ласково обратился ко мне: — Спасибо, Петро, хороший борщ! Сам-то чего не ешь.

— Я... потом, Жарко очень, — с трудом выговорил я. Тошнота подпирала к горлу, деваться некуда.

— Никифоров еще пацан, и пускай он сразу привыкает... — начал Антипов, но закончил Зубов:

— Ладно, хватит базарить! Пошли трал брать, чай никуда не уйдет. И курить потом будем, — добавил, когда Пронин достал кисет.

Все зашевелились, стали вылезать из-за стола. Я проводил ребят равнодушным взглядом, словно они уходили брать не первый, а сто первый трал, даже не вышел посмотреть, как это делается. Едва дождался, когда вскипит чай, заварил его и сразу же лег.

Если лежать и не двигаться, становится немного легче: головная боль притупляется, отступает немного и тошнота. Поесть бы, говорят, это помогает, и посуду надо помыть, убрать со стола, ведь ребята скоро придут чай пить. Но я продолжал лежать, чувствуя, если встану, тошнота подопрет к горлу. Чтобы не так мучили запахи, надо зажать нос углом одеяла и дышать ртом. Неужели к этому можно привыкнуть!

Невозможно поверить, что другие могут этого просто не замечать. А ведь так оно и есть: ребята чувствуют себя здесь, как дома, на апетит не жалуются, работают, шутят. Даже Антипов выглядит молодцом, его нисколько не беспокоит то, что запросто уложило меня в постель. Хочу я этого или не хочу, но надо признаться честно, что Антипов выиграл. Говорят, встречаются люди, вообще неспособные привыкнуть к качке. Вот будет фокус, если я окажусь в их числе!..

— Чего это вы, Иван Прохорович! Кок дрыхнет, а вы за него тут все делаете. Ну, Никифоров! Я вот сейчас его быстро подниму.

— Ладно, Васильевич, не видишь разве, укачался... Не трожь, говорю, парня! Пускай отдыхает человек.

Я еще пытался как-то поправить дело и с усилием сжимал веки. Действительность снова заявила о себе ворчливо-обиженным голосом Антипова:

— Укачался! Так каждый может: лег и спи. А кто же за нас работать будет? Вы, Иван Прохорович, зря заступааетесь за него. Молодой, ленивый, гонять его надо, чтобы знал.

— Ты, Семен, Васильевич, иди-ка наверх. Кажется, подходим,— предложил Кашин и загремел чем-то над столом.

Я открыл глаза и сел. В кубрике снова топилась печка. На печке грелся чай, кастрюля с оставшимся от обеда борщом стояла на полу, похоже, уже разогретая. Кашин мыл посуду, миски гнулись в его больших и сильных руках.

Ну что это такое! Вместо того, чтобы думать о выполнении плана и руководить, старшина занимается черт знает чем! Зубов никогда бы так не поступил. Он скорее умрет с голоду или изувечит кока, но мыть посуду ни за что не станет.

Авторитет старшины стремительно падал в моих глазах, и в то же время Кашин становился ближе и роднее. Прикажи он сейчас, и я, не задумываясь, пойду на любое дело. Кашин продолжал заниматься не своим делом, не заботясь об авторитете.

— Иван Прохорович, зачем это! Да я-то для чего здесь?

— Ничего, Петро, я быстренько, — возразил Кашин и еще сильнее загремел посудой. — Ты лучше в печке пошуруй.

Дрова в печке и без шуровки горели дружно. Разгадав наивную хитрость старшины, я снова приступил к нему:

— Пустите, Иван Прохорович, а то мне стыдно...

Кашин не любил начатое передоверять другому. Ему казалось, что другой что-нибудь напутает или сделает не так, как было задумано. Стоило мне проснуться немного пораньше, и все было бы хорошо, но я опоздал и оказался не удел.

— Ты, Петя, иди-ка наверх. Мы там окуньков с десятков поймали, почисти их и посоли. Завтра уху сваришь, — посоветовал Кашин.— А здесь я мигом закончу, да и ужинать будем.

Рыбу чистить гораздо интереснее, чем мыть посуду, а тут как

раз двигатель сбавил обороты. Над головой затопали, кто-то через кубрик прошел на нос. Пришли, швартуются! Мне просто необходимо попасть на палубу.

Но что это! Где мы находимся? Судно становилось на якорь в совершенно незнакомом месте. Бухточка так себе: с юга небольшой мысок — вот почему качать перестало! Я даже про окуней забыл.

— Ну что, готово? — спросил Зубов, наблюдая за Антиповым через среднее окно рубки, у нас на ходу оно постоянно открыто, если, конечно, погода не штормовая.

— Готово... — неуверенно ответил Антипов.

Он на носу судна крепил конец якорного каната, а дело не ладилось. Старпома это начинало сердить.

— Куда мотаешь, куда! Что это тебе катушка, что ли? Да не так, петлей бери, в захват! Ну, что ты делаешь, — поучал он растерявшегося ловца, хотя проще было подойти и сделать самому.

Когда хочешь сделать что-то быстрее и лучше, совсем ничего не получается. Антипов смотал на битенг половину якорного каната и в недоумении остановился.

Крепить конец на битенге надо таким образом, чтобы он при натяжении не протраивливал и в то же время не затягивался намертво. Тогда его в любую минуту можно свободно отдать. Я основательно изучил это дело еще задолго до выхода в море и, конечно, воспользовался удобным моментом, чтобы показать себя в деле. Антипов с готовностью посторонился, молча наблюдая за мной.

— Вот так надо! — торжествующе выговорил я и даже посочувствовал: — Ничего, Семен, научишься.

— Молодец, юнга! — похвалил меня Зубов, выходя из рубки, а Антипова предупредил: — Вот так-то, Сенька, соображать надо!

Я скромно промолчал и возвратился к своим окуням.

После ужина я помыл миски, торопясь освободить стол для «козла», и вышел на палубу. Солнце ушло за горы, а ветер быстро начал слабеть и затих. По-весеннему долго горела бледная заря. Времени около девяти часов вечера, но прорехи в малоподвижных облаках все еще неярко загадочно светились.

Я с грустью наблюдал за светло-голубыми кусочками чистого неба, которые медленно гасли, наливались плотной синевой. Вспомнился родной поселок. Там часто приходилось видеть такое же небо в безветренные весенние вечера. Сейчас вся молодежь уже в клубе, скоро веселой гурьбой выплест на улицу. И никто даже не вспомнит, что уже нет среди них Петьки Никифорова. Может быть, только одна вспомнит.

Оказывается, нет ничего на свете милее нашей Замысной. Именно там случились все радости, которые мне довелось испытать. Было, конечно, и горе, но радости запомнились лучше. Улицы родного поселка, так живо представились мне, что вдалеке почудилась песня. Задремал, что ли? Конечно, все это одни мечты. Сейчас мне дома просто нечего делать. Вернусь я позже настоящим рыбаком с романтической биографией.

Было уже совсем темно. Я зябко поежился и энергично прошелся по палубе. Песня тихо лилась над водой. Это пели девчата в маленьком поселке Русаловке, притулившимся близ моря на косогоре.

Первомайский праздник мы провели в море. Стояла чудесная погода, но рыбы по-прежнему не было. За два дня едва наскребли че-

тыре центнера. Ребята ходили злые, нервные. Мне здорово попало от старпома за то, что я в суп вместе с рисом уронил миску. У мотористов что-то не клеилось. Двигатель глох в самый неподходящий момент. Быков бросал бесконечные ваера, виновато смотрел на старшину и уходил в машинное отделение. Если дело с ремонтом затягивалось, Кашин засучивал рукава — он тоже был прежде мотористом. Втроем они быстро справлялись с аварией. Потом двигатель снова глох, и все повторялось с начала. Мазут попался слишком густой, старые трубки не выдерживали давления, их без конца приходилось паять. В конце концов на «тридцатке» нашлись новые, запасные, и дело у наших мотористов пошло на лад.

К вечеру второго мая подул норд-ост. Весь наш флот, промышленный в районе Русаловки, потянулся в Теплинку. Настоящего шторма, правда, не получилось, но ветер дул весь следующий день. По сводкам, волнение на море достигло пяти баллов, для нас такая погода уже не рабочая.

Все обрадовались вынужденному простоя, возможности отдохнуть от утомительной работы. Ребята брились, умывались до пояса, покрикивая от холода. Вода, которую черпали ведром прямо из речки, была ледяная и чуть солоноватая: с моря шел прилив. Одевались во все лучшее, что имелось. Впрочем, гардеробы наши не отличались особенным разнообразием, хорошо, если нашлись у кого абсолютно чистые брюки и рубаша.

— Ну что, «повар Гордей», кормить нас скоро будешь? — спросил Пронин.

Пронин опередил всех: побрившись, он чуть-чуть сполоснул лицо и успокоился.

— Завтрак готов, садитесь, — сердито ответил я.

Вчера мы получили аванс. Колхозный счетовод, приехавший в район по каким-то делам, выдал каждому по сто рублей. Деньги эти предназначались на общее питание. Но когда в кармане у каждого захрустела сторублевая бумажка, да еще накануне свободного от работы дня...

За стол садились удивительно чистые и душевные люди. Ребята почти невозможно было узнать, так подействовала на них новая обстановка. Завтракали молча: торопились на берег. Но Кашин нарушил деловую тишину:

— Надо бы сальник на помпе подтянуть, течет очень.

— Фу, нашел о чем! — отозвался Пронин. — Приду и сделаю, сейчас день-то, что год.

— Да и вообще посмотреть бы надо, очень он у нас дымит.

— Воздуху не хватает, вот и дымит. Продувка-то кривошипно-камерная, я ведь окна продувочные увеличить ему не могу.

— У других не дымят. У Валуева на «пятьдесят втором», как часики машина работает.

— Сравнил, Прохорович! У них дизель. Отрегулируй газораспределение, притри форсунки, и будет работать. А нашему самовару что ни делай... Да нам-то что, пусть дымит!

Господи, слова-то какие: «Кривошипно-камерный, газораспределение!» Я даже жевать перестал, так и сидел с набитым ртом. А на Кашина вся эта ученость действовала очень слабо, он упрямо гнул свое:

— На «тридцатке» такая же машина, а ты посмотри, как работает.

— У них поновей, вот и работает. У нас тоже сейчас работает хорошо. Трубки заменили нагнетательные, сразу дело пошло.

— Заставь Валентина сделать уборку в машинном отделении. Грязи там. На паелах масло — ступить нельзя, — продолжал Кашин. Впрочем, он скорее уговаривал, чем приказывал. Молчал бы, раз не может командовать.

— Да ты что, Прохорович! Я же сказал: вернемся, все сделаем.

После завтрака ребята ушли. Я быстренько вымыл посуду, подмел в кубрике и тоже стал собираться. Мылся до пояса с мылом, не жалея себя. Замерз до последней степени, и бегом в кубрик. Брюки у меня флотские, совсем новенькие. Зимой мать выменяла на картошку. Они хранились под матрацем, служившим одновременно и прессом, и чемоданом. Белая рубаша оказалась сильно помятой. Пришлось надеть пиджак. Этот пиджак достался мне от отца, был заметно поношен и великоват. Жаль, но делать нечего. На улице не холодно, и белая рубашка была бы мне очень к лицу. Рубаху я все равно надел под пиджак, ворот у нее не был помят, и в общем-то получилось неплохо.

Из маленького настольного зеркала на меня глянул серьезный молодой человек довольно привлекательной наружности и прилично одетый. Жаль, одеколону нету... впрочем, у Вальки есть! Ничего страшного, если я у него позаимствую.

Я мылся, одевался, одеколонился, а сам думал: «Зачем старшина берется учить такого специалиста, как наш Пронин? Правда, Кашин тоже был мотористом, но он практик и не имеет специального образования. Что же такого, если дыму много? Оно даже лучше: далеко видно, что идет настоящее судно, а не какой-нибудь плюгавый кунгас».

Все складывалось хорошо, пока не пришла пора уходить. А куда уйдешь, если остался один на судне! Это не родной дом — здесь без вахты нельзя. Мне, правда, никто ничего не говорил, и в вахтенного я превратился автоматически, дольше других задержавшись на судне. Может быть, плюнуть на все и уйти, а потом сказать, что не знал? Нет, нельзя, придется остаться.

От обиды и возмущения я не знал, куда себя деть. Прошелся по палубе до самой кормы, вернулся назад, сел на планшир, с силой пристукнул кулаком по коленке. Делать нечего.

Из кубрика «СП-52», или проще «пятьдесят второго», который стоял с нами борт к борту, ближе к пирсу, вышел Витька Комолов. Он на ходу разглядывал себя в карманное зеркальце, осторожно поправляя пальцами роскошный чуб, и меня не заметил. За персональной обидой я как-то совсем не подумал, что на «пятьдесят втором» тоже могут быть люди. На душе стало веселее.

На Витьке голубая шелковая рубашка, темно-синий костюм, вместо обычных сапог — туфли. Полубовавшись стрелками на Витькиных брюках и туфлях, я мысленно сопоставил их со своими и тут же решил купить себе туфли при первой возможности. Если недорогие, денег хватит.

Закончив осмотр, Витька убрал зеркало в карман и поставил ногу на планшир. Следующий шаг, и я снова останусь один. Позвать? Не надо, пусть идет человек. Следующего шага Витька не сделал, зачем-то оглянувшись, он увидел меня.

— Пойдем, чего ты сидишь! — сказал он.

— Не могу, — мрачно возразил я. — Все ушли, дежурить некому.

Он подошел, сел рядом. Закурил, ловко свернув папироску. Затянулся несколько раз подряд и сказал:

— Ну и что, если все ушли. Мы-то здесь при чем? Мы, что, у бога теленка съели, или нам больше всех надо! Уйдем и все!

Не трудно было догадаться, что Витька тоже подвергся неумолимому действию автоматки, дольше всех задержавшись на судне. Фу, зачем только он курит! Я еще раз окинул пытливым взглядом Витькин костюм и решил, что было бы преступлением не показаться на людях в таком элегантном виде. Предложил, равнодушно разглядывая гору, прижавшую рыбобазу к самой реке:

— Ты, Вить, иди один. Я и за вашим буду смотреть.

— Куда идти? — не понял он.

— Туда иди, куда собирался!

Чтобы показать, как мне все это безразлично, я потянулся, зевнул.

— Дождь, что ли, собирается: спать хочется! Сейчас как заважусь — и до вечера. Я, Витька, никуда не собирался, так вышел по-сидеть.

— Не собирался, а вырядился, как тульский жених.

— Уж и вырядился! По-твоему, мне и одеться нельзя?

— Ладно, хватит мне Америку заливать! — вспылil Витька, — В общем, так, Петь: мы уходим вместе, или я никуда не пойду! Может быть, ты пойдешь один? Иди, а я останусь!

Новая мысль понравилась Витьке.

— Сядь, не суетись без толку! — посоветовал я.

Витьку я знаю с незапамятных времен. Это мой лучший друг. В детстве мы и дрались-то, как настоящие друзья: сами деремся, а наши души уж давно примирились и ждут только удобного момента. Победителей в драках не было, как не было и побежденных. Драки случались все реже, наконец прекратились совсем. Хорошо помню последнюю. Мы тогда учились в третьем классе. После уроков в опустевшей школе, где нас оставили подумать и вспомнить, кто начал первый, мы решили впредь обходиться без кулаков. Слово это мы держим. А сейчас уж как-то и начинать неудобно, хотя Витьку стоило бы поколотить немного и отправить погулять.

— Вот ты и иди, если разницы нет, — сказал Витька, как-то сразу успокоившись, отвернулся, стал насвистывать «Камаринскую».

Я тоже отвернулся и в знак протеста принялся за другую. Эта песня — моя любимая: о море, о морях. В ней есть между прочим и такие слова: «На этой дубовой скорлупке железные люди живут». Железные люди, как известно, не прячутся за чужие спины. Каждый из нас был готов пострадать за друга.

Минут через пять-шесть нас привлекло одно чрезвычайное обстоятельство: от проходной показался Валув, моторист с «пятьдесят второго». Шел он с намерением попасть на борт родного судна.

— Ого, Кузьмич уже нахрюкался! — удивился Витька и заторопился ему на помощь.

Я в недоумении пожал плечами. А события у проходной развивались своим чередом: столкнувшись с женщиной-вахтером, Валув чуть не сбил ее с ног.

— Ты чо, очумел совсем, на людей кидаешься! Залил глаза-то, дороги не видишь! — крикнула вахтерша.

Она довольно привлекательна и смотрит с большим интересом на моториста. Напрасно смотришь, гражданочка, у Валуева жена, двое детей, и исполнительный лист на двадцать пять процентов.

Женщина слегка придержала Валуева за рукав. Он немедленно переменял направление и устремился прямо на старый двигатель, неизвестно кем оставленный близ проходной. Витька, однако, подоспел вовремя.

— Ребятишки, вы зачем меня держите? Я драться не собираюсь!

Ты, Витька, меня знаешь... с завязанными глазами... разберу и соберу машину, и работать будет, как часы! — говорил Валуев.

У кромки пирса мы задержались немного, надо было сделать так, чтобы не упустить Валуева за борт. Он понял это по-своему.

— Давай, завязывайте мне глаза, и пойдем в машинное, сами посмотрите, — заявил он, пытаясь нащупать опору ногой между бортом и кромкой пирса. — Хочешь, Витька, тебя научу?

Но пьяные идеи Валуева нас не трогали, мы молча продолжали вести его. Возле самого кубрика он заартачился, уперся ногами в стенку, растопырил руки, потребовал:

— Пойдем заводить машину, учить вас буду, сопляков!

— Успеем еще, Кузьмич. Завтра научишь! Ты такой — враз научишь! — с шутливой серьезностью сказал Витька.

— Раз, два, взяли! — скомандовал я, и валуевские сапоги загремели по ступенькам трапа.

Валуев уснул быстро. Он лежал маленький, смиренный и тихо посапывал носом.

— Чего ты копаешься, идем, — с палубы позвал меня Витька.

— А здесь как же, кто будет?

— Кузьмич здесь, чего тебе еще надо!

Витька удивлялся моей недогадливости и начинал сердиться. Теперь мы могли уходить, не нарушая правила о судовой вахте.

5

В базовском поселке нам все известно до мельчайших подробностей, поэтому мы сразу же направились в районный центр, за три километра. День выдался солнечный, подувал ветерок, но не холодный, и все вокруг имело праздничный вид. Мы весело шагали по каменистой дороге, стараясь не думать о том, что вахтенный у нас остался без присмотра.

Определенных планов у нас не было. В продуктовом магазине купили шоколадных конфет, постояли немного на крыльце и пошли на стадион, который находился за магазином.

Калитка оказалась не запертой, мы вошли и огляделись. Кроме трех мальчишек, на стадионе никого не было. Мы посидели немного на скамейке, съели конфеты, и я уговорил Витьку сходить в промтоварный магазин, надеясь присмотреть себе туфли по средствам.

От пивного ларька нас окликнули. Там перед входом соорудили настил из досок. Зубов, Пронин и Антипов сидели рядышком на кромке настила, курили. Из ларька доносились громкие голоса — рыбаки гуляли.

— Вы из магазина, парни? — спросил Зубов. — Боносова не видели?

— Нет, не видели, — ответил я и посмотрел на Витьку.

— Вот паразит! Послали его за бутылкой, а он умотал куда-то. Это Леня все — тоже нашел кого посылать!

— Придет твой Боносов, куда он денется, — возразил Пронин. — Я-то при чем? А вы куда это направились?

— Да так, посмотреть...

— Вон и Боносов! Явился, не запылится, — обрадованно сказал Антипов.

Про нас забыли. Центром всеобщего внимания стал помощник старшины с «пятьдесят второго» Боносов. Я потянул Витьку за рукав.

— Пойдем, чего тут.

— Может быть, останемся? Зачем тебе в магазин?

— А ну их... Пойдем!

Я промолчал о своем намерении купить туфли. А тут и магазин закрыли на перерыв. Поглядели мы на вывеску над магазином, полюбовались замком на дверях и стали думать, чем бы заняться еще.

— Вернемся? — спросил Витька, поворачивая в сторону ларька.

— Нет. Лучше пройдем по улице, посмотрим.

Теплинка — поселок деревянный, как и другие поселки в нашем районе. Она предпочитает расти вширь, но не вверх. Здесь, кроме школы, нет ни одного двухэтажного дома. Все точно так же, как у нас дома: поставь рядом несколько Замысных, получишь районный центр. Только дома здесь стоят ближе друг к другу, потому что нет таких больших огородов.

За длинным и приземистым Домом культуры садик. Летом в нем уютно, а пока — пусто и голо. Мы прошли по дорожкам между рядами берез, молодых лиственниц и тополей и снова оказались на улице.

— Все, хватит экскурсий, пойдем к ребятам, — заявил Витька.

Повернули назад. Но мне почему-то вдруг расхотелось идти дальше.

— Ты чего? — удивился Витька.

— Я подожду здесь, пока магазин откроется.

— Да ты что, еще больше часа ждать! К четырем вернемся. Чего тебе надо в магазине?

— Да так, посмотреть, — снова уклонился я от прямого ответа.

Витька рассердился. Случись такое лет семь назад, дело закончилось бы дракой. Но сейчас не те времена. Витька махнул на меня рукой и ушел. Вернулся он как раз к открытию магазина. Я сделал вид, что между нами ничего не было, спросил равнодушно:

— Ребята там еще?

— Ушли. Ну, пошли в магазин, чего ты там хотел?..

Часов в пять вечера мы подходили к базе. Туфли сорок второго размера лежали в картонной коробке, которую я бережно нес под мышкой. Превратившись в туфлевладельца, я сразу потерял интерес к Теплинке. Хотелось примерить обновку и пройтись хотя бы по пирсу. В этой слабости я даже не признался бы самому себе, но справиться с нею было выше моих сил.

— Зайди, возьми книгу, — напомнил Витька.

От радости я совсем забыл, что Витька обещал мне «Цусиму». Эту книгу привез ему отец из города. Книга мне очень кстати, в нашей библиотеке все, что написано о море, я давно уже прочитал. «Морские» книги мы предпочитали всем остальным.

В кубрике, за столом, сидел Гадаев — старшина «пятьдесят второго». Подперев голову руками, он смотрел в одну точку на столе и думал. За спиной его тихонько всхрапывал Валуев. Он спал в том же положении, в каком мы оставили его несколько часов назад.

— Явились, друзья? — сердито спросил Гадаев, даже головы не повернув при нашем появлении.

— Книга — сила! Бери, не пожалеешь, — Витька торжественно вручил мне книгу.

— Почему ты бросил судно и самовольно ушел на берег? Я тебя спрашиваю, Виктор! — спросил Гадаев.

Вопрос захватил нас врасплох. Витька ответил неожиданно дерзко:

— А почему я? Что я, обязан... Я вам не сторож.

— Замолчи! Я тебе покажу — сторож! Бросить судно, уйти... Ты понимаешь, что ты наделал!

Гадаев был удручен чем-то. Дерзкий Витькин ответ послужил искрой, вызвавшей взрыв. Мне показалось, что старшина сейчас ползет на него с кулаками. Очень неприятно смотреть, когда обычно спокойный человек начинает бесноваться, кричать. Лучше бы уж этим занимались люди, вспыльчивые от природы. Гадаеву совсем не к лицу орать, мы и без того понимаем, что виноваты.

Витька продолжал стоять на своем:

— А другие не бросили? Вы вот тоже ушли! А мне, может, надо.

Валуев, проснувшийся от шума, торопливо выбрался из-за спины старшины, сел рядом. Яростно вращая глазами и сжимая сухонькие кулаки, заорал:

— Ах ты, молокосос сопливый! Да ты с кем так разговариваешь! Думаешь, на тебя и управы нет! Мы не посмотрим, что ты сын председателя, штаны снимем да по заднице ремнем... Брысь отсюда, салажонок неумытый!

Эх, не вовремя ты проснулся, Валуев! Хамить Витьке опасно. Уж я-то его знаю. Чтобы как-то поправить дело, я выступил вперед и сказал:

— Ну что вы, как маленькие. Не мы одни, все ведь ушли.

— Ты, Петро, не лезь не в свое дело. Иди, там тебя Прохорович ждет, — между прочим бросил Гадаев.

— Иди, он тебя с песочком продраит, — пообещал мне Валуев.

В кубрике наступила гнетущая тишина. Валуев что-то бубнил под нос в своем углу да суетился в поисках махорки. Я пригласил Витьку к себе, но он только рукой махнул, не раздеваясь, упал на постель лицом вниз и затих. Мне ничего больше не оставалось, как тихонько удалиться.

Постояв немного на палубе, я через окно заглянул в рубку. Кашин спал. В кубрик идти не хотелось. Желание примерить новые туфли и пройтись по пирсу тоже пропало. Все это казалось пустяками по сравнению с случившимся. Неужели мы такие преступники, что нас могут на берег списать? Гадаев так расстроился, даже жалко его.

О том, что произошло в наше отсутствие, я узнал позднее от Быкова, и тогда поведение Гадаева мне уже не казалось странным.

Директор МРС был не на шутку встревожен состоянием дел на флоте: май начинался с вынужденного простоя. На рыбобазовском пирсе он появился в сопровождении главного механика и начальника лова. Каково же было их удивление, когда на всех судах им с трудом удалось обнаружить всего четырех вахтенных.

Директор напустился на начальника лова, упрекая его за плохой контроль. Как раз в это время подошли Гадаев и Кашин. Дальше все происходило просто: Кашин выслушал то, что ему причиталось, принял к сведению и пошел спать. Гадаев тоже выслушал и очень расстроился. Он не отрицал вины, ни слова не сказал в свое оправдание, хоть и очень обиделся на ребят, особенно на Витьку. Никто из них не догадался остаться.

Гадаева в первый раз назначили старшиной, и он с жаром взялся за дело. А получилось вон что. Не оправдал доверия, в самом начале путины попал в историю.

Гадаев сидел у себя в рубке и яростно палил махорку. Видя, как вспыхивала и угасала его папироса, как дым валил через открытое окно, словно из коптилки или курной бани, я решил: «Переживает». Вздыхнул и пошел в кубрик, где ожидал от Зубова точно такую же взбучку, какую получил мой лучший друг.

Зубов спал. Антипов с Прониным играли в домино. Меня даже не спросили, почему до сих пор нет ужина.

Разом заработало несколько двигателей, и я проснулся. Утро было прохладное. Даже в кубрике, под ватным одеялом, это чувствовалось. Нахолодавшие за ночь двигатели то стреляли одиночными, то заходились пулеметными очередями. Какой уж тут сон.

Бледный полусумрак лился в кубрик через иллюминатор. Светает, но это еще не день. Весенние рассветы продолжительны! Прежде я никогда об этом не думал, а сейчас вот самому довелось встречать восход солнца на ногах.

Койка подо мной дернулась, будто ее разбудили хорошим пинком, и задрожала. Стрельба сразу усилилась, придвинулась ближе — это заработал наш двигатель. Дружно сегодня все подхватились! Значит, погода наладилась — мы выходим на лов. Сейчас начнется: замет трала — подъем, замет — подъем, до самого вечера. Каждый день одно и то же и все впустую. Была бы рыба, тогда, конечно. Варить еду тоже надоело: не мужское это дело. Нет!

Я натянул одеяло до самого лба и замер, готовый снова окунуться в сладкую истому утреннего полусна. Но вспомнился вчерашний вечер. Не было никакой гарантии, что нагоняя я избежал, как-то еще поведет себя начальство сегодня. Надо быть готовым ко всему. Впрочем, лучше не думать об этом, авось пронесет.

Я решил встать пораньше, не дожидаясь обычной команды, и приготовить на завтрак что-нибудь вкусное. Такое, о чем говорят: «Язык проглотить». Хорошо, если бы начальство на целый день осталось без языка. А там забудется. Итак, за дело!

Окрыленный надеждой, я вышел на палубу. Было уже совсем светло. Облака над морем раскалились, — вот-вот вспыхнут, — но веяло от них не жаром, а холодом. На малом ходу, будто крадучись, мимо нависающих скал, судно проходило самый опасный участок устья. Сколько здесь ходим, и все никак не могу привыкнуть к угрюмому величию этой картины. Видно, недаром мыс называется Страшным.

Мыс уходил назад. Дали полный ход. Оставляя за кормой гулкое эхо, «сорок четвертый» вырвался на морской простор. Стоял полный штиль. Вода казалась густой и тяжелой. В ней отразились все небесные краски. Красные полосы и пятна напоминали кровь, неизвестно кем и за что пролитую. А небо казалось лишь слабым отражением великой трагедии, разыгравшейся в глубинах моря. В моем воображении все странным образом перевернулось.

Совсем не ко времени я размечтался! Мой взгляд встретился с глазами старшины. Кашин чему-то улыбался, словно обещал мне приятную для нас обоим взбучку. Сейчас ругать он меня, конечно, не будет, потому что стоит за штурвалом. Но надо поторопиться, чтобы к подъему команды завтрак был на столе.

Я старался как можно меньше шуметь, чтобы не потревожить ребят. Вот ведь как получается: команда спокойно отдыхает, набирается сил, а кто-то не спит, заботясь о них. Один ведет судно к месту лова, второй подмазывает двигатель, чтобы лучше работал, третий... третий готовит завтрак. И едва ли не первый раз в жизни доброе родительское чувство слегка пощекотало мне душу.

Однако что бы такое сварить, еще небывалое на нашем флоте? Пришлось признать, что с нашими продуктами не очень-то развернешься. Единственное, что мог я сделать, это подать завтрак на час раньше обычного. В остальном день был как день. О вчерашнем забыли или сделали вид, что забыли. Я сразу воспрянул духом. Решил, что пора неудач кончилось, сегодня непременно будет рыба.

К подъему первого трала я управился со всеми делами в кубрике. После горячей воды мокрая дель трала показалась нестерпимо холодной. Но я терпел, старался изо всех сил, и руки вскоре привыкли. Трал брали вручную. Кончились крылья, пошла мотня, но в глубине ничего не видно. Не поймешь, рыба там или пустой кутец.

Десятка три наваг всплыли вверх животами. От резкой перемены давления их раздуло. Но камбалу не раздувает, значит, вся она там, внизу.

— Сейчас возьмем центнеров десять, не меньше! — неожиданно вслух высказал я свою заветную думу и еще яростнее вцепился руками в холодную, жесткую дель.

— Заврался, юнга, — хмуро одернул меня Зубов.

— Опять пусто, — вздохнул Кашин и растолковал мне, недогадливому: — Когда рыба, вручную трал не возьмешь. Через стрелу, лебедкой надо тогда.

Нет, не кончилась пора неудач! За день сделали шесть заметов, вымокли, устали и вконец испортили себе настроение. Зубов сказал, что при хорошей рыбе сделали бы втрое больше и вдвое меньше устали.

Последний замет делали без меня: надо было об ужине позаботиться. И на этот раз трал не принес ничего. Судно, развернувшись, пошло прямо к берегу. До наступления темноты можно было сделать еще два замета, но у ребят не выдержали нервы. А тут из кубрика запахло жареным — на ужин у меня сегодня камбала, поджаренная на растительном масле. Другим судам тоже надоело процеживать через трал морскую воду, и один за другим все они потянулись в Теплинку.

Под берегом, у знакомой нам Русаловки, одиноко стоял на якоре «пятьдесят второй». Он почему-то неожиданно бросил тралить, отошел под берег и стоит там чуть ли не с самого обеда. Это не похоже на Гадаева. Молодой старшина никогда не отлынивал от дела, на лове он обычно задерживался дольше других.

— Привет землякам! — добродушно выкрикнул Кашин, когда перестал тархтеть наш двигатель и в наступившей тишине стала отчетливо слышна ленивая воркотня прибоя у недалекого мыса.

Вся команда «пятьдесят второго» была на палубе, но приветствие нашего старшины осталось без ответа. Только Валуев, нехотя приподняв руку, шевельнул в воздухе пальцами. Дескать, приветствие принимаем, ответное шлем, но нам сейчас не до этого.

— Стране нужна рыба, а они загорают под берегом! — крикнул Пронин, выбравшись из машинного отделения.

Очень уж надоел за день однообразный шум двигателя, и шутиливая перебранка была всем нам кстати. На «пятьдесят втором» вызов не приняли, словесной дуэли не получилось.

— Что-нибудь случилось, наверно, — высказал предположение Быков. И я сразу загорелся новой идеей:

— Поедем к ним, узнаем!..

Не первый день на море, знаю, что моряки не ездят, а ходят, но противное это слово само так и лезет па язык. Чтобы замять оплошность, я поспешно обратился к старшине:

— Иван Прохорович, можно мы шлюпку возьмем и сходим?

— Бочку захватите. Воды заодно наберете в речке, — распорядился Кашин. — Да бочку хорошенько промойте, с песочком прополоскайте ее.

Шлюпка болталась за кормой на буксире. Во время траления она

постоянно нужна на воде, в таких случаях на борт ее поднимают редко. Я побежал на корму, быстро перебрался в шлюпку и вдоль борта провел ее вперед. Быков подал мне весла, вылил из бочонка остатки воды и погрузил его в шлюпку. Наша экспедиция готова была тронуться в путь, но Антипов вдруг тоже решил плыть с нами.

— Подождите меня — махорку только возьму! — попросил он.

— Смотрите, шлюпку не бросайте как попало, унесет еще, — предупредил Зубов, когда сборы были закончены, посмотрел в мою сторону, усмехнувшись, добавил: — А ездить, Петро, на телеге будешь. Вот вернешься домой и поедешь — в лес за дровами.

Я промолчал. Антипов оттолкнулся от борта, нетерпеливо поерзал на заднем сиденье, скомандовал:

— Поехали! Ничего с нами не случится, не маленькие.

Я немного помедлил, даже слегка придержал шлюпку веслом. Пусть уж старпом в спокойной обстановке укажет Антипову на его грубейшую ошибку. Но Зубов только обреченно вздохнул и отвернулся, давая этим понять, что толку из нас все равно не будет. Я с силой погрузил весла в податливую упругость воды.

Какая вопиющая несправедливость: за совершенно одинаковые ошибки одному строгое внушение, а другому ничего! Конечно, старпому сегодня не до нас, но если уж взялся за дело, то доведи его до конца. Перед законом у нас все равны.

На «пятьдесят втором» сразу две неприятности: Витька наотрез отказывается варить обед, а днем они попали на зацеп и располосовали трал так, что уж нечего чинить. Весь остаток дня ребята проводились с запасным тралом, готовя его к работе. К нашему приходу трал был готов, но радости на судне от этого не прибавилось. Завтракали хлебом, запивая его сырой водой, на обед старшина накопил чаю. Пора ужинать, а кок ни с места.

Угрозы и убеждения не действовали. У Витьки на все один ответ: «Или оставляйте ловцом, или списывайте на берег». Списать не трудно, но где найти замену, если в колхозе нет ни одного лишнего человека. Ведь не ради забавы берут сюда нас, шестнадцатилетних. Дело трудное и опасное, а нас, как это ни обидно признать, многие еще и за людей-то настоящих не считают.

Гадаев мучился. Вчера со зла придрался к мальчишке, нашел на ком отвести душу за собственную оплошность. Думал, старшине достаточно прикрикнуть, чтобы все было по-твоему. А вон что получилось. Хотел Гадаев извиниться перед Витькой, да этим дело не поправишь. Гадаеву ли, тоже начинавшему коком, не знать, как надоедает варить. Молодой человек идет работать на море, заранее готовясь к борьбе со стихиями, но, столкнувшись с таким прозаическим занятием, как приготовление пищи в тесном и жарком кубрике, быстро переходит от восторга к разочарованию. А тут еще отношение к нему не совсем серьезное. Дескать, потому и смеются, что повар.

Витька сидел на трюме и отвязывал стеклянные шарики от старого трала. Работа не спешная: новый трал уже готов, а все, что можно взять от старого, потребуется не скоро. Витьке эта несрочная работа очень кстати. Она помогала сохранить остатки мужества. Трудно стоять одному против всех. Витька держался, а на душе у него было скверно.

Когда подошла наша шлюпка, на «пятьдесят втором» все методы воздействия на взбунтовавшегося кока были уже исчерпаны. Встреча гостей немного разрядила обстановку. Все заговорили, задвигались, потом пошли в кубрик покурить. Гадаев помедлил, хотел что-то сказать Витьке, но только безнадежно махнул рукой.

Витька продолжал свое дело с таким видом, словно от этих стеклянных, оплетенных каболкой шариков, зависело все его будущее или даже сама жизнь. Я подошел, сел рядом, тоже отвязал один шарик, потом спросил:

— Ты чего такой? Что-нибудь случилось?

— Варить не хочу — вот и случилось. Думал, меня самого съедят вместо супа. Здесь такое было! Вспоминать неохота...

От Витькиной усмешки у меня заныло под ложечкой. В таком положении шутить — это надо уметь.

— Все равно от тебя не отстанут: варить-то надо кому-то.

— Кому надо, тот пускай варит, а я не... не буду!

Мне не хотелось, чтобы Витька уходил. Что он будет делать на берегу — картошку полоть с женщинами! Нет, уж лучше коком, да на море. Только как убедить этого упряма?

— Я тоже не хочу, а все равно не брошу, раз надо. Здесь просто: что сварил, то и едят. Или ты сразу хотел капитаном на пароход!

— Иди ты, знаешь... Ничего я не хотел, понял! И вообще, чего они подначивают за каждым разом?

— И у нас тоже так, везде так. Научимся все делать и перестанут. Еще Виктором Павловичем называть будут, как в старшины тебя произведут.

Витька и хмурился, и улыбался одновременно. Моя шутка попала в самую точку: оба мы спим и видим себя старшинами.

— Иди ты к черту! Тоже подначивать начинаешь!

Витька снова набычился, схватился за очередной шарик. Из кубрика показался Валуев. Я смотрел на Витькины пальцы — двигались они быстро-быстро, слегка вздрагивая. Соглашался бы лучше сразу.

В кубрике что-то произошло: Валуев буквально задыхался от смеха. Только и хватило духу выговорить:

— Ну, Архипыч... Ну, комик!..

Один за другим ребята выходили из кубрика. Смеялись, подгалкивая друг друга, и поминали Архипыча. Я не знал, что и подумать. Вдруг поднялся Витька, глянул исподлобья, вытер руки о фуфайку, медленно сказал:

— Ладно, Петрович, варить буду... Только чтобы без подначек.

— Уже не надо, будешь ловцом.

Гадаев сразу перестал смеяться. Но ответил без злости, с облегчением. Неприятный для всех вопрос решился неожиданно и до смешного просто. Когда он вошел в кубрик, ловец Андреев лежал па постели, заложив руки под затылок и безучастно глядел перед собой. Это была его обычная поза. Гадаев посмотрел, вздохнул и неожиданно для самого себя сказал:

— Может быть, ты, Архипыч, возьмешься?

— Каво? — встрепенулся задумавшийся Андреев.

— Варить, говорю, берись? Жрать-то надо.

— Сейчас, — с готовностью ответил Андреев.

Он встал, взял со стола спички, растопил печку — дрова кем-то были наложены заранее — и без слов принялся чистить картошку. Все засмеялись. Гадаев даже растерялся от неожиданности.

— Так это, Архипыч, не на сейчас только.

— Дак я ведь, Петрович, давно хотел варить.

— Почему же молчал, если так?

— Почему! А ты спрашивал?

— Ясно, Архипыч, учту на будущее! Сейчас каждое утро буду спрашивать, чего ты хочешь? — под общий смех сказал Гадаев и сам рассмеялся.

— Слезы, а не рыба,— заявил Пронин, провожая взглядом последние носилки с камбалой, которые Антипов с Быковым уносили к весам.

Он пришел из машинного отделения, разомлел в жаре и был не в духе.

— С такой рыбой на табак не заработаешь. Наоборот, получится: летом в долги залезем, а зимой на лесозаготовки пойдем отрабатывать авансы.

Кашин взял большое деревянное ведро и стал смывать палубу, помогая себе легким побрякиванием. Не дожидаясь особого приглашения, я тоже ухватился за швабру. Кашин работал самозабвенно. Целые потоки воды обрушивались на палубу. Только успевай шваброй сгонять эту воду вместе с чешуей и слизью через узкие шпигаты за борт.

— С такой рыбой без штанов останешься, — так и не дождавшись ответа, снова заговорил Пронин, — последние изорвешь. Бабы нас скоро из дома выгонят с такими заработками.

Дались ему эти заработки. Без них, конечно, нельзя, но зачем без конца говорить о том, чего нет.

Поддернув штаны и удостоверившись, таким образом, что они все еще на месте, Пронин стал закуривать.

— Поберегись, Леонид Устинович! — негромко предупредил Кашин, обрушивая на палубу новые потоки воды.

Пронин заторопился отойти от опасного места, да не успел и угодил под самую струю.

— Эх, Устинович, нанесло-то тебя! — удивился Кашин.

Ему жаль прерывать работу. Но надо же дать возможность мотористу перейти в безопасное место.

— Фу ты, черт, надо ведь так! — Пронин перешел поближе к кубрику, где палуба уже помыта.

Почувствовав себя в безопасности, он неторопливо отряхнулся и снова взялся за махорку. Промасленные его штаны почти не промокли, так что Пронин отделался легким испугом.

Антипов с Быковым составили ему компанию. Так они и курили втроем, с важной неторопливостью пуская струйки дыма в разные стороны, пока мы не закончили с палубой. Кашин поставил ведро на место, огляделся — нельзя ли еще чем заняться.

Зубов, отдавая старшине квитанцию за сданную рыбу, сказал безразличным голосом:

— На, Прохорович. Пять центнеров восемьдесят килограмм.

— И это за три дня! Ничего себе, уловы! — разочарованно протянул Антипов.

— Слезы, а не рыба! — охотно повторил Пронин. — Заработаешь на спички да на чай, а на сахар уже не хватит!

— Путина только начинается, все еще впереди, — возразил Кашин.

Он положил квитанцию в карман гимнастерки и похлопал по нему ладонью с таким видом, словно там у него лежала гарантия на два годовых плана.

— Путина!.. Уродуемся, как карлы, а толку... У нас тоже семьи, их кормить-поить надо. — Заворчал, ни к кому не обращаясь, Антипов.

— Ничего, товарищи, рыба будет — будут и заработки! — невозмутимо продолжал старшина.

Кашин верил в свою удачу. Не сегодня — завтра пойдет рыба, и

тогда все увидят, что он был прав. Надо потерпеть еще немного, и все будет хорошо.

Но другие терпеть не хотели. Надо было что-то сделать, убедить ребят, а как — старшина не знал.

— Иван Прохорович, ужинать пора — суп стынет, — напомнил я.

Поведение старшины мне не нравилось. Разве так надо разговаривать с подчиненным! Антипов уши всем прожужжал, а он его упрямывает, как маленького. Без того каждый знает, что рыбы мало и картошка кончилась. Вот Зубов на его месте действовал бы по-другому. Он сумел бы навести порядок на судне.

Зубов молчал. Но все в нем говорило о том, что будь он старшиной и дела бы пошли хорошо.

Ужин начинался при полном молчании. Не было обычных шуток. Каждый тихо подставлял под черпак свою миску. Только Кашин оставался самим собой. Он был доволен: неприятный разговор удачно прервался. Взял нож и быстро разрезал булку хлеба на большие ломти.

— Ну-ка, Петро, зачерпни там со дна пожже! — повторил старшина свою обычную в этих случаях фразу.

Он щедро сыпал в миску перцу, соли, размешал, попробовал, удовлетворенно хмыкнул и стал есть. Антипов несколько раз отхлебнул из своей миски и с отвращением отложил ложку.

— Эх... — безнадежно вздохнул он. — Я борщ люблю. Чтобы картошка, капуста, морковь, свекла — все там было. А это что — телячье пойло какое-то.

— Не нравится, вари сам! Как умею, так варю, и нечего здесь!

Трудно стерпеть такую обиду. В запальчивости я допустил ошибку: отнес на свой счет не только «телячье пойло», но и отсутствие настоящих продуктов.

— Да ты что, Никифоров! Я про тебя ничего не говорю, — начал объяснять Антипов. — Ты-то здесь при чем! Тебе что дают, то и варишь — верно ведь? И так спасибо, что это варишь.

Объяснившись, Антипов снова взялся за ложку. Пойло не пойло, но когда знаешь, что уговаривать здесь тебя никто не собирается, то лучше не рисковать.

— Тебе, Семен, добавить? — спросил я, несколько сбитый с толку.

Супу у Антипова было еще больше полмиски. Но надо же мне как-то искупить свою вину перед ним!

— Нет, не надо. Спасибо! — отказался Антипов. — Не могу, понимаешь, без овощей!

— Не скажи, Семен Васильевич, с таким супом жить можно! На счет этого Петро у нас молодец: сварит — получше чем у другой хозяйки, — возразил Кашин и, подтверждая искренность своих слов, попросил: — Ну-ка, Петро, добавь еще черпачок, что-то я не понял.

Я с удовольствием исполнил просьбу старшины: кастрюля здоровая, супу много — не жалко.

— Кому еще добавки? Подставляй!

Станный какой-то характер носил спор между старшиной и Антиповым: каждый из них, отстаивая свое мнение, козырял почему-то моими кулинарными способностями!

— Ты, Сенька, как кисейная барышня: то не могу, этого не хочу, тут болит, здесь ноет, — надоел уже всем! — не стерпел, вмешался Зубов, — В сорок шестом, помнишь, Прохорович, как мы на одной рыбе сидели? Вот тебя бы туда!

Он строго посмотрел на меня. Дескать, тебе, юнга, это тоже полезно знать.

Зубов окинул всех строгим взглядом, пытаясь определить силу произведенного эффекта, эффекта не обнаружил и потребовал себе чаю.

— На «сорок пятом», — сказал Кашин, отодвигая пустую миску, — вчера сам бригадир лова выходил в море. Я, говорит, научу вас, как надо рыбу ловить! Стали они брать первый трал — тяжело идет, — лебедка гудит! Порфирин прыгает от радости: «Давай, ребята, есть рыба!» Подняли, а там — один осьминог — здоровый! — и железяка, глушитель какой-то старый. Осьминог увидел Порфирина да как вцепится в него, еле отодрали. Вот смеху-то было!

Кашин и сам хохотнул, приглашая слушателей принять участие в этом полезном деле. Его никто не поддержал.

— Слезы, а не рыба, — согласился Пронин.

Такая реакция на рассказ старшины не была случайной: мы все уже знали про осьминога, да и рассказчик из Кашина получился неважный. Тема, от которой он так старательно уходил, неожиданно снова вылезала на первый план.

— А ты, Устинович, раньше времени не помирай. Будет день — будет пища! — Зубов снова пришел на помощь старшине.

— Тебе-то, Леонид Устинович, надо бы знать, что в это время камбалы никогда не бывает у берегов, — добавил Кашин.

— Рыба, рыба! Заладил одно и то же... Домой надо за продуктами. Чего мы болтаемся зря! — не удержавшись, в запальчивости высказал Антипов свою мысль. — А дома баня. Помоемся, продуктов наберем и назад вернемся.

По совести, сказать об этом обязан был кто-то другой. Антипов все время подталкивал на это Пронина, но тот оказался недогадливым.

Домой! В груди у меня что-то дрогнуло и заныло. Так бывает, когда неожиданно твоего слуха коснутся звуки любимой песни. Домой! Но разве это возможно? Искорка надежды погасла, когда я взглянул на старшину. Кашин пил чай. Он или не слышал, или не придал никакого значения словам Антипова. Все молчали, выжидая чего-то. Первым не выдержал Пронин.

— Тридцать часов на дорогу туда и обратно да дома сутки, — быстро высчитал он. — А что, Прохорович, можно! Главное, мы там мотор быстренько отремонтируем...

— Я разговаривал по этому поводу с самим директором, он против, — сказал Кашин.

— А вы бегите скорее и докладывайте, — съязвил Антипов. — Начальству что, они — дома! Уйдем и все, никто даже знать не будет.

Для Кашина мысль отремонтировать по-настоящему барахливший двигатель оказалась заманчивой. Начнется путина — и станем. Это же будет настоящий скандал. Но он еще колебался.

— Нельзя! С какой стати нам туда-сюда болтаться.

— А что, Прохорович, действительно! Через два дня вернемся, и никто судить нас не будет, — снова вмешался Пронин. — Машина будет в порядке — остальное наведем! Пятнадцать часов — и дома.

Кашин молчал, неторопливо допивая свой чай. Надо бы сказать решительное — «Нет!» А это совсем не просто — выступать против желания коллектива. Он колебался и сам стал подумывать о доме. Но никто не догадался о его минутной слабости.

— Еще сеть бросим, тогда поглядим, — сдался он наполовину.

Главное — беспокоил его мотор. На Пронина надежда мала... Это старшина уже понял.

— У меня редиска растет — во! Лук — во! Картошка — прошлогод-

ней мешков двадцать! — сказал Антипов. — Капуста, свекла, морковь — да что там говорить — всего навалом!

Конечно, все эти «во» Антипова были сильно преувеличены, и все же от них повеяло родным домом. Даже Зубов не устоял, предложил:

— Действительно, Прохорович, давай сходим! На обратном пути в Найте потралим. Поля там отличные, камбала должна быть.

Зубов — это же настоящий старпом! Если уж сказал слово, все равно лучше не придумаешь. Оказывается, при хорошем руководстве нет ничего проще, как побывать дома. Я с надеждой взглянул на старшину. Кашин молчал, старательно сгребая ладонью хлебные крошки, рассыпанные по столу. Его нерешительностью очень ловко воспользовался Антипов.

— Правильно, Гена, надо идти в Найту! Зачем тут зря воду цеждать. А как грабанем центнеров сорок, нам еще спасибо скажут. Камбала там есть. Не то, что в Русаловке.

Кашин колебался. Ему, старшине, в конце концов решать. Он как бы между двух огней. Ребята домой рвутся, и сам он по старухе и по детишкам соскучился. Начальство одно требует, подчиненные — другое. Хочется, чтобы всем было хорошо, — но как это сделать? Одна сейчас надежда на Найту, авось там повезет. А за хороший улов еще и похвалят.

— Все ясно, товарищи, — медленно начал Кашин, но закончил решительно: — Завтра в четыре часа отход, готовьтесь! — И придавил широкой ладонью горку хлебных крошек на столе.

8

«СП-44» держал курс на норд-ост. Чем ближе к дому, тем сильнее нетерпеливое волнение овладевало мною. Беспокойство, со вчерашнего вечера копошившееся в душе, отступило под напором впечатлений. А утром мне было нехорошо, ощущение такое, словно мы что-то украли и вот-вот будем схвачены за руку. А каково старшине! Отвечать ведь за все придется ему. Да и как не дознаться: не успеем мы еще ступить на родной берег, как председатель спросит, почему мы вдруг оказались дома. Но Кашин спокоен. На его широком, мало-подвижном лице переживания не отразились. Выдержка у человека отменная.

Итак, мы находились в бегах. «Сорок четвертый» бодро тархтел двигателем, раскачивался на попутной волне, приподнимая поочередно то нос, то корму. Попутная волна — для нас одно удовольствие. Это хорошая добавка к собственному ходу. И судно на такой волне ведет себя относительно спокойно.

В море при качке нельзя падать духом. Надо держаться и делать вид, что тебе все нипочем. Я давно это понял и, сколько хватает сил, закаляю волю. Встану посреди палубы, для устойчивости слегка раздвину ноги и стою так, устремив взгляд в туманную даль. Эффект получается поразительный. Зубов говорит, что надо пережить один хороший штормик, тогда все мои болезни как рукой снимет. Да, шторма я еще не видел. Вот приеду... то есть приду домой и рассказать будет не о чем.

Послушаешь ребят, в каких кто побывал переделках, и самому хочется. Домой тоже хочется. Но разве нельзя устроить дело так, чтобы и шторм пережить и домой попасть к сроку?

Я с надеждой взглянул на небо, но шторма ничто не предвещало. А от таких светлых и высоких облаков, как сегодня, ждать нечего, кроме домашних пирогов и радостно-тревожных материнских вздохов.

Крайне недовольный небом, я занялся землей. Дальние сопки, что возвышались над ближними увалами и прибрежными утесами, тоже ничего не обещали. Совершенно чистые сопки, словно их кто-то выстирал, подсинил и повесил сушиться, пристегнув за вершинки к высокому небу.

Ну и ладно, не всем же быть героями. Домой бы скорее попасть, но когда об этом думаешь, время совсем останавливается.

Тогда я занялся изучением берегов. Причудливое разнообразие прибрежных скал немного развлекло меня. Из-за большой удаленности там все казалось маленьким, ненастоящим. Скалы — обломки зубов древних животных. Деревья — картинки, нарисованные старательным учеником. Дома... Да, дома! Настоящие, только уменьшенные во много раз дома вдруг показались из-за песчаного вала, в глубине неширокой долины.

— Найта! — сообщил мне Зубов, вышедший из кубрика. — В прошлом году, в июле, мы здесь до тридцати центнеров в день брали. Плохо только — возить далеко.

— В этом году тоже должна быть, — сказал я, чувствуя, как в глубине, под килем судов, ходят камбалы в ожидании нашего возвращения из Замысной.

— Вот на обратном пути попробуем. Думаю, будет рыба, — пообещал Зубов и нахмурился. — Ветер усиливается, как бы не разболталось.

— Ветер попутный, не помешает! — вступился я за погоду.

— А как в Замысной высаживаться будешь? От зюйда там ведь защиты нет! — сразу осадил меня Зубов и заторопился в кубрик.

Ветер заметно посвежел, волны стали выше, но меня это больше не радовало. Действительно, может оказаться так: придем и будем болтаться на рейде. Пусть лучше будет тихая погода, потерплю. Если бы акула напала или осьминог — вот это стоящее дело! Ведь с другими случалось.

Прикинув, далеко ли багор, чтобы в случае необходимости без заминки пустить его в ход, я с удовольствием отметил: недалеко! Достаточно одного прыжка, и багор у меня в руках. Дело оставалось за акулой. Я стал оглядываться кругом, и увидел Антипова. Антипов нес вахту в ходовой рубке. Стоя за штурвалом, он чуть не лопался от важности. Подумаешь, капитан дальнего плавания! Мы не ссоримся, но, когда Антипов на вахте, перестаем замечать друг друга. Вернее, я не замечаю его.

Хорошо, когда на вахте Зубов. Тогда, освободившись, я сразу иду в рубку. Как только старпом захочет курить, он непременно отдает мне штурвал, да еще и расскажет что-нибудь полезное. У Кашина постоять за штурвалом удастся реже. Он не курит и любит все делать сам. Антипов штурвала ни за что не отдаст, да мне от него и не надо. Демонстративно отвернувшись, я вдруг вспомнил, что следует сходить в машинное отделение, навестить Быкова.

В машинном отделении тепло и шумно, пахло мазутом и горелым маслом. Владения Пронина! Но сам Пронин, сменившись с вахты, ушел отсюда часа два назад. Видно, намеревался немного вздремнуть. Он это вполне заслужил: шесть часов вахты.

Быков обрадовался моему приходу, потеснился на узенькой скамеечке, приглашая знаками садиться рядом. Надоело торчать одному среди этого грохота и запахов. Скамейка была грязной, цветом напоминала костюм Пронина. Я смело плюхнулся задом на ее скользкую поверхность и огляделся. Быков о чем-то спросил, за шумом я не слышал. А потом догадался: «Где идем?» — спрашивает.

— Найту прошли! — крикнул я, склонившись к его уху.

Быков удовлетворенно кивнул. Он плавает второй год и места эти знает. Склонившись к моему уху, он ответил:

— Часов через шесть дома будем!

Из-за шума разговаривать очень неудобно, мы замолчали.

Быков широко и откровенно зевнул, потянулся, потом он взял масленку, поднялся с неохотой и стал тыкать свороченным на сторону носком масленки в разные места. Потом несколько раз крутнул ручку на небольшой прямоугольной коробке, закрепленной тут же, на переднем цилиндре.

От коробки к двигателю шло несколько трубок. Я уже знал прибор служит для смазки подшипников и цилиндров, но никак не мог вспомнить названия этой механической масленки. Покончив со смазкой, Быков стал ладонью ощупывать некоторые, вероятно, наиболее уязвимые места на двигателе. Делал он это уверенно, неторопливо, с видом человека, в совершенстве постигшего тайны своего ремесла. «Чувствуется прониинская школа!» — с уважением подумал я и охотно простил ему неуместное зевание и потягивание.

Двигатель продолжал свое дело: крутил маховик, муфту, яростно молотил воздух коромыслами-полумесцами, сопровождая все это напряженным шумом, звоном и подрагиванием. От раскалившихся до темно-багрового цвета калоризаторов веяло жаром, на выхлопном коллекторе исходило чадом масляное пятно.

Мы обменялись с Валентином взглядами, понимающе кивнули друг другу. Пускай, дескать, гремит, чадит и греется, раз так полагается. Только вот сам бы ты, Быков, не чадил. И кто только выдувал этот табак! Глупая, вредная привычка. Я поднялся.

Трап в машинном отделении имел всего четыре ступеньки. Я сделал четыре шага и остановился: почувствовал что-то неладное за спиной. Двигатель быстро сбавлял обороты. Потом он запыхтел, как загнанная лошадь, и наконец захрипел, едва ворочая маховиком.

С высоты четвертой ступеньки было видно, как суетился Быков. Он дергал какие-то рычаги, что-то крутил, двигал — одним словом, делал все возможное, чтобы вдохнуть жизнь в умирающий механизм. Все было тщетно: двигатель обреченно вздохнул последний раз, махнул на прощание маховиком туда-сюда и затих.

— Мир тебе, Прокл Севастьяныч! — с чувством продекламировал я и спросил с участием: — Что случилось, Валя?

— А черт его знает! Видишь, заглох...

Быков выпрямился, окинул машинное отделение разочарованным взглядом. Чувствовалось — ему больше нравятся исправные двигатели. Он неторопливо вытер ветошью руки и стал раскуривать погасшую папироску.

— Надо сходить за Прониным, — посоветовал я.

— Сам знает. Придет, куда не денется.

Быков курил сначала стоя, потом сел. Конечно, Пронин настрого приказал своему помощнику ничего не трогать, а только следить за работой механизмов и смазывать их. Но нельзя же так! Для того и существуют проблемы, чтобы их решать, а не взирать со стороны. Я попытался сдвинуть дело с мертвой точки:

— Может быть, компрессии нет?..

Но тут же прикусил язык.

Быков во время зимнего ремонта лично ходил на склад за компрессией по поручению слесаря Ушкалова. Эта шутка развеселила весь плавсостав, а Ушкалову обошлась хорошей взбучкой от директора, Быков промолчал.

«Все ясно: без главного специалиста здесь не обойтись!» — решил я и пошел будить Пронина.

— Тоже мне помощник: на пять минут отойти нельзя, что-нибудь да натворит! — сказал Пронин, выбираясь из кубрика на палубу.

— Да он, ничего не делал, просто сидел. Двигатель сам заглох.

Пронин взглянул на меня с удивлением. Дескать, с каких это пор неспециалисты стали вмешиваться в сугубо технические вопросы.

Потеряв ход, судно развернулось лагом к волне и стало раскачиваться довольно энергично. Движение по палубе сделалось затруднительным. Но рассерженный Пронин этого не учел, потерял равновесие и неловко замахал руками. Я с готовностью его поддержал, проводил до машинного отделения.

9

— Ну, что у тебя случилось? — спросил Пронин, сходя по трапу.

— Не знаю. Заглох ни с того ни с сего, — ответил Быков.

— Топливо есть? — Пронин взглянул на расходной бачок. — Есть топливо. А масло не проспал?

— Да все нормально, Устинович, я же все время следил.

— Тогда включай лампы, будем заводить.

Вот как все просто! Мы с Быковым ничего не смогли придумать. Специалист пришел, задал два вопроса и все решил. Я придвинулся ближе.

Двигатель завелся сразу. Послышался один звонок — малый ход! Пронин важно взглянул на Быкова: действуй, дескать! — и стал закуривать. Раздался второй звонок — полный вперед! Быков включил полный. Пронин важно выпустил первый дым папиросы через нос, и двигатель заглох.

— Фу ты, черт, опять! — рассердился Пронин.

После этого двигатель заводился еще два раза, но каждый раз глох, как только включали полный ход. Неожиданно кончился запас сжатого воздуха. Мотористы не глядели друг на друга и ничего не говорили, а мне очень хотелось услышать мнение специалистов.

Пришел Кашин, спросил:

— Ну, что там у вас, Леонид Устинович?

— Все, Прохорович, воздух кончился, заводить нечем.

— А что было-то? — снова спросил Кашин, спускаясь по трапу.

— Да ничего не было. Так...

Я подумал, что это «так» украло у нас целый час времени, но не мог даже предположить, сколько еще оно доставит нам хлопот.

На маховик набросили веревку. Мы с Быковым расположились по левую сторону двигателя, Зубов с Антиповым — по правую. Кашин встал к рычагам, Пронин орудовал лампами.

— Хватит, Устинович! А ну, ребята, качнули! — скомандовал Кашин, когда калоризаторы нагрелись до нужной температуры.

— Техника на грани фантастики! — усмехнулся Зубов. — Навались, орлы! Р-разом!

Они потянули веревку на себя. Маховик качнулся вправо, двигатель покорно вздохнул. Потом мы с Быковым потянули веревку. Маховик качнулся в другую сторону, двигатель снова выдохнул. На пятом или шестом цикле рядом что-то хлопнуло. Веревку рвануло из рук так, что я еле удержался на ногах. Все кругом загремело, задрожало, запрыгало — не сразу сообразишь, что произошло.

— Бросай... ты! — испуганно заорал Быков.

Но в руках у меня ничего уже не было, только жжение в ладонях. Веревка свалилась с маховика, Зубов подхватил и отбросил ее в угол. Все сразу заулыбались, о чем-то говорили. О чем — за шумом двигателя понять было невозможно.

— Ты, Петро, конец свободно держи в руках, а то можешь за просто под маховик угодить, — на палубе предупредил меня Зубов.

Я кивнул и, украдкой потирая о штаны горевшие ладони, подумал: «Ну силища — надо же так дернуть!»

Зубов пошел в рубку, решил сам встать за штурвал. Дали ход, судно легло на курс, и... двигатель заглох.

— Фу ты, черт, даже воздуху не успел накачать!

В наступившей тишине в голосе моториста слышались плаксивые нотки. Меня это насторожило.

— Почему он глохнет? — вслух подумал Кашин.

— А черт его знает, глохнет и все! — уныло ответил Пронин и стал закуривать, потом сел.

— На полных оборотах глохнет, на малых работает... — не слушая моториста, продолжал свои размышления Кашин. — Фильтр давно промывали? — неожиданно спросил он, взял ключ и начал что-то крутить.

— Недавно, кажется, — не совсем уверенно ответил Быков.

— Надо проверить. Посмотри-ка, Валентин, фильтр быстренько!

Кашин распоряжался, словно это он был старшим мотористом, и сам не сидел: откручивал, продувал какие-то трубки. Пронин курил. Может быть, он теоретически подходил к решению той же проблемы!

Зубов заглянул в машинное отделение, спросил:

— Ну что там у вас, скоро?

— Скоро! Ищем вот, — сердито ответил Пронин. — Орет еще, подумаешь, начальник! Без него как будто не знаем. Много вас найдется указывать, — ворчал он.

Пронин тоже хотел что-нибудь открутить, но от расстройства не знал, за что взяться. Кашин промолчал, занятый делом. Если судить по справедливости, это он должен был выступить в роли наставника и распорядителя.

— Ого, вот оно где, ядрена палка! — обрадованно воскликнул Кашин и показал всем скатавшийся в комочек обрывок тряпки.

— Это надо же, из-за какой ерунды! — подхватил Пронин и, повернувшись к Быкову, строго заметил: — Это вы с Ушкаловым химичили: мыли расходной бачок и оставили кусок ветоши.

Быков молчал, улыбаясь виновато и радостно.

— А что, разве из-за этой тряпочки двигатель не работал?

— Конечно! — объяснил мне Пронин. — Отверстие перекрыло, но топливо чуть-чуть поступало. На малых оборотах хватало, а на полных получалось разрежение, и двигатель глох. Валя, разжигай паяльную лампу, будем заводить! — приказал он Быкову и стал помогать Кашину ставить на место снятые трубки.

На этот раз двигатель завелся быстро. Веревка выскользнула из рук, я попятился, прижался в угол. Когда двигатель заработал, веревка намоталась крепче. Концы ее стали хлестать направо и налево со скоростью четыреста ударов в минуту. Попробуй сунься.

Зубов тоже прижался в угол. Антипов кинулся было за ним, но в последнее мгновение решил убраться отсюда пододру-поздорову. Хитрить успешно он мог только с Кашиным, а здесь техника... Не успел Антипов повернуться, как получил несколько добрых ударов по ниже спины.

Кашин резко сбавил обороты двигателя, чтобы заглушить его

совсем. Веревка свалилась с маховика, и все вздохнули с облегчением.

Антипову крепко досталось, хотя все началось и кончилось очень быстро. Он затравленно огляделся и молча ушел в кубрик. А на нас напал смех.

— Кыш вы! — рассердился Кашин. — Геннадий Иванович, на штурвал давай. А вы не мешайте здесь, марш на палубу!

Старшина выгнал не только меня, но и Быкова. В машинном отделении они остались вдвоем с Прониным. А нам только того и было нужно, уж на палубе мы нахохотались вволю.

Наконец-то Антипов получил по заслугам. Вот что значит механизация — отстегали, а обижаться не на кого, терпи! Я снова представил, как все происходило, но мне почему-то вдруг стало жалко Антипова.

Растопив печку, я поставил разогревать ужин. «Цусима» валялась на койке старпома. Читать темно. Зажег фонарь, но читать все равно не стал. Какие уж книги после всего, что случилось! Вон и с ужином сегодня запоздал.

Я позвал Антипова:

— Садись ужинать, Семен.

— К черту! Эта каша мне опротивела, жри ее сам! — вспылil он и пошел из кубрика.

А двигатель снова заглох...

Пришел Быков. Тихо чертыхаясь, стал снимать с гвоздика фонарь. Получилось у него это не сразу: сильно мешала качка. Антипов наблюдал за ним молча, но, когда Быков стал уходить с фонарем, потребовал:

— Куда это? А ну повесь на место!

— Заткнись! Ложись и спи!

— Я тебе заткнусь, молокосос! — запоздало пригрозил Антипов, потому что Быков ушел, а в кубрике стало совсем темно.

— Вот жизнь! Два фонаря на все судно! Случись сейчас что — попробуй-ка в темноте.

Слушать дальше я не стал, заторопился из кубрика.

Да, ночь не из приятных! Свежий ветер обдавал холодом, волны, набегая из темноты, раскачивали судно, иногда заплескивали через шпигаты на палубу. Вдали грозно чернел берег. Он был темнее моря и расплывчато обозначился на общем темном фоне. В небе ни звездочки, ни просвета. Тучи сгустились до черноты, провисли чуть ли не до воды под собственной тяжестью. Еще немного и нас раздавит, уйдем на дно вместе с судном.

Из машинного отделения доносились голоса, то громкие и раздраженные, то тихие, отрывистые.

Авария оказалась пустяковой: помпа перестала качать воду, и двигатель перегрелся немного. Но было темно, да и качало здорово. Попробуй-ка и держаться, и работать при свете фонаря, среди железа.

— Зайди с этой стороны, Валентин, ни черта не видно.

Быков обошел Кашина сзади, присунул фонарь поближе. Лицо старшины осветилось. Оно было строго и сосредоточенно.

— Ключ, Леонид Устинович, три осьмушки на пять шестнадцатых, — потребовал Кашин и, не глядя, протянул руку.

Пронин вложил в эту руку нужный ключ и с боку тоже старался подсмотреть, что там делается.

— Фу-у! Все, Устинович, готово, — с облегчением сказал Кашин, поднимаясь на ноги. — Открывай кингстон, проверим.

— Помогать вам ничего не надо? — спросил я, воспользовавшись паузой.

— Помощник нашелся! Ты здесь, как баран в библии, ключа от отвертки не отличишь, — обидно хихикнул Пронин.

В интересах общего дела я стерпел, проглотил обиду.

— Может быть, снова веревкой заводить будем?

— Воздух есть, накачали. Иди, Петро, отдыхай. Тебе-то зачем это, — сказал Кашин.

Я пошел спать.

10

Свободный полет в бесконечность сменился стремительным падением. Я проснулся, испуганно открыл глаза.

В углу, на обычном месте, висел фонарь. Он раскачивался, светил плохо — стекло совсем закоптилось. В кубрике было холодно. В деревянную обшивку толкались волны, ворчали, сердились на то, что так долго не могут достучаться. Очень громко шумел прибой, значит, берег совсем рядом.

Все ребята были на месте. Они спали, оповещая об этом мир разноголосым, переливчатым храпом. Все хорошо! Пришли, ждем рассвета. Высаживаться ночью не стали — опасно.

«Досталось ребятам. Совсем измучились за ночь. Пускай отдыхают пока, спешить все равно некуда», — решил я, загасил фонарь и вышел на палубу.

Начинался один из тех рассветов, от которых в памяти остается только тускло-серая бесконечность да противный озноб. Судно стояло на якоре, а крутые волны безжалостно мотали его. Я зябко поежился, хотел вернуться в кубрик, но сразу забыл об этом.

Вместо Замысной, передо мной лежал чужой, совершенно незнакомый берег. Мелкие камешки вперемешку с песком тянулись узкой полосой. Волны, набрасываясь, шлифовали, разглаживали ее и с ворчанием отступали, волоча за собой ярко-белые клочья пены. Песок мокро блестел, и пена на нем как бы светилась собственным внутренним светом. Красиво, величественно, но что будет, если якорь не удержит! Нет уж, лучше туда не попадать!

Чуть выше высокий крутой обрыв, поросший шиповником и другой мелкой растительностью. Обрыв упирался в небо, в серые клочья тумана или низких туч. Налево и направо, совсем близко от нас, берег обрывался крутым поворотом, больше ничего не было видно.

А что, если за ночь течением отнесло нас к необитаемому острову? Ведь это здорово — открыть новую землю!

Утром мы высадимся на берег, нанесем остров на морские карты и со славой вернемся домой. Пусть тогда попробует кто-нибудь упрекнуть нас за самовольный уход.

Остров мы назовем именем Зубова, нет — Пронина, и водрузим красный флаг на самой высокой горе, которую назовем горой Кашина. А Зубову тоже нечего обижаться, там должна быть хорошая гавань, вот его именем и назовем. Найдется и какой-нибудь мыс для Быкова, ну и для Антипова тоже.

Ребята, наверно, захотят и моим именем назвать какой-нибудь бугорок, но мне не надо. Мне достаточно будет того, чтобы Танька, услышав о нашем открытии, перестала задаваться и позволила проводить себя до самого дома. Надо же такому случиться! Была девчонка как девчонка. Вместе учились в школе, даже сидели за одной партой два года. Она у меня списывала задачки по арифметике, я у нее — по русскому. Потом она начала задаваться. Кто их поймет, девчонок!

Мне хочется побыть с ней рядом, сказать что-то особенное, хорошее! А не могу: язык не ворочается и мысли путаются. Перед отъездом в Теплинку я мысленно уже называл ее. Таней, осталось только выговорить это вслух. Конечно, после нашего географического открытия будет совсем не трудно назвать дорогое имя даже при посторонних. Остальное я доскажу ей после, наедине!

Надо вот еще подумать, из чего сделать флаг. Судно без флага оставить нельзя... На Тане тогда было красное платье... Опять я о ней! И что это такое со мной? Пока были в Теплинке, почти не вспоминал, а как стали ближе к дому, из головы не идет.

На хорошем острове непременно должна быть река, я назову ее Татьянкой. Очень приятно звучит! Ребята могут спросить, в честь кого название. Но я им ничего не скажу, просто для себя назову и все. Люди станут пить воду и радоваться.

— Заходи сюда, Никифоров, чего торчишь среди палубы, — крикнул Антипов, высунувшись почему-то из рубки. — Ух, холодно! Южный мороз жмет северного мужика!

Неожиданное вмешательство Антипова помешало мне закончить исследование острова. Днем же новые острова встречаются реже, чем ночью или на рассвете.

Мы оказались в исключительно неловком положении: берег рядом, волны набегают, и ветер безобразничает на просторе. Все морские стихии ополчились против нас. Страшно подумать, что будет, если они вышвырнут нас на берег!

Но, справившись у старпома, я впал в уныние. Оказывается, не было никакого шторма, волнение на море не превышало четырех баллов. Оказаться на берегу при таких пустяковых баллах — ничего более позорного даже и представить себе невозможно!

Мне приходилось видеть настоящий шторм, но только с берега. Случалось, на глазах у всех гибли люди — это было очень страшно. И как радовались все, когда человек с полузатопленного, измочаленного волнами судна чудом добирался до берега. Вот там были герои!

Конечно, нельзя сказать, что на этот раз все было абсолютно спокойно. Дул ветер, волны с воинственным шумом насакивали на берег. Наш «СП» скрипел, хлопал носом, дергался на якорном канате, как привязанная лошадь, почуявшая волчью стаю. Свистопляска добрая — море шутило, но не очень забавно. И все-таки четыре балла не шторм. При таком пустяковом накате ровный песчаный берег принял бы нас, как мать родная непутевого сына.

Сразу после завтрака Кашин забрал мотористов и увел в машинное отделение. Что-то они там не доделали или не доломали еще. А мы с Зубовым ушли в рубку. Антипов тоже притаился за нами. Прилепившись к окну, он смотрел на берег и думал о чем-то своем.

— Не дрейфь, Петро, якорь у нас сильный, канат надежный и грунт здесь хороший, илистый, — успокоил меня старпом.

— Может быть, парус поднять? Раньше ходили, — предложил я.

— Не сочиняй, Петро! Где он, парус? И вообще: якорь поднять не успеешь, как окажешься на берегу.

— А далеко отсюда до дама, Гена? — спросил Антипов.

— Миль пять, не больше. Сорок пять минут ходу, — не задумываясь, ответил Зубов и в поисках махорки начал обшаривать карманы.

— А по берегу — это сколько будет?

— Черт ее знает. Я здесь пешком не ходил. Километров десять, наверно. До Малой пади считают двенадцать, а она здесь рядом, за этим мыском.

— Десять километров? Всего!

Антипов разволновался и полез в карман за кисетом. Его просто нельзя было узнать, так переменился вдруг человек.

— Это ведь совсем рядом, я здесь сто раз ходил... — затараторил он. — Ну да! За этим мысом будет Малая падь, а дальше Большая! Сестра там моя живет. И дорога здесь отличная: все время берегом. В одном месте только перевалить, но там тропа — на лошадях даже ездят.

— Ездят, ходят, на брюхе ползают, — тебе-то не один ли черт! — неодобрительно заметил Зубов, вздохнул и прекратил бесполезные поиски: махорка кончилась.

— Так ведь дом совсем рядом, вот он! — возразил Антипов.

— Близок локоть, да не укусишь. И не суетись, пожалуйста, без тебя тошно! — рассердился старпом.

Я тоже узнал место: ходил здесь не один раз. Бывал и в Большой пади. И Малая падь — одно название, там давно никто не живет. Только мне от всего этого не сделалось веселее, даже грустно стало.

Антипов перестал суетиться, обиженно поджал губы и ляпнул:

— Да уж хоть бы выбросило, тогда домой пойдем.

— Что, что ты сказал, повтори! — рассердился Зубов и ухватил Антипова за грудь. — Да ты знаешь, что тебе за это сейчас... Под суд нас хочешь... Кашина под суд подвести! Сволочь ты после этого!

Зубов ограничился потряхиванием, словно решил за один раз вытрясти из Антипова всю дурь. Антипов тоже ухватил старпома за грудь, за мою брезентовую куртку. Старпом тряхнет Антипова, Антипов тряхнет старпома, и никакого воспитательного эффекта не получается. Оба покраснели, тяжело дышали, но первый пыл уже проходил.

— Подумаешь, хватается... Плевать я хотел! — высказался напоследок Антипов и ушел.

— Иди отсюда, пока тебе не попало! — крикнул Зубов, когда дверь уже захлопнулась. — Скажи, Петро, надо же додуматься до такого! У него ума хватит якорный канат обрубить, — высказал опасение Зубов.

— Не посмеет, что ты! — возразил я.

Зубов так был возмущен случившимся, что даже слышать не хотел об Антипове. Завернуть бы сейчас добрую папиросину и покурить в свое удовольствие.

— Слушай, Петро, у тебя нет закурить?

— Нету. Откуда, Гена!

— Да, ты ведь не куришь.

Из рубки нам было видно, как Антипов, привалившись плечом к мачте, курил в полном одиночестве. Дым папиросы относил в нашу сторону.

Антипов затаился последний раз и вяло пустил окурок по ветру. В кубрик ему идти не хотелось, торчать одному на палубе тоже не очень приятно: ветер так насквозь и пронизывает. Антипов зябко поежился, украдкой потер руки.

— Заходи, Семен, чего ты там мерзнешь па ветру! — доброжелательно крикнул Зубов.

Антипов не заставил себя упрасивать. Улыбался он пока нерешительно, но к примирению был готов.

— Давай закурим, Сеня! Махорка у тебя есть? — сказал Зубов.

Курили молча, но так дружно, что в рубке скоро нечем стало дышать.

А ветер выл, море горбатилось волнами, заполняя весь мир протяжным напряженным гулом. Я попытался представить себе, как в

открытом море выглядит настоящая штормовая волна, и вдруг понял, что уже совсем не укачиваюсь. Не заметил, как привык. Вот это здорово! Поделиться бы с другими своей радостью, да ребятам на это наплевать.

— Неужели ничего нельзя придумать, ведь дом совсем близко,— вслух подумал я.

— Кто, Пронин, что ли, придумает! — сказал Антипов. — Мы вот болтаемся здесь, а кто об этом знает? Они не знают даже, где нас искать. А если вдруг шторм начнется, тогда как?

Зубов курил молча. Антипов заговорил увереннее.

— Можно выехать на шлюпке. Схожу на почту, позвоню, тогда за нами пришлют катер.

— Чудишь, Сенька! Такой накат — шибанет и...

В это мгновение я глянул в окно, закричал радостно:

— Идут... Идут — два сразу! — и рванулся из рубки на палубу.

Странного вида судно — низкое, длинное, с палубной надстройкой, прилепившейся на самой корме, — шло с юга на север. За ним попевало второе, совсем маленькое суденышко.

— Танкер! — определил Зубов.

— А маленький?

— Катер. Разве не видишь!

Я видел! Но мне хотелось говорить, спрашивать, прыгать от радости. Ведь это я первый увидел, что помощь идет. А суда проходили мимо — курс их лежал гораздо мористее. Видимо, аварийное судно их не интересовало.

Я вопросительно посмотрел на старпома.

— Сигнал надо подать, а то пройдут мимо! Думают, наверно, что мы тралим, — торопливо объяснил он.

Я стал оглядываться и припоминать из прочитанных о море книг, чем можно подать сигнал бедствия.

— Факел надо! — первым догадался Антипов.

— Дурак, днем-то — факел! — осадил его Зубов.

Пришлось заглянуть в машинное отделение, доложить старшине:

— Танкер, Иван Прохорович, и катер, идут на север!

Из машинного отделения полезли вверх мотористы, осматривались, шурились от яркого света. Потом все радостно заулыбались, словно никаких проблем больше не было.

Зубов стоял на кубрике и энергично размахивал моей курткой, нацепив ее на багор. Мне сделалось и легко и стыдно. Легко от того, что вопрос решился так просто. Стыдно — что проблемы никакой не было, а я ее просто выдумал. Старпом все знал заранее. Он просто не спешил.

На катере, очевидно, давно следили за нами. При первых сигнальных взмахах он резко изменил курс и пошел на сближение. Зубов опустил багор.

— Куда это он нас потащил! — испугался Антипов, когда Замысная стала уходить назад, заслоняться до боли знакомым мысом.— Домой ведь надо...

Я вопросительно смотрел на Зубова и тоже ничего не понимал. Но старпома, очевидно, происходящее несколько не волновало. Стоя за штурвалом, он направлял судно прямо на широкую корму танкера.

— Не суетись! — осадил он Антипова. — Ты видишь, какой там накат.

Антипов сник и отвернулся. Понял, что его личное желание здесь ничего не значит. Старпом усмехнулся и подробно стал объяснять суть дела.

— Танкер идет в Кузьмичево, везет топливо в МТС. В Кузьмичево, за мысом, тихо. Отремнтируемся, заправят они нас топливом, и вернемся домой своим ходом. Здесь всего семь миль, к вечеру будем дома. Может быть, к тому времени и ветер утихнет.

Убедили или не убедили Антипова слова старпома, но для меня они явились вершиной человеческой мудрости. Уж не знал ли старпом еще в Теплинке, что именно вот так все у нас будет происходить.

Итак, Кузьмичево! Что ж, места хорошо знакомые. Здесь мы учились в школе с пятого по седьмой класс. Поселок несколько больше нашей Замысной. В Кузьмичево довольно крупный для наших мест сельскохозяйственный колхоз. Я никогда не видел Кузьмичево со стороны моря и, только хорошо присмотревшись, узнал школу, обрадовался ей, как хорошему другу.

Высокий, скалистый мыс защищал бухту от южного ветра. Вдалеке по-прежнему беспорядочно громоздились волны, а здесь было тихо, как в речке, и ветер дул с берега. Хороший мыс! Вот бы в Замысную такой. С севера у нас защита есть, но с юга бухта совсем открытая. А будь там еще и такой мыс, стояли бы мы сейчас дома, не ведая никаких забот.

Мазута на танкере не оказалось. Сначала хотели смешать солярку с маслом, потом решили дать нам топливо с катера, где, как и у нас, двигатель работал на мазуте. Но сначала катеру придется сходить к берегу. Танкер остановился на рейде, — надо взять на берегу поставителей МТС и большую цистерну. В цистерне топливо будет доставляться на берег.

Мы выбрали буксир, пришвартовали судно к борту танкера и Кашин с Прониным пошли к механикам: понадобилось им просверлить отверстия в каком-то фланце. Я потолкался на палубе, и, движимый любопытством, нерешительно ступил на борт танкера. Там несколько человек растягивали толстый гофрированный шланг.

— Как жизнь, моряк? — послышалось неизвестно откуда.

Я повертел туда-сюда головой, глянул вверх и увидел на ходовом мостике довольно пожилого человека. Он стоял, облокотившись на перила, и смотрел на меня. В лице, во всей фигуре его было что-то располагающее к себе. «Старпом, наверно, а может быть, даже капитан!» — подумал я.

— Поднимайся сюда — смелее! — предложил он.

Я быстро взбежал по крутому металлическому трапу, и мы предстали друг перед другом. На нем была мичманка с «крабом», черная куртка и флотские брюки. Смотреть на него было одно удовольствие.

— Давай знакомиться, — он подал мне руку. — Монахов Виктор Агеевич.

— Петька! Никифоров... — немного растерялся я, тут же поправился: — Никифоров Петр Николаевич. А вы старпом, наверное, да?

— Верно, старпом и есть, — подтвердил Монахов. — А ты, Петя, давно плаваешь?

— Нет, не очень. Месяц только. Даже месяца еще нет.

— Нравится море? Или разочаровался уже?

— Нет, почему же? Вот только двигатель у нас часто барахлит.

— Да, это плохо. Но ничего, наладится и двигатель — все наладится! А там дело пойдет. Так ведь, Петя?

— Конечно! Лишь бы двигатель работал, тогда — жить можно!

— Хочешь посмотреть, как мы живем?

Ходовая рубка поразила меня своими размерами. В ней могли бы свободно разместиться десять или пятнадцать человек. Между тем как в нашей и вдвоем тесно. Я подошел к штурвалу и увидел далеко внизу длинную, пустынную палубу, едва возвышающуюся над водой.

— Ну как, Петя, нравится? — спросил Монахов, наблюдая за мной сбоку.

— Совсем не то, что у нас. У нас просто.

— Учиться тебе надо, Петя. Вот отплаваешь год и подавайся в мореходную школу, — оглушил меня мой новый знакомый неожиданным предложением. — Образование у тебя какое?

— Семь классов, — машинально ответил я, оробев перед величиной открывающейся перспективы.

— Это хорошо! — Монахов вздохнул. — Слишком много по деревням осталось в войну ребят с тремя да с четырьмя классами. Учиться надо. Даже если останешься рыбаком — не все же время будете плавать на таких суденышках.

Он кивнул в сторону нашего «СП». Рядом с танкером «сорок четвертый» выглядел совсем малюткой и имел невзрачный — если не сказать убогий — вид. Никогда прежде он мне не казался таким.

— Будут у нас настоящие сейнера! Тогда и потребуются капитаны, уж ты мне, Петя, поверь! — продолжал Монахов, верно угадав мое смущение.

С детства я жил мечтами о море, хотел быть старшиной, и капитанство тоже привлекало меня. Но представлялось все это лишь в необозримом будущем. Сейнеров в колхозе не было, капитанов — тоже. Первого настоящего старпома, можно сказать, довелось увидеть. Правда, и у нас стали поговаривать о сейнерах, даже обещали нам один к скумбровой путине. А мне даже жаль было бы расстаться с нашим маленьким сетеподъемником.

— А эта штука, Виктор Агеевич, как называется? — спросил я, осторожно трогая бронзовую ручку неизвестного мне прибора.

— Машинный телеграф. Не слышал о таком?

Слышать-то слышал, да ни разу видеть не приходилось. А догадаться можно было — здесь надписи: «стоп», «малый вперед», «средний», «полный».

— У нас такого нет, звонок только, — сказал я.

— Значит, договорились, Петя, — заключил разговор Монахов. — Осенью поедешь поступать в мореходку. А пока возьми учебники и готовься.

На танкере я пробыл больше часа. Видел, как радист, связавшись с Теплинкой, поведал в радиогамме о наших мытарствах. Побывал в каюте старпома, в кубрике и никак не мог освоиться с той роскошью, в какой живут здесь люди. Если бы у нас была хоть половина этих удобств!

А рация — ведь это настоящее чудо! Тоскливо в море без рации.

На камбузе плита побольше, чем даже у нас дома. На ней свободно умещались три, даже четыре кастрюли. Здесь кок был полным хозяином: никто ему не мешал, не толкал под руку. Никто не вешал над печкой портянок, готовых каждую минуту свалиться в кастрюлю.

Спускаться в машинное отделение я не решился. Заглянул только туда с верхней ступеньки трапа. Просторный зал до предела насыщен разными механизмами. Главный двигатель был так велик — даже не верилось, что с ним может управиться один человек. Хотелось бы послушать, о чем здесь говорят мотористы.

— Ну как, Петя, все посмотрел? — встретил меня на палубе Монахов.

— Посмотрел...

— Тогда идем обедать.

— Спасибо, Виктор Агеевич, мы пообедали. Не хочу, спасибо.

— Идем, чего там, не помешает. Кстати, с продуктами у вас как — не туго?

— Хлеба нету. Утром кончился! Сахар — тоже. Да мы ведь сегодня ужинать будем дома. Так что все нормально, — торопливо заверил я.

Расплакался, а чего ради! Жаловаться как будто не на что: с голоду ведь не умираем. Требовалось как-то исправить оплошность.

— Очень возможно, что будете сегодня дома, — согласился Монахов. — Но, в общем, разговоры в сторону, пошли обедать.

Мы ели борщ с мясом, потом — котлеты с гречневой кашей, и запили все это чудесным компотом. Во время обеда Монахов как-то странно на меня поглядывал, но сам ел мало и неохотно. Один раз у него на глазах блеснуло что-то, похоже на слезу. Но, наверно, мне показалось. Где это видано, чтобы настоящий моряк плакал над борщом!

Монахов что-то шепнул коку, и, пока я расправлялся с компотом, на столе появился бумажный сверток.

— Это вам всем, — пояснил Монахов.

— Да что вы, Виктор Агеевич, зачем! Да мы...

— Моряки обязаны помогать друг другу в трудную минуту, — строго возразил Монахов. — Не тебе одному, всем это. Бери!

Он вложил мне в руки сверток, взял с вешалки свою мичманку и надел ее на мою голову. Я, было, подумал, что он тоже смущен, поэтому ошибся, но Монахов сказал:

— А это тебе, лично, на память от меня. Ну, счастливо, Петя!

Монахов ушел. А я остался с мичманкой на голове, с бумажным свертком в руках и неразберихой в мыслях. Неожданность и быстрота случившегося помешали мне хотя бы поблагодарить за подарок. «Не возьму, зачем это... Еще подумают, что специально напросился!» — наконец решил я, положил сверток на стол, сверху — мичманку и виновато взглянул на кока.

— Ты уж не обижай капитана, возьми.

Кок, тронув меня рукой за плечо, пригласил сесть рядом. Я молчал, не зная, как следует поступить.

— Сын у него был, на тебя похож очень, и... ровесники вы с ним, наверно, — сказал кок. — Тебе — сколько?

— Шестнадцать.

— Сергей постарше немного. Ему бы сейчас семнадцать было. Утонул осенью. Трудно Виктору Агеевичу... Да что там говорить — сын ведь!

— Он что, капитан — Виктор Агеевич? А мне почему-то сказал... — совсем не к месту начал я, потрясенный и окончательно сбитый столку. — Спасибо вам! Виктору Агеевичу тоже...

На судне давно заметили мое отсутствие. Встреча была не очень приветливой, можно сказать — суровой.

— Ты где пропадал? Почему не сказал, куда идешь! — сердито сказал Зубов, отложил на время «Цусиму», которую читал. — Самовольничать! На берег смотались, да? А где Антипов?

— Я был на танкере, у капитана! Вот дали — на всех. А у капитана там — беда: сын утонул, осенью...

— Мичманку где подцепил. Спер, что ли?

— Мичманку капитан дал, на память.

— На память. С чего, это вдруг?

Он долго вертел мичманку в руках, рассматривая со всех сторон, даже примерил на свою голову.

— Большая очень, — заметил он с сожалением.

— Зато мне в самый раз! — торжественно объявил я и поскорее водрузил мичманку на ее законное место.

— Башка у тебя, Петро, как хороший котел, — иронически заметил старпом.

Я только улыбнулся в ответ.

В свертке оказались две булки хлеба, две банки тушенки и кулек с комковым сахаром. Зубов открыл ножом банку тушенки, отхватил порядочный ломоть от булки и взялся за ложку.

— Может быть, суп лучше сварим? — нерешительно сказал я. — Там рису немного осталось — с тушенкой, хорошо бы.

— Зачем нам — суп? Ужинать дома будем, — благодушно и очень уверенно возразил Зубов.

— Надо ребят позвать: это на всех дали. Их ведь четверо.

— Вон еще банка есть, хватит им. Пускай машину наладят сперва.

Насытившись, Зубов по привычке стал обшаривать карманы, но вспомнил, что махорка находится у Антипова.

— Сенька где, там? — возобновил он допрос.

— Не знаю. На танкере его не было, не видел.

— Как это не было... Куда ж он делся? Удрал! Точно, удрал на берег, вот паразит!

Зубов всегда сердился, когда у него кончалась махорка, а стрельнуть было негде. С бегством Антипова он оказался в затруднительном положении: можно закурить у мотористов, но для этого надо идти с ними на мировую. К счастью, я вспомнил, где у Антипова хранится махорка, поискал и нашел целенькую пачку.

— Ну и черт с ним, с Антиповым! Только крысы покидают судно в трудную минуту, — сразу успокоившись, решил Зубов.

Протянув резиновый шланг от катера к нам, мотористы ручным насосом перекачивали топливо. Матрос с катера подтвердил, что Антипов действительно ушел на берег еще с первым рейсом.

— Придем домой, я ему покажу, — пообещал Зубов.

— Старшина послал его за хлебом и махоркой, — объяснил матрос.

Наконец порядок в машине наведен, цистерны заправлены топливом. Мы отдали кормовой швартов, а носовой потравили так, что оказались далеко за кормой танкера. При запуске двигателя искры из нашей выхлопной трубы представляли для него серьезную опасность.

Я украдкой потрогал мичманку на голове, посмотрел на мостик танкера, но капитана там не увидел. На мостике стояло двое незнакомых ребят. Они о чем-то мирно беседовали и по очереди в бинокль рассматривали поселок.

Я принял носовой швартов и махнул на прощание мичманкой. «Сорок четвертый» слегка попятился назад, лихо развернулся и в обход мыса Лунина пошел на юг.

Зубов важно стоял за штурвалом и глядел мимо меня, вдаль. Из машинного отделения в рубку прошел Кашин. Он выглядел усталым, озабоченным, словно мы шли не домой. Мне жаль старшину, но не знаю, как помочь ему.

В открытом море ветер дул с прежней силой, и четырехбалльное волнение ожидало нас. Судно стало клевать носом, потом заскрипело, заплесало на ершистой встречной волне. Кинув последний взгляд на засветившийся огнями танкер, я пошел в кубрик. Надо убрать кастрюли и миски, чтобы они не бились, не мяли свои алюминиевые бока.

Антипов малодушно сбежал. Хорошо, если бы насовсем. Тогда шестым нам дадут кого-нибудь из молодых — он будет коком, а я — ловцом.

Я вертел в руках мичманку, с любовью гладил ровный, как стол, круглый верх и снял «краба». Старпом говорит, что до «краба» я еще не дорос. Что ж, постараюсь сделать это как можно быстрее. А пока мичманка хороша и без «краба».

Волны хлестали судно по скулам, как бы задавшись целью поворотить его вспять. А на душе было светло и радостно, как бывает в начале большого праздника. Не хотелось думать о том, что едва ли ночью при таком накате нам удастся высадиться в Замысной. Не это сейчас было главным, а то, что мы своим ходом идем в сторону дома. Так что лучше бы вам, волны, смириться, успокоиться и не мешать рыбакам! Дел-то у нас сколько дома! Интересно, что подумает Таня, когда я неожиданно появлюсь в клубе? Скорее, скорее бы!

Двенадцативольтовая лампочка светила исправно, можно было почитать. Я разыскал «Цусиму» у старпома под постелью и присел к столу. Какой-то злой рок преследовал меня от самой Теплинки: за два дня не сумел прочитать ни строчки, все время что-нибудь мешало. Вот и сейчас — едва раскрыл книгу, как двигатель снова заглох. В кубрике стало темно. Встречные удары волн прекратились, зато усилилась бортовая качка: лишенное хода судно сразу развернуло лагом к волне. Не судно, а инвалид какой-то, потерявший костыли.

Засветив фонарь, я повесил его на гвоздик, чтобы не свалился, и пошел на палубу уточнять обстановку.

Еще не совсем стемнело, можно было кое-что рассмотреть. Темные с белым волны вздымали судно, проносились дальше и бились о скалы, вставшие отвесной стеной прямо из воды. Берег совсем близко. Он отгородился от моря светлой полосой прибоя, которая словно текла куда-то, вздымаясь и опадая в неустойчивой темноте.

Я хотел получше рассмотреть, что творится там, на границе двух стихий, но ничего больше не увидел. А жаль! Случись это днем, картина была бы потрясающая: море умеет быть грозным, никому не угрожая. С правого борта ярко горели огни танкера, до них не больше мили. Хоть убей — не пойму, что с нами творится, какие силы не пускают нас домой!

Непонятная возня за спиной отвлекла меня от размышлений. Свет, падавший из открытой двери кубрика, тускло освещал рубку и лицо Зубова, изнутри прильнувшего к окну. Он что-то кричал, но голос, приглушенный толстым стеклом, почти не был слышен за шумом прибоя. Зубов бешено барабанил кулаком по стеклу, вот этот-то дребезжащий звук и привлек мое внимание.

Дверь в рубку оказалась запертой снаружи. Может быть, Кашин, уходя, машинально закрыл ее, или крюк, оставленный в поднятом положении, сам упал, и Зубов оказался в западне. Рубка сколочена крепко, через маленькое окно взрослому человеку не выбраться. Вторая дверь заколочена наглухо, а других выходов отсюда нету.

«И только-то! — удивился я и успокоился окончательно, обнаружив причину тревог Зубова. — Велика важность — закрыли его!»

Я откинул крючок. Зубов наскочил на меня, прижал к стенке и рванулся к люку машинного отделения.

— Сидите тут... Факел, факел надо! — закричал Зубов.

Нависнув над трапом, он протянул руку, словно в машинном отделении ждали, когда у них потребуют факел.

Факел, конечно, хорошо. Сейчас ночь, его далеко будет видно. Катер придет за нами, снова начнется ремонт двигателя, а дом еще немного подождет. Для чего так шуметь, ведь не первый же раз судно остается без хода? Оглядевшись, я никакой опасности не заметил.

Но тревога передалась уже в машинное отделение, люди засуетились. Кашин посмотрел вверх, подтолкнул Пронина, загородившего узкий проход, и машинально стал вытирать ветошью руки, потом — нос. Стоявший на корточках Пронин хотел встать на ноги, но вместо этого сел. Все были взволнованы, даже напуганы необычным поведением Зубова.

— Факел! Какого черта... Быстрее надо! — повторил Зубов.

Огни танкера весело и беззаботно перемаргивались вдалеке, а черный, угрюмый мыс Лунина медленно наползал на них. Как зачарованный, Зубов смотрел в ту сторону.

Смысл происходящего понемногу стал открываться мне: волны и ветер быстро несут судно на скалы, в темноте с танкера нас видеть не могут, нужен световой сигнал; через десять-пятнадцать минут мы будем уже невидимы из-за мыса, тогда никакие сигналы не помогут. Несколько ударов о скалы, и от судна останутся жалкие обломки. Берег в этом месте — отвесная скала. На нее не выберешься. Там даже зацепиться не за что будет; в ледяной воде тоже долго не выдержишься. Очень неприятная перспектива.

Энергичным рывком преодолев трап, Кашин появился на палубе. По-моему, зря он связался с мотористами и свою работу пустил на самотек. Старшина обязан находиться на палубе, все видеть, все замечать и принимать меры. Хорошо, что старпом не дремал. Но на этот раз и он, кажется, перестарался: чуть ли не до паники довел команду.

Зубов ждал факела, но подать его было некому. Быков следом за старшиной выскочил на палубу. Пронин нечаянно лягнул фонарь, оставленный Быковым на паелах — и в машинном отделении сразу стало темно. Бывают же такие моменты!

Мыс надвигался, тянулся изо всех сил, чтобы поскорее добраться до танкера. Он уже злорадствовал, чувствуя, что ловушка, в которой мы оказались, вот-вот захлопнется. Вот он придвинулся вплотную к носовому огню танкера. Огонек испуганно мигнул раз-другой и погас — на душе сразу стало темнее.

Слабые блики вечерней зари еще догорали на западе, а у берега сгустилась тень. Она притягивала нас, как магнитом, и не за что было уцепиться, чтобы остановиться. Странное чувство владело мной в эти минуты: я как бы разделен на две половины. Одна половина отчетливо сознавала безвыходность положения и предстоящую гибель, вторая не допускала самой возможности этого и не очень-то боялась. Разве может умереть человек, у которого впереди еще столько дел и сил для этого не занимать! Эту, вторую, половину волновало только то, что до сих пор никаких мер не принято и время теряется понапрасну.

— Какого они там черта, маслопупы... Ну дайте же что-нибудь, хоть ветоши кусок! — в третий раз крикнул Зубов.

«В кубрике горит фонарь, принести надо!» — мелькнуло у меня в сознании. Но фонарь не потребовался.

Кашин быстро оценил обстановку. Повернувшись туда-сюда, он схватил швабру, которая лежала на машинном отделении рядом с вы-

хлопной трубой. Оттолкнув плечом своего помощника, старшина обмакнул швабру в ведро с керосином. Керосин нам нужен для заправки фонарей, а место ведру под трапом. По обычной небрежности Быкова, ведро стояло в самом проходе — старшине даже не потребовалось спускаться вниз.

— Спички! — коротко бросил он.

Нет, наш старшина умеет командовать, когда это необходимо. А Быков. Он для того и родился медлительным, ко всему равнодушным, чтобы в трудное для нас время оставить ведро с керосином поближе к выходу. Так в моем понятии обычные недостатки человека превратились во временные достоинства.

Старпом спички давно уже держал наготове. Хорошо просушая возле выхлопной трубы швабра загорелась от первой спички и вспыхнула вся разом. Дымное пламя затрепетало на ветру, освещая судно, темные фигуры людей, их напряженно застывшие лица тревожным и обнадеживающим светом.

С таким необычным факелом в руке Кашин одним махом вскочил на машинное отделение, оттуда — на рубку. Для устойчивости он пошире раздвинул ноги и закрутил швабру над головой. Черный смолистый дым относил к берегу, где в темноте бились о скалы торопливые волны. Но туда больше никто не смотрел. На палубе все следили за старшиной.

Мыс, едва различимый из освещенного пространства, наползал угрожающей тенью. Это уж и не мыс совсем, а нечто живое, пожирающее огни. Вот оно поглотило еще один огонек, двинулось дальше. На очереди была ярко освещенная кормовая надстройка танкера, после чего должна наступить темнота. В эту минуту я возненавидел мыс Лунина самой лютой ненавистью.

Старшина прекратил махание, выразительно крикнул и начал спускаться вниз, держа швабру на отлете. Мы не сразу поняли, что случилось. Все смотрели на старшину, на факел и не видели, как последний огонек, мигнув, погас, раздавленный угрюмой тенью. Больше не надо было никуда торопиться. Оставалось только гадать, заметили или нет наш сигнал на танкере, и ждать.

Длинная прядь, оторвавшаяся от швабры, тихо горела на палубе. Я подошел, старательно и неторопливо растер ее сапогом. Подумал, что вместо швабры для факела можно так же использовать вешик, который у нас тоже сделан из пеньковой веревки. Пронин, успевший к тому времени выбраться на палубу, длинно и нескладно выругался.

— Якорь надо, Геннадий Иванович, побыстрее! — сказал Кашин.

— Какой якорь! Здесь глубина... метров сто под самым берегом! Толку-то от твоего якоря... — возразил Зубов, не трогаясь с места.

— Ты мерил, что ль, ее — глубину здесь!

— А, иди ты! Вон посмотри по карте...

— Что ж теперь — нюни распускать! Иди, говорю, на якорь! Надо дело делать — ахоть после будем, — прикрикнул Кашин, сунул швабру за борт и добавил: — По карте определил! Там двести-триста метров от берега, оно и незаметно совсем.

Зубов заторопился. Он, кажется, понял, что это может оказаться последним шансом.

Швабра зашипела и погасла. На палубе сделалось темно, и мыс обозначился яснее. Но рядом с мысом что-то блеснуло, и сразу послышался радостный голос Зубова:

— Идет! Катер идет! Заметили... Хлопцы, катер!

— Тут мы, тут, сюда давайте! Скорее! — закричал Пронин.

Он смешно притопнул ногами, замахал коротенькими ручками и для чего-то пошел на нос, хотя и с кормы все было хорошо видно.

Кашин выхватил швабру из-за борта и так махнул ею, что брызги полетели во все стороны. Опомнившись, он оставил бесполезное занятие, вместо факела в его руках оказалась мокрая, обгоревшая кочерыжка.

— Эх, ядрена палка, успел потушить!

Я побежал в кубрик, вернулся на палубу с фонарем и стал махать им. Обойдя мыс, катер малым ходом приблизился к нам. Зубов готовил на носу буксир. Кашин, остановившись у кубрика, посоветовал:

— Ты, Геннадий Иванович, оттяжку возьми вместо выброски. Буксир тяжелый, сразу не подашь, а катер близко не подойдет: темно и качает очень.

— Знаю, Прохорович, не первый раз, — бодро ответил Зубов.

13

Двигатель тархтел бодро, без перебоев, словно извиняясь за доставленные нам неприятности. Погода тоже благоприятствовала.

Ночью ветер стих, и море, утомившись, присмирело и лениво катило редкую округлую зыбь. Пушистые веселые облака беспечно бродили по небу, стараясь как можно реже заслонять солнце, — пусть светит, пусть греет землю и море, пусть всем будет хорошо.

Сегодня мыс Лунина мне показался совсем не страшным, и я проводил его вполне доброжелательно. Собственно, если глядеть с южной стороны, то это даже и не мыс, а окончание длинного ряда скал, протянувшихся почти от самой Замысной. Все испытания позади. Впереди — радость встреч, баня и долгожданный отдых.

На судне оживленно: все немного волнуется, с нетерпением поглядывая вперед. Старшина оставил наконец машинное отделение, побрился, помылся, насколько позволяли условия, и появился на палубе посвежевший, несмотря на усталые складки около рта и синеву под глазами. Пронин, на все махнув рукой, заявил, что мыться и бриться он будет дома.

«Правильное решение! — подумал я. — Чтобы отмыть Пронина, нужна хорошая баня». — И пошел умываться.

— Иван Прохорович, бритву куда дели? — спросил Быков и ласково погладил первый пушок на подбородке.

Я тоже подумал о бритве, но, с пристрастием изучив свое лицо в зеркале, вынужден был признать, что с этим делом можно повременить еще года два. Быков был постарше меня и брился в самых торжественных случаях жизни. Впрочем, я ему не завидовал: не то сейчас время, чтобы печалиться о невыросшей бороде, были дела поважнее.

Нехотя посторонившись, мыс открыл нам первую крышу. Бондарка стояла в стороне от поселка, ближе к берегу моря, поэтому она всегда первой встречала суда, идущие с севера. Она выставила напоказ длинный штабель желтоватых бочек и радостно заулыбалась всей крышей, видно, узнала своих.

Но вот на широкую поляну веселой гурьбой высыпал целый поселок домов. Надо бы встретить гостей, как положено, выстроившись рядами в две широкие улицы. Но дома лезли из строя, чтобы получше разглядеть, кто это пожаловал к ним в такой светлый и радостный день.

Кашин приоткрыл дверь в рубку, что-то сказал, вероятно, советуя, где лучше стать на якорь. Зубов понимающе кивнул, разворачиваясь, провел судно близ берега, на котором уже показались ребятишки, и дал малый ход.

— Петро, давай на якорь, — сказал мне старшина. — Чуть правее возьми, Геннадий Иванович, а то очень близко будет, если южняк подует.

Якорь тяжелый, разлапистый, но взять и подержать его на руках — одно удовольствие. Дали задний ход, судно остановилось, потом стало медленно пятиться назад. Упершись коленкой в фальшборт, я слегка наклонился вперед и разжал руки. В наступившей тишине всплеск прозвучал очень отчетливо. Вода брызнула во все стороны, несколько капель попало мне на лицо.

Двигатель заглох без предупреждения, как-то сразу, будто захлебнувшись, нехорошо громыхнув железом. Занятый якорем, я не сразу понял, что говорит Зубов, закрепил на битенге якорный канат и только после этого сообразил: «У Пронина очередная авария».

Все молчали, даже Зубов ничего больше не сказал. Смирился, или не хотел ругаться около дома. Быков с сожалением посмотрел на чистые руки и нехотя пошел в машинное отделение. Пронин, выбравшийся на палубу, остановился в раздумье.

— Ну, что там опять? — устало спросил Кашин.

— А! Поехали домой, чего там, — уныло сказал Пронин, обошел Быкова и не спеша двинулся вдоль борта.

— Что там случилось, спрашиваю? — повторил Кашин.

— Что... Картер пробило, вот что!

— Картер? Как пробило! Почему?

— А так. Мотылевой болт лопнул и... — Пронин махнул рукой в нетерпеливо переступил с ноги на ногу: он очень торопился домой.

— Гайка ослабла, наверно, вот и лопнул. Совсем не следишь за машиной, Леонид Устинович.

Ни злости, ни раздражения, только обида и безнадежная усталость слышались в голосе старшины.

— Я-то здесь при чем? Ушкалов ремонтировал. Не для себя ведь: тяп-ляп и в сторону! А мы мучимся.

— Да ты ведь сам эти болты ставил. Забыл, что ли, в Русаловке, когда подшипник расплавили? Я ведь тебе говорил: «Зашплинтуй мотылевые!» И как забыл проверить! Черт знает, что! Ты, Устинович, ей-богу, как маленький. Ходи за тобой, подсказывай.

— Я их шплинтовал, вон у Вальки спроси. Что ты будешь делать, если вот лопнул?

Старшина немного замялся, очевидно, сознавая, что с лопнувшим болтом действительно ничего уже сделать нельзя. А вот домой идти нужно. Все сходило на том, чтобы спустить на воду шлюпку, собрать бельишко для домашней стирки и отчаливать. Не ко времени этот спор.

— Ты мне, Устинович, на Вальку не кивай, — начал сердиться старшина. — Валентин пацан, с него и спрос такой. Сам-то ты можешь по-человечески?

Но чем больше сердился старшина, тем спокойнее делался моторист. Мотористу ли не знать, что все неприятное осталось позади, сейчас путь у нас один — домой. Авария серьезная — в местных условиях и своими силами ее не устранишь, придется менять картер, если не полностью двигатель.

— Точно, Иван Прохорович, мы с Устиновичем шплинтовали, —

охотно подтвердил Быков и, чтобы устранить последние сомнения, добавил: — Медной проволокой.

— Какой дурак шплинует мотылевые болты медной проволокой! — в отчаянии воскликнул старшина, закрыл дверь и посторонился.

Воспользовавшись моментом, Пронин проскочил в кубрик.

— Ты бы еще алюминиевой зашплинтовал. Растяпа! — крикнул ему вдогонку старшина.

Родная земля чуть-чуть покачивалась под ногами, а море лизало наши сапоги, пока мы вытаскивали шлюпку. Ребяتيшки — их набралось уже больше десятка — разглядывали нас с восторгом и завистью. Они хотели нам помочь и смело полезли в воду, но Кашин строго прикрикнул на них.

Это были самые обыкновенные дети, они мечтали стать взрослыми и делать то, что делаем мы, потому что своих путей в жизни пока еще не открыли. Я очень понимал их в эти минуты. Знал, как это важно хотя бы подержаться за шлюпку или ответить на неожиданный вопрос дяди, который пришел из неведомой дали.

Сколько раз, стоя на этом месте, я устремлял свой взгляд в море, в мыслях преодолевал расстояния и невероятные трудности, какие только способно было изобрести детское воображение. Сейчас мои замыслы не отличались особенной широтой. Было просто радостно от того, что есть и что еще будет. Немного тревожила встреча с Таней: что я ей скажу, что она мне ответит?

Оставив шлюпку, местное население всех возрастов — от четырех до тринадцати лет — терпеливо и молча ждало, когда мы обратим на него внимание. Я мог бы шутя осчастливить любого из карапузов пустяковым вопросом о местных новостях, но почему-то не делал этого и все озирался по сторонам, с восторгом узнавая в каждом предмете старого знакомого.

Из-за песчаного бугра, за которым были дорога и мостик через ручей, показалась голова Антипова, он вышел на бугор и пошел к нам.

— Ну, как вы там? Долго почему... Здравствуйте, ребята!

Мы нестройно ответили на приветствие, некоторые просто кивнули. Кашин откашлялся, готовясь к предстоящему разговору, но Антипов опередил его:

— А у меня жена заболела. Прихожу вчера домой — батюшки! — лежит, стонет, ребяتيшки ревут, корова не доена. У меня аж волосы дыбом, не знаю, за что и браться.

— Что же, она дома лежит, или отвезли в больницу? — с участием спросил Кашин. Он хотел поругать ловца за то, что ушел без спросу, да сейчас не время и не место говорить об этом.

— Кто в больнице, зачем? — насторожился Антипов, озираясь. — Все ли мы возвратились в полном составе?

— Жену, спрашиваю, отвезли в больницу? — уточник Кашин.

— А, жену! Везти-то куда, в Кузьмичево, что ли? По такой дороге всю растрясешь. Дома! За черемшой пошла с бабами.

— Как — за черемшой?.. Больная!

— Вот и я ей про то же: «Куда ты, — говорю, — пойдешь, больная?» А она ни в какую: «Бабы, — говорит, — собираются, и я с ними». Иди вот, поговори с такой.

Антипов чувствовал, что проговорился, получилось не совсем так, как было задумано еще с вечера.

— Ну, Сенька, ты даешь! — удивился Зубов, не зная, возмущаться ему или хохотать. Решил: хохотать лучше.

Смеялись даже ребятишки, которые хоть и не совсем поняли, что происходит, но за компанию были готовы на все. Антипов терпеливо ждал. Он еще не все сказал.

— Ухожу я от вас, ребята, — продолжал он, как только представилась возможность. — С председателем я уже говорил, он не возражает. А что? Жена все время болеет, ребятишки маленькие. Куда она с ними. Зав лесобазой вон приглашает на пилораму. Спокойно и каждый день дома. Отработал свое...

— Шмутки, что ли, хочешь забрать? — нетерпеливо спросил Кашин. — Валентин, поезжай, с ним на судно, по-молодецки! — распорядился он и отвернулся: в это время подбежали его наследники — Леонид и Николай, четырех и восьми лет от роду.

Кашин перецеловал того и другого, подхватил младшего на руки, старшего взял за руку, выделил взглядом меня, спросил:

— Ты, Петро, подожди ребят. Шлюпку поможешь им вытащить. — Затем обратился ко всем: — Завтра к восьми часам приходим в контору.

Лицо его сияло, словно никаких мытарств и не было, и не предстояло держать ответ перед начальством. Дети одним своим появлением вернули Кашину спокойствие духа. Детей у него всего семеро.

— Зачем собираться так рано? Один черт болтаться, пока катер не пришлют. Дома хоть что-нибудь сделаем за это время, — возразил Пронин.

— Соберемся к восьми, а там видно будет, — повторил Кашин и ушел, уводя за руку свое счастье.

Пронин сердито посмотрел ему вслед.

Я отвернулся и стал смотреть на шлюпку, которая уже подходила к борту судна. В шлюпке двое ребятишек — и когда только они успели туда влезть! — да на берегу десятка полтора, им скажи только — в самый поселок шлюпку уволочут. Но лучше подождать и сделать все как следует. Меня об этом просил сам старшина.

Кто-то несмело тронул меня за руку. Я не спеша оглянулся.

— Наташка! Сестреночка! Да ты-то откуда взялась? Надо же какая ты...

Какой она стала, моя маленькая сестренка! Что изменилось в ней за два с половиной месяца — определить невозможно. Но чувствовалось это хорошо, хотя словами и не выражалось. Наташке еще ни разу не приходилось встречать старшего брата, возвратившегося из немыслимо далекого плавания.

Я даже не заметил, как оказался на корточках, поцеловал Наташку в щеку, потом в другую. Вот уж не думал, что со своими черными глазенками и далеко не идеально уложенными волосами, она способна так подействовать на человека, что уже ничего не остается от его суровой рыбацкой природы, кроме резиновых сапог. Очевидно, сказалось плавание, хотя для меня оно не было таким уж дальним.

Я был тверд духом и с шестилетнего возраста не допускал по отношению к себе никакого баловства. И наша семья в поселке не является исключением: жизнь суровая строго спрашивала не только с рыбаков, но и с их близких. Вот и приучились люди держать про себя то, что порою неудержимо рвется наружу.

Наташка улыбнулась, хотела что-то сказать и заплакала. Это было совсем неожиданно, я насторожился: уж не случилось ли дома чего?

— Ну, что ты, глупенькая, ведь я приехал... Ведь все хорошо. А ты — плакать! Сейчас домой пойдем, вот шлюпка придет...

— Я рада, — она улыбнулась и снова всхлипнула.

— Рада, а плачешь. Дома все хорошо? Мама, Ольга — все здоровы?

— Мама на работе, Оля в школе, а я во вторую смену, — с готовностью выговорила Наташка, вздохнула и растерла слезы по щекам кулачками.

— Вот видишь, все хорошо, а ты плакать выдумала! Или двоек много нахватала в школе? Платочек опять забыла, забываха!

Она уже освоилась, осмелела, видно, окончательно признала старшего брата. Я достал было свой носовой платок, но тут же сунул его обратно в карман. Еще ведь хотел постирать кое-что перед отходом из Теплинки, да поленился. На мать понадеялся, думал, скоро придем.

14

Надо было заявиться в клуб, когда все соберутся, да разве утерпишь. Я знал, что никакого эффекта от встречи не будет, если не все разом, а по одному, по два станут подходить ко мне. Но все равно не выдержал — пошел.

В дальнем углу, около сцены, Шурка Андреев неторопливо настраивал балалайку. Еще двое ребят играли в шашки. Заведующий клубом Васьков шел мне навстречу и улыбался.

— О, Никифоров! Сколько лет, сколько зим!

Я с удовольствием пожал его руку, огляделся.

— А в клубе у тебя стало светлее.

— Как видишь! Достал новые лампы... — скромно начал Васьков, не переставая улыбаться.

Стайкой набежали девчата, окружили, затолкали меня, бесцеремонно отгеснив Васькова. Он иронически улыбался, наблюдая со стороны. Девчонки такие родные, такие милые, что я сразу забыл о беседе с завклубом. Но среди них не хватало одной, и мне сделалось немного грустно.

— Петька, миленький! Приехал и молчит! — радостно щебетала Ирка Никифорова, моя двоюродная сестра. — Я только что узнала и сразу к вам, а тебя уж и дома нету. Надо же — приехал! Девчонки, вы посмотрите только, какой он важный стал, смотреть не хочет на нас!

Мне еще никогда не приходилось быть центром всеобщего внимания. Дело в общем-то приятное, но без привычки можно растеряться. Девчонки тормошили меня. А Ирка!.. Я оглянулся на дверь — не появится ли Таня?

Ирка молодец, и иметь такую сестру — дело стоящее! Другие девчата — тоже хоть куда! Хотелось сказать им что-то ласковое, хорошее, но они не слушали. Слегка подавшись назад, я раскинул руки и попытался обнять всех сразу. Ничего не получилось: руки для этого оказались слишком коротки.

— Девчонки, вы мне уже начинаете надоедать! — признался я, отступил к стене и сел на скамейку.

Девчата тоже сели. Они не спрашивали о море, о погоде, о пережитых трудностях, просто радовались, что я здесь, среди них. Захочешь, не вспомнишь, о чем шел разговор, хотя ни они, ни я не молчали все это время.

Шурка грянул на балалайке «Златые горы», девчонки оставили меня одного и, разбившись по парам, закружили в вальсе.

Васьков вновь подошел ко мне.

— У нас скоро будет электрическое освещение! Вот тогда приезжайте, милости просим, — продолжал он. — Вот так-то, Петро! Вну-

тренняя культура человека зависит от внешних условий. Именно этой культуры не хватает нашей молодежи...

Тани все еще нет, и будет плохо, если она совсем не придет. Мне надо видеть ее по очень важному и неотложному делу, рядом с которым все остальное казалось сущими пустяками. А Васьков доволен: наконец-то он встретил сочувствие и полное взаимопонимание.

Леня Васьков пришел на клубную работу прошлой осенью, сразу же после армии. Он горячо взялся за дело: вот и новые лампы появились в клубе, и шахматы, и стенд, отражающий достижения колхоза и всего народного хозяйства страны. С материальной стороны дело заметно продвинулось вперед, а вот с духовной! Девчата почему-то не очень любили нового завклубом, за глаза стали называть его «очагом культуры».

— Вообще-то, Петр, — продолжал Васьков после незначительной заминки, — Ира мне нравится. Хорошая девушка!.. Я готов даже жениться... Только не представляю, о чем мы будем с ней разговаривать...

— Видишь ли, Леонид, — ответил я, — я тоже не представляю. А что, если мы спросим у Иры, может быть, она знает?

— То есть?.. — Васьков выжидательно вскинул бровь. Он не понял вопроса, не почувствовал иронии.

— Спросим, о чем вы будете с ней разговаривать, — пояснил я.

— Глупости, Петр. Я хотел с тобой о другом поговорить...

— Лучше потом. Вон Шурка меня зачем-то зовет.

Шурка продолжал играть. Он меня звать и не собирался. Просто я воспользовался удобным моментом.

Прикрыв струны ладонью, Шурка резко оборвал игру. Балалайку его мы собирали вдвоем из двух поломанных старых. Витька Комолов подал идею, мы с Шуркой поддерживали его, и работа закипела. Два дня мы клеили, сушили, прилаживали струны. На третий день — учились играть. Однако это оказалось потруднее, чем собрать инструмент. К вечеру мы с Витькой окончательно разочаровались в музыке, и Шурка, с нашего молчаливого согласия, унес балалайку домой. С того момента и началась его ослепительная слава.

В поселке было два гармониста. Но они, люди семейные и молодые, в клуб играть не ходили. Лишь изредка, в какой-нибудь праздник, появлялся с гармонью один из них. Девчонки с удовольствием танцевали под Шуркину музыку. Нам бы тоже следовало танцевать, по мы тогда презирали танцы и оказались в стороне, совершенно ненужными в клубе людьми. Пришла пора — и мы с Витькой ушли в море. Шурка же по молодости лет — он был на год моложе меня — остался дома.

— Здравствуй! С приездом тебя, — улыбаясь, Шурка поднялся мне навстречу.

— Спасибо! Рад тебя видеть! — сказал я, пожал Шуркину руку, потрепал его по плечу. Сделал все, чтобы стала понятна моя основная мысль: «Не унывай, дружище, у тебя все еще впереди. А возраст приходит с годами!»

Шурка нахмурился: дескать, возраст еще не главное в жизни, демонстративно взялся за балалайку и заиграл танго. Я скромно сел рядом. По себе знаю, как это трудно быть не тем, кем хочется быть. В такт музыке девчата ходили медленно, ребята тоже танцевали. А ведь прежде этого не было.

Васьков с достоинством повернулся и посмотрел на танцующую молодежь с ясно выраженным на лице вопросом: «А все ли у вас в порядке с культурным уровнем и кругозором?» — И сел около меня.

Таня все еще не появлялась.

— Я, Петр, — Васьков продолжил начатый ранее разговор, — поскольку Ирина тебе близкая родственница... Как ты относишься к нам с Ириной, то есть к нашему...

— Сказать по совести, Леонид, — начал я, воспользовавшись очередной его заминкой, — отношусь совершенно по-разному: к Ирке — как к сестре, к тебе — как к работнику культуры (чуть не сказал: «Как к очагу культуры!»).

— Это правильно, конечно. Но, как родственник, ты бы мог...

Тут он замолчал, догадавшись, что я еще слишком молод для таких бесед.

У меня появилась возможность отдалиться своим заботам. От Шуркиной музыки становилось грустно. Балалайка тихо жаловалась.

Наконец появилась Таня. И не одна! С нею был военный моряк. Прямо от двери он подхватил ее и повел легко и красиво. Они смешались с толпой танцующих. В груди у меня что-то оборвалось, сразу стало жарко и тесно. Тани не было видно, но бескозырка и очень знакомое лицо моряка, возвышаясь, мелькали среди танцующих. С тревожным любопытством наблюдал я за ним и думал: «Кто он такой? Зачем он с Таней!» Наконец узнал. Это был Николай Куликов. Он служил на флоте, отличился где-то на Сахалине и вот вернулся домой. Все спуталось, перемешалось в моем сознании: человек, которым я гордился как знаменитым земляком, вдруг становится опасным соперником. Гордиться соперником не очень-то приятно.

Я сидел и не двигался с места, а они кружились, постоянно удаляясь, пока не затерялись среди танцующих.

— Сейнер, говорят, скоро у нас будет — не слышал?

Шурка спросил равнодушно, как о чем-то маловажном, не глядя в мою сторону. Он уже не играл, а подстраивал балалайку.

— А, сейнер! Ждем. Капитан и механик поехали принимать, — рассеянно ответил я, отыскивая взглядом Таню.

— Капитаном кто будет?

— Мэрэсовский один, ты его не знаешь...

— Я утром опять ходил к Павлу Афанасьевичу.

Моряк курит в коридоре. Тани тоже не видно.

— Да... А он что? — спросил я, рыская глазами по залу.

— Ни в какую. На следующий год обещал только.

— У нас не хватает человека — Антипов ушел. Давай завтра сходим к председателю и поговорим, — встрепенулся я, осознав наконец смысл разговора.

— Не выйдет, — Шурка решительно отложил балалайку.

Это был своего рода протест: дескать, посидят без музыки, тогда узнают, а я играть больше не буду, раз так!

— Может быть, все же попробуем... — начал я и умолк.

Таня с Иринкой шли прямо на меня. Это было что-то невероятное: я смотрел на Таню, она смотрела на меня и улыбалась своей новой улыбкой, так поразившей меня недавно. Подошли. Ирка взяла балалайку и сунула ее Шурке в руки.

— Играй, Шурик, успеете наговориться!

Таня глядела на меня во все глаза.

— Здравствуй, Петя, с приездом тебя!

— Здравствуй, Таня! Спасибо, — ответил я.

Такой случай, а слов у меня не было, был невероятный сумбур в голове. Я тоже смотрел на нее и ждал, что она сама по глазам обо всем догадается. В глазах, конечно, можно читать что угодно и сколько угодно. Но слова как-то надежнее.

— Петька, пойдём танцевать, чего это сидишь, — бесцеремонно сказала Ирка. — Таня, помогай, вон он какой вымахал, с места не сдвинешь. Вставай, нечего рассиживаться!

А я все смотрел на Таню и ждал какого-то чуда. Да она сама была чудом! Танька, Таня, Танечка, если бы ты знала... Если не был бы я таким мямлей, размазней.

— А ты зазнался, Петя, не подошел даже, — тихо сказала Таня и этим полушутливым упреком оглушила меня.

— Я не знал, Таня. Я думал... а ты сама...

— Ах, это я должна была первая подойти! — засмеялась Таня. — У нас, между прочим, все еще по-старому: первыми ребята подходят. Да оставь ты его, пускай человек отдохнет, — сказала она Ирке и потеряла ко мне интерес.

Надо было откусить себе язык. Но я об этом как-то не догадался, и вот он испортил все дело.

Таня подхватила Ирку и увела. Они смешались с толпой танцующих, а я все сидел глиняным болванчиком, которого решили переделывать на горшок. Попробовал прикусить кончик языка — больно!

— Ну, и что ты скажешь, Петр? — снова спросил меня подошедший Васьков.

Я смотрел на него с удивлением и молчал: как-то совсем забыл о нем. Мне было не до Васькова сейчас.

— ...У нас молодежь будто бравирует своим невежеством. А девушки ведут себя просто неприлично...

— Стоп! — торопливо сказал я и положил руку на струны балалайки.

Таня опять танцевала с Куликовым, а он смотрел на нее так, что у меня заложило уши. Васьков со своими заботами сразу перестал для меня существовать.

— Чего ты, Петро? — удивленно спросил Шурка, повернувшись ко мне.

— Ничего, так. Пусть отдохнут немного.

Таня оставила Куликова и присоединилась к девушкам. А там уже начинался обмен секретам. «Сейчас подойду и скажу ей все прямо. Возьму за руку и уведу из клуба. Но захочет ли она? Впрочем, все равно ты никогда этого не сделаешь. Не хватит у тебя духу на такой подвиг. Сиди!»

Шурка подождал еще немного, опытным глазом определил: танцующие отдохнули достаточно, — тронул струны.

— ...Радиоузел, — это, конечно, в будущем, а электростанция скоро вступит в строй. Баян на днях получаю...

Это опять бубнит Васьков. Не каждый день ему удастся встретить такого покладистого собеседника.

Куликов не отходит от Тани — снова они танцуют вместе. Как он на нее смотрит! И она рада этому.

— Впрочем, об этом потом, — неожиданно сжалился надо мной Васьков. — Как видишь, Петр, скоро и у нас все будет по-другому... А Ира! Я всегда говорил, что Ира хорошая девушка. С ней побеседовать откровенно, она быстро все поймет. Замечательная будет жена.

Я не видел, когда Таня ушла, но знал, чувствовал: ушла она с Куликовым. Васьков говорил и говорил. Смысл его слов не доходил до сознания, а голос раздражал.

Броситься за ними, догнать. А зачем? Тане не было до меня никакого дела, она даже не догадывалась о моих чувствах. Таня была близко, где-то рядом, но я от нее всегда был бесконечно далеко.

Кругом веселые, счастливые лица, а я смотрел и не понимал,

чему они все радуются. Ирка толкнула меня плечом, что-то сказала. Ее улыбка обидела меня. Шурка играл фокстрот. Танец шел в бешеном темпе.

15

Очень кстати в клубе появился Быков. Подошел, потряс меня за плечи, пьяно дохнул в лицо и заявил:

— Вот он где, а я его ищу! Идем быстрее, тебя там ждут!

Мы пошли, обходя грязные лужи и распугивая телят, которые попадались на нашем пути. Быков был непривычно решительным и целеустремленным, а я покорно следовал за ним. И думал я все о том же:

«Ведь у Тани с Николаем не может быть ничего общего: он старше ее лет на восемь. К тому же у него уши большие и торчат. Просто живут по соседству. Ну, пригласил на танцы! Вот завтра встречу ее и скажу: «Таня, нам надо поговорить!» Сегодня надо было сказать! А я такой момент упустил!»

После таких мыслей я опять почувствовал интерес к жизни, остановился и спросил:

— Может быть, скажешь все-таки, куда ты меня ведешь?

— Уже пришли. Ждут ведь! — Быков, как маленького, потянул меня за рукав.

Мы сделали еще несколько шагов и оказались около калитки, перед стареньким домом. Калитка стояла, но ограды не было. Она давно развалилась или пошла на растопку. С тех пор калиткой перестали пользоваться, ходили как кому удобно.

Зубов — это был его дом — не любил заниматься хозяйством. Он считал, что прятать ему от людей нечего и не обращал внимания на то, что чужие коровы, свиньи, овцы и гуси топтались вокруг его крыльца. Тетка Феня, мать Зубова, сердилась и гоняла чужую скотину палкой.

Зачем мы потребовались Зубову среди ночи?

В коридоре темно. Быков смело протопал вперед, но на дверь наткнулся не сразу, шарил по стене руками. Я осторожно пошел на звук, пытаясь вспомнить внутреннее устройство зубовского коридора. Но дверь открылась, и я повернул на свет.

Мы оказались в полутемной кухне. За перегородкой стоял веселый, многоголосый шум. Там горели две керосиновые лампы, стоял большой стол с закусками, составленный из трех обыкновенных. Человек двадцать, если не больше, тесно сидели вокруг стола. Люди ели, смеялись, разговаривали.

Нашлось и нам место. На какое-то время я стал центром всеобщего внимания. Все глаза обратились ко мне, голоса стали тише. Потом заговорили все разом. Я начал припоминать, что же такое выдающееся удалось совершить мне за последнее время, но ничего припомнить не успел. Кто-то сунул мне в руки зеленую кружку с брагой и предупредил:

— Это тебе штрафная!

— Правильно, пускай выпьет штрафную. Нечего опаздывать! — загудело сразу несколько голосов.

Пришлось пить, не имея никакого желания, не представляя даже, за что страдаю. Кисло-сладкая противная смесь заполнила желудок, потом что-то медленно прихлынуло к голове. В руки мне сунули вилку с соленым помидором, сказали: «Заешь!» — и тут же все забыли про меня. Я получил возможность отдышаться, осмотреться.

Собрание оказалось очень пестрым — не определишь, по какому

принципу гости подбирались. Кашин и Пронин с супругами могли праздновать здесь наше благополучное возвращение. Мы с Быковым — тоже. Но много было и тех, кто никакого отношения к морю или к нашей команде не имел.

Во главе стола сидел Зубов в новой белой рубашке, тщательно побритый, причесанный и аккуратный. На мой вопросительный взгляд он ответил неопределенным движением головы, которое могло обозначать: «Не робей; друг, все будет хорошо!» Или: «Помоги, видишь ведь — пропадают!».

Здесь же сидела Полинка Нетужилова — девчонка в поселке малозаметная, толстая и некрасивая, с унылым выражением круглого, веснушчатого лица. Впрочем, унылым оно выглядело только сегодня, обычно же на ее лице мало что отражалось. На Полинке было белое платье, на голове тоже что-то белое, от этого она совсем растерялась, не поднимала головы и не шевелилась. Можно было подумать, что ее насильно привели сюда и посадили в наказание за какую-то провинность.

Я жевал помидор — «штрафная» начисто лишила меня аппетита. Нет, не хорошо человека держать здесь насильно. Тихая, добрая и работающая Полинка не привыкла к такому вниманию, ей бы в бондарку, где она работала уборщицей. «Сама виновата!» — решил я и потерял к ней интерес.

Рядом с Зубовым сидел Кашин, строгий и важный. Он тоже приодет: темно-синий диагональный костюм, светлая рубашка. Рядом с Полиной — Елена Бормотова, вдова-солдатка, дальняя родственница Зубовых. Здесь же были родители Полинки и много деревенских малознакомых мне людей. Анисим Нетужиллов и его жена Арина на правах хозяев заботливо ухаживали за гостями.

Кашин с Бормотовой опекали молодых.

«Молодые? Ну, конечно же! А раз молодые — значит свадьба!» — наконец-то догадался я.

Ни для кого не были секретом их уединенные прогулки прошлой осенью. Но кто мог подумать, что все это завершится такой неожиданной свадьбой. Зубов — жених, не могу этому поверить, как ты ни крути. А ведь молчал! Два с половиной месяца были вместе, даже словом не обмолвился, виду не показал.

Дружеский толчок нарушил течение моих мыслей. Снова надо было пить вместе со всеми. Пили за здоровье молодых. Кружки и стаканы подняты, и каждый ревниво следил, чтобы сосед не увильнул как-нибудь от этой обязанности. Кто-то закричал: «Горько!» — и я понял, сейчас молодые начнут целоваться.

Ну что ты будешь делать с пьяным народом! Почему-то всем вдруг захотелось, чтобы Зубов целовался с Полиной. Мне было немного грустно и неловко при мысли о том, что должно сейчас произойти. Но так получилось, что я вдруг закричал вместе со всеми: «Горько, горько!»

Мать Зубова, тетка Феня, стояла на кухне, подперев щеку ладонью. Я выбрался из-за стола и подошел к ней.

— Что это вы, тетка Феня, так скоро со свадьбой? — поинтересовался я и попросил напиться.

— А, — с пьяной беспечностью сказала она, подавая мне ковшик с водой. — Польке вон родить скоро. Я не думала даже, это Анисим все. Приходит да и говорит: «Давай, сватья, свадьбу играть, опозорил ведь твой нашу девку». Они и медовуху делали — Арина-то мастерица на это! А мы ведь не ждали нынче-то вас, и медовуха молодая, надо бы ей еще постоять.

Отпив после меня из ковшика, она убрала его на место и спросила:

— Правда, ведь хорошая медовуха?

— Правда, тетка Феня, — согласился я и, покосившись на грязное ведро, которое сейчас стояло под умывальником, признался: — Только меня от нее тошнит почему-то.

— А ты иди, Петя, пей там, веселись, все и пройдет.

Тетка Феня была довольна тем, что медовуха пьяная, гости тоже пьяные и — есть надежда — будут еще пьянее.

В комнате заиграла гармонь. Кто-то запел частушки, послышался дружный топот многих ног. Начиналась большая пляска. Пол начал вздрагивать от перегрузки, в окне задребезжало плохо закрепленное стекло. Желающих плясать оказалось больше, чем позволяла площадь, и толчея стояла невообразимая.

Я хотел пройти и сесть, да куда там! Меня подхватили, затолкали, закружили. Подчиняясь всеобщему веселью, я тоже стал притопывать ногами, поворачиваться туда-сюда и вдруг с удивлением обнаружил, что получается у меня нисколько не хуже, чем у других. А ведь прежде никогда не плясал!

Сразу стало весело, легко и как-то по-особенному уютно. Я не возгордился неожиданно открывшимся во мне талантом, затопал еще энергичнее. Надо успевать, пользоваться моментом, пока некому судить твое искусство.

Музыка кончилась, и снова все разместились вокруг стола. Знакомая кружка бессмысленно глядела в потолок круглым, мутноватым глазом и терпеливо дожидалась меня. Кто-то снова кричал: «Горько!» В это время из кухни вошла тетка Феня и что-то шепнула Ани-симу Нетужилу. В тот же момент передо мной оказался стакан с водкой. Я незаметно отодвинул кружку подальше.

Гости все настойчивее требовали поцелуев. Зубов упорствовал, Полинка сидела приниженная, жалкая — вот-вот расплчется. А гости ничего не хотели знать. Беда просто с ними! Уж лучше бы Зубову уступить.

Зубов покраснел от волнения и что-то шепотом сказал Бормотовой. Елена понимающе кивнула.

— Давайте лучше выпьем да споем песню, — предложила она.

Песня была старинная, протяжная и грустная. Мой отец тоже часто певал ее в компании. Скоро пять лет, как не стало отца, но воспоминания о нем у меня всегда связываются с запахами моря, рыбы и еще с песней. С той самой песней, что запела Елена:

Сронила колечко со правой руки...

Отец был большой и сильный, и тем непонятнее, почему он умер так неожиданно, сразу. Осенью сорок третьего года уходили на север на лов сельди, а через четыре дня его привезли домой уже мертвым. Сейчас воспоминания эти навевают только жалость и грусть, но в первый год я не мог думать об этом без ужаса. Мать слегла. Тетка Анна, Иркина мать, на время перешла к нам. Днем я уводил сестренку из дома, чтобы они своими слезами не убили маму.

Надену я платье, к милому пойду.

«А мне идти некуда. Таня, наверно, давно спит или — хуже того! — любезничает где-нибудь с Николаем. Ну нет, не может такого быть, ни за что не поверю».

Пускай люди судят, пускай говорят,
Что я, молодая, из дома ушла.

Для меня это был сигнал к действию. «Если существует любовь, не боящаяся запретов и людской молвы, то почему ты до сих пор еще здесь? Ведь сильнее твоей любви нет ничего на свете!» Я решительно встал из-за стола и пошел на улицу.

Все вокруг стало просто и ясно: Таня, конечно, не спит, мучается и ждет. Стоит только пройти немного — и мы вместе. Скорей, скорее туда, к ней!

Было поздно, тихо и светло. Песен не слышно, даже собаки перестали лаять. Нет, в такую ночь спать могут только старики. Я, незамеченным, проскочил мимо клуба: там, на просторном дворе еще слышались смех и голоса ребят, а мне не хотелось с ними задерживаться.

Танин дом — третий с краю, почти у самой поскотины. Он равнодушно смотрел на улицу тремя окнами и молчал. Ему не было дела до того, кто шлялся около по ночам. Ни звука, ни голоса — все давно спало. В соседнем дворе заворчала собака, тявкнула нерешительно, словно стыдясь собственного голоса, и снова тишина.

Я вошел во двор, постоял немного, потом тихонько отступил назад, за калитку. Таню, конечно, я люблю, но как ворваться в чужой дом среди ночи. Вряд ли родителям Тани визит мой придется по душе? Григорий Каллистратович не станет судить да рядить, а скорее всего возьмется за полено. Дело может кончиться скандалом, и тогда у Николая не будет больше соперников.

Уходить просто так не хотелось, но и ночевать, у калитки, тоже было неинтересно. Я подумал немного и запел:

Пускай люди судят, пускай говорят,
Что я, молодая, из дома ушла!..

Получилось не очень красиво, но громко, а главное неожиданно. В соседних дворах, переполошившись, залаяли собаки. Поднялся тарарам, который еще долго сопровождал меня в ночи. Этот край поселка издавна славился собаками и крыжовником.

Тихо бредя по улице, я незаметно вышел к морю. Хмель почти прошел. Было немного стыдно, грустно и жаль себя. Я уже не думал что при слове «люблю» Таня бросится мне на шею, но уверенность в том, что все будет хорошо, осталась.

Море, притомившись за двое суток, теперь отдыхало. Темный на светлом его фоне наш «СП» виден отчетливо — с вантами, с флагом, который так и остался не спущенным на ночь. Судно приветливо кивнуло мне мачтой. В ответ я махнул ему рукой. Обрадовавшись, оно закивало мне часто-часто, но, видя, что я не отвечаю, разочарованно притихло. Тогда я махнул еще раз и тихо пошел домой.

Начинался долгий майский рассвет.

- Куда это, Прохорович, собрался?
- В контору, Даниловна, узнать, что и как.
- Председателя-то нет, на пасеке он. После обеда обещал.
- Да я уж знаю, Даниловна. Так не ко времени!
- Мне-то своего будить, посылать в контору?
- Спит пускай — чего ему там делать.

Это мать разговаривала на улице с Кашиным. Я бодро вскочил с кровати, натянул брюки, сапоги и пошел во двор умыться. Солнце уже высоко — часов восемь времени. Тепло, ясно и настроение праздничное, и день воскресный.

— Чего соскочил, спал бы! — ласково сказала мать, подходя с ведрами, полными воды.

— Надо забор на задах поправить, — весело ответил я, радуясь, что в контору можно не ходить, хотя в другое время меня эта поблажка от старшины, несомненно, обидела бы.

— Простоял бы лето, — возразила она, а сама так и засветилась. — Позавтракай сперва.

— Иди, мама, тяжело ведь с ведрами стоять. Сейчас приду завтракать, — сказал я. «Наша мама красивая и совсем еще молодая. Ей бы на танцы ходить».

На столе было варенье из крыжовника — мое любимое. Я знал, что варенье уже кончилось, и эту литровую банку мать специально припрятала для меня. Лучше бы девочкам скормила — маленьким оно нужнее. Впрочем, об этом можно не беспокоиться. Девочки узнали мамин секрет и примут свои меры: варенье они любят нисколько не меньше их старшего брата. Чтобы не обижать мать, варенье я попробовал, но чай пил с сахаром.

За забор я взялся с удовольствием: соскучился по домашней работе. На душе радостно, хоть пой. Я чувствовал себя сильным и ловким. А солнце светило и тоже радовалось. Удивительный был день, редко в это время у нас бывают такие.

Пришли девочки взглянуть на мою работу. Наташка бежала вприпрыжку, что-то напевая. Тринадцатилетняя Ольга шла степенно, как взрослая, но не выдержала и запрыгала. Девочки посмотрели, пошли назад: мать позвала их завтракать.

Я принялся забивать новые колья. Вдали послышался знакомый, прихлопывающий звук. «Пятьдесят второй», кажется. За нами, наверно, пришел!» — подумал я, не зная, радоваться этому или огорчаться. Уходить из дома так скоро не хотелось, и вечером меня ожидало дело большой важности.

«Пятьдесят второй» стал на якорь рядом с «сорок четвертым». Я продолжал работать: нельзя же оставлять огород разгороженным. Надо будет, позовут.

Часов в одиннадцать подошла мать, посмотрела и удивилась:

— Да ты уже заканчиваешь! А я помочь пришла.

— Чего помогать-то, или делать тебе больше нечего? — с грубоватой небрежностью спросил я и посмотрел на солнце. Скорей бы вечер.

— Я тебе все уже собрала. Кашин сказал, в двенадцать часов ночи уходите, — сообщила мать и придержала жердь.

Я понял, что ей очень не хочется уходить отсюда, и ничего не сказал. Вдвоем мы положили последние жерди.

У Зубовых похмелялись. Часов в двенадцать я встретил там наших и всю команду с «пятьдесят второго». Боносов, помощник старшины с «пятьдесят второго», вышел плясать. Он топнул несколько раз, хотел вприсядку, да не получилось. Входя, я поддержал его сзади, не дал упасть, и мы вместе сели за стол. Друг мой Витька подошел, ткнул меня в бок, старшина Гадаев через стол пожал руку. Хорошо!

Зубов сам разливал брагу по стаканам. Боносов не закусывал, не мог примириться с тем, что присядка ему не дается. Пронин с Гадаевым запели песню.

Мы с Витькой вышли на улицу. Он объяснил мне, что катер находится в рейсе, потому и прислали за нами «пятьдесят второй». Я подумал с радостью: «Хорошо, что «пятьдесят второй». Катер бы не стал ждать — сразу подхватил и в Теплинку».

Свежий ветерок тянул с норд-оста. Солнце уже не сияло: тусклая пелена затянула все небо, а ниже, совсем низко быстро плыли косматые облака.словно за горой кто-то разжег большие костры, и черный смолистый дым относил в нашу сторону. Я немного удивился такой быстрой перемене в погоде. И запел свою любимую. Витька подхватил. Откуда-то подошел Быков, потом — Сучков, помощник моториста с «пятьдесят второго», и мы загудели вчетвером на весь поселок.

Вышел Гадаев, помог допеть нам последний куплет, и снова все вернулись в комнату. Кто-то плясал, а в углу уже запевали новую песню. Приподнятое настроение не оставляло меня. Мысленно я уже разговаривал с Таней: «Здравствуй, Таня! Ты никуда не спешишь? Вот и прекрасно: нам надо поговорить!» — и так до двадцать седьмого предложения. Дальше не стал, чтобы не забыть начала.

Между тем норд-ост набирал силу. Временами он уже подвывал на разные голоса, шныряя вокруг домов и заборов. Тревога носилась в воздухе, но не могла пробиться сквозь стены зубовского дома. Первым забеспокоился председатель. Он только что вернулся с дальней колхозной пасеки, был нимало рассержен, даже напуган, с чем и явился к Зубовым.

— Ребята, норд-ост подул, надо уходить. Разве вы не видите!

— Павел Афанасьевич, — закричали со всех сторон, — выпейте с нами! За молодых! Где невеста? Давайте ее сюда!

Явилась и невеста. Ее усадили рядом с Зубовым. Как ни сердит был Комолов, выпить ему все-таки пришлось.

— Все, ребята, пошли по домам. Через час всем быть на берегу, — объявил Гадаев, как только председатель и все выпили.

Но уехать через час нам не удалось. Не пришли моторист с «пятьдесят второго» Валуев и помощник старшины Боносов. Их долго искали по поселку, а мы топтались на берегу.

Ветер уже дул во всю силу, и в потемневшем море хозяйничали волны. Они разбивались у оконечности мыса с неприятным шумом или проносились мимо, держа на своих плечах пенные гребни; море из сплошь темного вскоре сделалось пестрым. Под защитой мыса было пока тихо, только ветер чертил бухту рябью по всем направлениям. Но это не надолго, скоро и здесь начнется. От одного вида мрачно насупившегося неба пробирала дрожь.

— Знаете что, ребята, — начал Зубов, — по-моему, нам лучше перейти на «пятьдесят второй». Штормяга будет добрый, а наше суденышко сейчас гроб с музыкой. Зачем рисковать, Иван Прохорович?

Кашин взглянул на своего помощника и быстро отвел глаза. Но ответил без колебаний:

— Что ты, Геннадий Иванович, нельзя! Воду надо откачивать, а то ведь затонет, пока до Теплинки доберемся.

— Можем и сами затонуть вместе с ним. У тебя, Прохорович, ребятшек много. И зачем это нам нужно?

— Ну знаешь, первый раз, что ли! Помпа есть ручная, будем воду откачивать, а бросишь, считай, пропало судно. На «пятьдесят второй» можно в любое время перебраться, если уж что.

— Это ведь как придется. Ночь, сам знаешь: буксир лопнет, во время не заметят и — амба.

— Как это не заметят, Геннадий Иванович. Люди ведь там!

— Знаете что, Прохорович, кому боязно, пускай уходит. Я остаюсь с вами! — быстро сказал я, с жутковато-восторженным чувством прислушиваясь к своему голосу.

Кашин мельком взглянул на меня и возразил:

— Никто никуда не пойдет. Что это за дело, если половина команды разбежится! И нечего помирать раньше времени.

Никто больше ничего не сказал. Мы постояли немного и пошли на бугор, под защиту штабеля досок. На холодном ветру хмель проходил быстро, и, как это всегда бывает в таких случаях, люди приуныли, сникли.

Снова потянулись минуты ожидания. Невысокие, округлые волны начали заходить в бухту. Они были робкие, аккуратные и ничем не угрожали, но шлюпки пришлось немного оттащить от воды. Я подошел к матери, глянул на сестренку, которые прятались от ветра, прижавшись к доскам. Ветер стал влажным — вот-вот начнет моросить дождем. Он подвывал, то жалуясь, то угрожая, и тревожно трепал концы материнского платка.

— Застегнись, Петя, сыро и ветер холодный, — тихо сказала мать и сама застегнула мне на груди фуфайку.

— Спасибо, мама. Я бы и сам, — смущенно поблагодарил я.

Мне не было холодно. Но матери нравилось заботиться обо мне.

А как она на меня смотрела! Так и хотелось сказать ей: «Не надо, мама, я уже большой!» Сказать бы что-то такое, что сразу бы успокоило ее, но как это делается. Тогда я обратился к сестренкам:

— Вам, девочки, домой пора, замерзли совсем. Заболеете, будет маме мороки с вами. И ты, мама, иди — чего здесь делать!

Мать украдкой смахнула нечаянную слезу. Я сделал вид, что не заметил материнских слез, старался говорить спокойно, небрежно-грубоватым голосом. Пусть видят, что все нормально, что их тревоги напрасны. Девочки зябко жались друг к другу. На меня они смотрели с обожанием, но приказание исполнять не торопились. Мать вспомнила о младших, забеспокоилась:

— Чего вы здесь мерзнете-то девочки? Ну-ка, сейчас же идите домой!

Все кругом потемнело, но это еще не были сумерки. Начинало моросить. Капельки были невидимы, но если повернуться лицом на ветер, чувствовалось, и одежда на ощупь становилась влажной.

Провожжающие стали расходиться, и вскоре на берегу остались одни рыбаки.

Наконец показалась телега. На ней мой друг Витька привез Боносова и Валуева.

Председатель и старшина «пятьдесят второго» Гадаев шли за телегой, а рядом с ними — Николай Куликов! Я вздрогнул, сжался весь, как перед прыжком в ледяную воду. Вспомнилось, как вчера Николай смотрел на Таню во время танца, и кулаки сжались сами собой. Я слышал, что говорил Гадаев, понимал все слова, но никак не мог уловить общего их смысла.

— Прохорович, дай кого-нибудь: на штурвале стоять некому. Один ведь остаюсь, а в такую погоду, сам знаешь.

— Я пойду! — обрадовался Zubov. — Коченно, Прохорович, надо помочь человеку. Витьке не доверишь в такую погоду, Андреев укачивается в шторм, а этого, — кивнул он на Боносова, — до утра теперь не поднимешь.

— Иди, Геннадий Иванович, справимся вчетвером, — согласился Кашин и, оглядев свою поредевшую команду, сказал: — Пошли, ребята, на шлюпку.

Я немного помедлил. Хотелось уйти поскорее, чтобы не видеть Куликова, и в это же время что-то удерживало меня около него.

— Здорово, Гена! — сказал Николай, подходя к Zubovu.

— А, Николай, привет! С приездом тебя!

После неожиданного поворота судьбы, Зубов повеселел и сделался разговорчивым. Он снова глядел молодцом.

— Поздравляю, с законным!

— Спасибо, Коля! Что ж, сейчас очередь за тобой — пора!

— За этим дело не станет. Все приезжайте на свадьбу, буду рад!

— Что, уже и невеста есть? А свадьба когда?

— Думаю, осенью. Невеста? Есть и невеста...

Обе шлюпки отошли от берега разом. Быков взялся за весла, а я сидел, оглушенный, как рыба после подводного взрыва. Куликов не назвал имени невесты, но все и без того было ясно.

Морось незаметно переходила в настоящий дождь. Начинало смеркаться. Ветер тревожил округлые спины волн, которые даже здесь, в бухте, становились все выше и опаснее. На берегу виднелась подвода, и рядом с нею два человека. Но мы отдалялись, дождь усиливался, сумерки наступали. Сначала люди и подвода превратились в темное пятно, потом и его не стало.

На «пятьдесят втором» заработал двигатель. Это Сучков постарался к нашему приходу. Шлюпка мягко толкнулась в борт. Поднявшись на палубу, я безучастно оглянулся на берег, делать мне там больше совершенно нечего.

17

Буксир с «пятьдесят второго» натянулся, беззвучно хлопнул по воде. Судно дернулось, помедлило и пошло вперед. Буксир еще раз натянулся, снова ушел под воду и больше не показывался. Дождь пошел сильно, сумерки быстро переходили в ночь.

На «пятьдесят втором» был виден только гакабортный огонь, да и его, вероятно, прикрыли чем-то — светил он не в полную силу. Вот па этот огонек я и должен держать курс. Так объяснил Кашин, передавая мне штурвал. «Шел бы ты, Прохорович, в кубрик да отдыхал. Чего уж тут: ребенку ясно, как надо держать судно — не своим ходом идем. Ох, уж эта мелочная опека!» — думал я, кивая на слова старшины.

Быков принес фонарь из машинного отделения. Кашин прикрутил фитиль, повесил фонарь на гвоздик в угол, на задней стенке рубки. В рубке стало светлее, но огонь на «пятьдесят втором» все равно был виден хорошо. Фонарь нужен, как сигнал о том, что мы здесь, на месте, не оторвались и не утонули. Так что с этим неудобством приходилось мириться.

— Устинович где, в кубрике? — спросил Кашин, приспособив фонарь.

— В кубрике. Замерз, говорит, печку топить пойду. А сам, наверно, спит давно: печка не топится, — ответил Быков возбужденным голосом. Чувствовалось — бодрится человек, хоть и страшновато ему.

— Машинное отделение хорошо закрыл?

— Хорошо. На замок — без ключа только.

— Ну, все тогда, Валентин. Можешь тоже идти спать, — одобительно кивнул старшина. Быков вышел, а старшина снова обратился ко мне: — Ты, Петро, тут смотри. Держи на свет и все, а я полежу немного, отдохну. — Сняв сапоги и фуфайку, он забрался под одеяло. Предупредил: — Если усну, часа через два разбудишь.

Чем больше мы удалялись от берега, тем глуше становился шум прибоя. Другими звуками встречало нас штормовое море: ныл ветер, шумел дождь, толкаясь в борта, плескались волны. Да угрожающе

зашипит иногда, рассыпаясь под ветром, круто завернувшийся гребень. А мне прежде думалось, что во время шторма в открытом море стоит такой же шум, как у берегов. Привык с детства и не представлял себе иначе.

Знакомый звук выхлопа на «пятьдесят втором» то затихал, относимый ветром, то раздавался где-то совсем рядом. Но это не мешало слушать непривычно-странные звуки шторма. «Опять какие-нибудь четыре балла», — решил я, не в силах сразу отказаться от мысли, что порядочный шторм все-таки должен реветь. О высоте волн можно было судить по неясной тени, которая периодически вырастала перед глазами, заслоняя путеводный огонек. Но это еще ничего не значило: в темноте и кошка — зверь.

Я подумал и забыл о баллах. Потерял всякий интерес к волнам и вообще ко всему этому несуразному миру. Да разве это мир, если в нем Таня может целоваться с Куликовым! Воображение тут же нарисовало картину: укромный уголок, они сидят рядом и под шум дождя обсуждают планы на будущее, готовятся к свадьбе. Куликов обнимает Таню...

Решено навсегда и окончательно: я посвящаю свою жизнь морю. Дома буду появляться редко, только для того, чтобы навестить своих и снова уйти надолго. Пройдет несколько лет. Однажды жители Замысной увидят на рейде сейнер. Чье судно, откуда? Председатель всем объясняет с гордостью, что это новый колхозный сейнер, а капитаном на нем Петр Никифоров.

Когда Таня узнает об этом, она, конечно, пожалеет. Ничего, пускай помучается, будет знать, каково мне сейчас.

Встретимся мы случайно. Я взгляну на нее равнодушно и пойду мимо. «Здравствуй, Петя, с приездом тебя!» — скажет она дрогнувшим голосом. — «Здравствуйте, Татьяна Григорьевна! Признаться, не узнал вас».

Она потеряет покой, Куликова видеть не захочет. Но я останусь непреклонным: у меня своя цель, свой путь в жизни. Таня захочет объясниться, но сейнер уходит в море.

После этого мне стало очень жалко и себя и Таню. Странно, делая больно ей, я делал больно и себе. Немного поколебавшись, я придумал более утешительное окончание. Таня будет произведена в судовые коки, Куликов останется на берегу.

Какая-то особенно большая волна предостерегающе зашипела, подхватила наше суденышко и понесла вверх. «Сорок четвертый» попытался сделать стойку, на «голове», но неудачно. Свалившись на бок, он торопливо выправился, вскинулся на дыбы и завалился на другой бок. На палубу хлынула вода. Сначала она прокатилась от кормы к носу, потом потекла в обратном направлении. При сильном крене часть воды выплеснулась прямо через фальшборт, как из большого ковша. Остальная медленно уходила через узкие шпигаты, как бы решая для себя: не остаться ли ей здесь насовсем, не пора ли кончать с этой жалкой деревяшкой?

При виде такого обилия воды на палубе будущему капитану сделалось не по себе. Я оставил Таню с Николаем в покое и попытался отыскать взглядом путеводный огонек. Темная глыба воды уходила вперед, сердито шипя и отплевываясь, очень недовольная тем, что замысел ее не удался. Желанный огонек скрывался за этой волной, надо было подождать, чтобы он показался снова. Но ждать не хватало сил, и самые мрачные мысли полезли в голову.

Нету там впереди ничего, одни мы в море. Даже двигателя не слышно совсем. За этой волной придет другая, может быть, еще более

страшная. Захлестнет, и конец. А я стою и ничего не делаю. Надо срочно разбудить старшину.

Торопливо оглянувшись, я с облегчением убедился, что старшина здесь, на месте. Стоит только протянуть руку или крикнуть, и он проснется. Сразу станет веселее: вдвоем всегда чувствуешь себя увереннее. Я уже готов был разбудить Кашина, но вдруг подумал: «Он проснется, спросит: «В чем дело?» А что я ему отвечу? Может быть, сказать: «Мне одному страшно!» Старшине надо отдохнуть, ведь впереди целая ночь! Победа над собственной слабостью была маленькой, но для меня она имела большую ценность. Жаль только, что Таня не могла этого видеть.

Блеснул во тьме огонек, такой желанный и теплый, что у меня сразу оттаяло все внутри. Только показался он не совсем там, где я его ожидал, а значительно правее. Устраивая в мыслях свои личные дела, я отвлекся и зарулил в сторону. Здесь и врезало нам как следует в левый угол кормы. Мне это урок на будущее.

Кашин проспал не больше часа и проснулся сам. Поворочавшись, он крикнул несколько раз, подумал вслух:

— Не стихает, ядрена палка! — приподнялся на локте, спросил: — Как самочувствие, Петро? Не укачался?

— Нормально самочувствие, Прохорович! — по возможности бодро ответил я. — Отдыхайте, рано еще.

— Схожу посмотрю. Воду откачать надо, — возразил старшина. Одевшись, он натянул поверх фуфайки старый брезентовый плащ и заметил, как бы желая объяснить этот свой поступок: — Дождь-то какой шпарит!

Было слышно, как он работал помпой. Много воды набралось, течь, похоже, усилилась. Что ж, судно старенькое, давно требует капиталки, и штормяга — поддает, что надо. Прислушиваясь к хлопотам звукам помпы, я с радостью вспомнил, что у меня сейчас тоже есть защита от дождя. Вчера, когда Зубов уходил с судна, я потребовал свою куртку, и Зубов согласился!

Да, сбежал наш старпом, обрадовался случаю и ушел. Ну и пусть, мы и без него обойдемся. На «пятьдесят втором», конечно, веселее — там двигатель работает и электрический свет. Там воду вручную откачивать не надо.

— Спать хочешь, Петро? — спросил, возвратившись, старшина.

— Нет! Вы, Прохорович, отдыхайте, я постою еще.

— А то ложились бы, — сказал Кашин, подумал и стал разуваться. — Полежу еще с часок, если усну, разбуди обязательно.

Пригревшись под ватным одеялом, старшина уснул, и я снова остался один. Огонек впереди то покажется, то спрячется, словно играет со мной в прятки. С ним веселее. А без него не знаю, как выдержал бы я такое испытание. Хорошо людям, которые ничего не боятся, к любым опасностям относятся с презрительным равнодушием. Таким и жить, и подвиги совершать гораздо легче. А мне, как ни стыдно в этом признаться, было страшно. Какие уж там подвиги — устоять бы за штурвалом, пока тебя сменяют! Мысли одна мрачнее другой лезли в голову. Надо заставить себя не думать об опасности.

Интересно, как сейчас дома? Мама, конечно, не спит, беспокоится. Несколько раз за ночь будет вставать, прислушиваться и, не зажигая огня, подходить к окну. За окном ничего не видно, там хозяйничает ветер. Он пробует доски на крыше, крепко ли они прибиты, стучится в калитку, в двери и полосует дождем стекла окон. Мама не верит в бога, но она шепчет, чтобы у нее не отнимали сына, как когда-то отняли мужа.

Таня, наверно, спит: в такую погоду на улице делать нечего. Тани нет никакого дела до меня и до того, в какой переплет мы попали. Она даже о любви-то моей ничего не знает. Но хватит об этом!

Старшина спал полтора часа и проснулся сам, было ровно двенадцать. Молча одевшись, он снова долго качал воду — течет, течет наш «СП». Возвратившись в рубку, старшина подул на озябшие руки, снял мокрый плащ и решительно потребовал:

— Ложись, Петро, на мою койку. Спи, пока не разбужу.

— Я не хочу спать. Да и воду надо откачивать, течет ведь, — возразил я, чувствуя себя первым помощником старшины в эту ночь.

— Ложись давай — без тебя откачаем! Пронин, Быков есть, надо будет, подниму их, — прикрикнул старшина. Пришлось согласиться.

Лежать оказалось не очень удобно: койка кренилась и все норовила выскользнуть из-под меня. Сон был неустойчивый, ощущение такое, словно спишь сидя и все время боишься упасть. Я слышал, как Быков или Пронин откачивали воду, потом в рубке запахло табаком. Старшина о чем-то тихо спросил, Быков — я узнал его по голосу — ответил: «Там и так не холодно». Я подумал: «Быков вымок, замерз, качая воду, старшина велит затопить печку, но Быкову лень», — и уснул по-настоящему, приспособившись наконец к условиям качки.

Проснулся сразу. Так обычно просыпаются от неожиданного и резкого крика. Возможно, действительно, кто-то кричал, да я не разобрал со сна. Старшины не было в рубке. Штурвал мрачновато кивал ручками, словно осуждал человеческое легкомыслие. Значит, старшина никого не будил, и мне все это только приснилось? Он сам уходит откачивать воду, легкомысленно бросая штурвал!

Я вскочил, но сразу же оказался в углу, на запасном трале. Волна обрушилась на судно, но не с кормы, как ей было положено, а почему-то с борта. Крен был угрожающий. Я кожей почувствовал неустойчивость положения судна, но испугаться как следует не успел: последовал плавный толчок, движение вверх и почти такой же сильный крен на левый борт. Судно падало, падало вниз, а я порывался встать на ноги и не мог. Позабыл, что ли, с перепугу, как это делается! Забыть не трудно, когда невозможно понять, где пол, где стенка — все перекосилось.

Когда я, справившись со своими конечностями, принял вертикальное положение, пришел настоящий страх. Мне показалось, что именно в рубке самое опасное место. Каждая секунда промедления грозит смертью. Куда бежать, с какой целью — об этом как-то не думалось. Сначала надо выскочить из рубки и заорать, чтоб тебя кто-то услышал! Все остальное — потом.

Хватило все же ума сообразить, что это и есть паника, которую я всегда презирал. Я взялся за штурвал, чтобы развернуть судно по ветру. Очевидно, случилось что-то серьезное: судно не слушалось руля. Следующую волну оно встретило и проводило так же покорно и жутко. Огня на «пятьдесят втором» тоже не было видно.

Я оставил бесполезный штурвал, торопливо оделся, снял с гвоздя мичманку, даже заправил ремешок под подбородок, чтобы мичманку не унесло ветром. Так, наверно, поступают все настоящие моряки в минуты опасности. С мичманкой сразу стало веселее, словно рядом оказался хороший друг.

— Петро! А, встал, хорошо! — крикнул старшина, входя. Мы столкнулись в дверях, он потеснил меня назад, в рубку, и продолжал: — Буксир лопнул, и «пятьдесят второго» не видно. Не заметили, наверно, ушли. Плавающий якорь будем делать. Бочата на машинном — видел? Тащи их на нос. Да поосторожней там, а то смое!

Ветер из темноты швырялся охапками воды, но, казалось, уже не он гонит волны, а волны несут с собою ветер. Главными были волны — от них все остальное: дождь, ветер, даже тьма. Оставалось только удивляться, что такие большие волны не могут справиться с нашим маленьким суденышком.

Я делал все, что приказывал старшина: тащил по узкому борту бочонки-поплавки, помогал старшине крепить их к штоку якоря, удерживаясь одной рукой за поручень, другой прижимал Пронина к крышке кубрика, когда он неловко упал, сбитый волной.

Наконец все было готово: плавучий якорь уплыл в темноту и сразу стало легче. Парусность судна была велика, а наше сооружение совсем не возвышалось над водой. Сильно отставая в своем движении, оно разворачивало судно носом к волне и ветру. Угроза оказаться под опрокинувшимся судном уменьшилась. Мы получили возможность собраться в кубрике, опомниться, передохнуть и немного согреться. Уходя, я заметил, что шлюпки на палубе не было. Волной сорвало ее и унесло в море.

— Так что, Устинович, смотреть надо, — заметил старшина, словно продолжая прерванный разговор, хотя до этого не было произнесено ни слова. — Это хорошо: Петро оказался рядом, а так... — он замаялся. Хотел расшевелить ребят разговором, да, видно, не с того начал.

— Темно ведь, ничего не видно. Поскользнулся я, — ответил Пронин и замолчал, угрюмо разглядывая мокрый, затоптанный пол.

— Я и говорю: смотреть надо, — повторил старшина, зябко передернув плечами. — Холодно! Печку надо растопить.

— Сейчас, Иван Прохорович, растопим! — с готовностью откликнулся я, догадавшись, чего хочет от нас старшина.

— Ладно, Петро, я сам. А вы вот что: воду надо откачать. Сбегайте с Валентином, пока здесь нагреется.

Качали минут тридцать, но конца воде не было. Конец — это когда помпа весело фыркнет, а поршень пойдет легко-легко, прогоняя по трубе вместо воды воздух. Периодически сменяя друг друга, мы с нетерпением ждали этого момента, но он все не наступал.

Помпа у нас располагалась над трюмом, около самой рубки. Один качал, второй стоял сзади, предупреждая об опасности первого, если волна слишком уж нахально вваливалась на палубу. Случалось такое довольно часто: судно, по-видимому, тяжелело, и ему все труднее было отыгрываться от волн. А мы, поглощенные своим утомительным делом, не догадывались связать это необычное состояние судна с количеством воды в корпусе. Мы мечтали о теплом кубрике после того, как помпа, весело фыркнув, погонит вместо воды воздух.

Пришел старшина, молча отнял у меня стальное кольцо, которым заканчивался шток поршня. Помпа сразу захлюпала энергичнее. Я облегченно перевел дух. Видя, что мы в недоумении, старшина сказал:

— Идите погрейтесь, ребятишки, — подождал еще и прикрикнул: — Ну чего стали, марш в кубрик! Устинович сюда пускай идет.

В кубрике было тепло и даже уютно. Надо бы посушиться, раздеться и посидеть около горячей печки, но двигаться лень. Все эти личные дела казались мелкими и ничтожными по сравнению с тем главным, что ожидало нас.

— Качаем, качаем, а толку, — уныло сказал Быков и, немного отогрев руки около печки, стал закуривать, просыпая табак из непослушных пальцев. — Руки уже не гнутся от этой помпы.

— Ничего, Валя, скоро светать начнет, найдут нас, — пообещал я.

— Найдут, дожидайся, — возразил Быков и замолчал. Неохотно скинув фуфайки, мы легли отдохнуть.

Под паслами перекачивалась вода, захлебываясь, пыхла помпа за переборкой. Наверху завывал ветер, шумел дождь, в борта толкались волны. Под разнообразные звуки я начинал забываться, будто добрая сказка витала надо мной в эти минуты. Потом броском волны врывается действительность, и не было больше сказки.

Быков заворочался, ткнулся головой в переборку, чертыхнулся и сел. Посмотреть бы, что он там делает, да лень открыть глаза. Впрочем, так лучше: пусть думает, что я уснул, а то начнет ныть.

— Петро, — тихо позвал он, с усилием вздохнул и закончил почему-то шепотом: — А мы ведь тонем!

— Как? Чего ты болтаешь! — рассердился я и сел.

— Вода, вон там, — медленно выговорил Быков, показывая взглядом.

Воды было совсем немного. Она тихо и безобидно перекачивалась на пасах, вдоль задней стенки кубрика. Хотелось взять тряпку и просто убрать ее. Но мы знали, что если вода показалась в кубрике, то в кормовой части ее будет не меньше, чем полметра. А для нашего суденышка это уже слишком много.

— Ну и что... Качать будем. Скоро наши придут: светает уже... — говорил я, указывая на иллюминаторы, которые действительно быстро светлели.

— Качать. Толку-то! Где он, ваш «пятьдесят второй», где! — безнадёжно выкрикнул Быков и метнулся к трапу.

— Куда раздетый! Замерзнешь там, дурак! — в свою очередь заорал я и ухватил Быкова за рубашку, сознавая: если он меня не послушается сейчас, я тоже одурею от страха.

Быков вернулся и стал одеваться. «Молодец, Валька! — мысленно одобрил я, понимая, как трудно ему было вернуться. Мне и самому хотелось рвануться наверх, закричать так, чтобы весь мир узнал о страшной беде, которая настигла нас. Одевались торопливо, но как положено и, одевшись, не бежали без памяти.

На палубе тоже было мало хорошего, хотя уже совсем рассвело. Ветер уже не дул, а прямо рвался, кромсая потоки дождя и брызг. Море совсем взбесилось, словно его долго и больно хлестали плетью. Громадные, неряшливые волны были испещрены другими — поменьше, последние — еще более мелкими и так до обыкновенной ряби. Все это сталкивалось, вздымалось, опадало, рассыпаясь длинными хвостами пены, и под напором ветра катилось на судно.

Пронин, едва управляясь с помпой, качал воду. Он или очень устал, или вообще такая работа была не для него: вода едва сочилась из отводного патрубка. Кашин стоял сзади, отдыхая, слегка придерживая моториста за полу фуфайки.

Быков высунулся вперед, заговорил и перешел на крик:

— Там, Прохорович, вода... Тонем ведь! Как же, куда мы теперь!

Я подтолкнул Быкова сзади и сам ухватился за поручень. Нас всех накрыло, притиснуло к рубке и потащило мимо. Над головой слабо дзинькнуло оконное стекло, во рту стало горько и солено. Несмотря на все, я с радостью чувствовал, что Быков рядом. И старшина рядом, а Пронина он не упустит. Так что все целы.

— К черту... Качаем, а что толку. Все равно подыхать! — отхаркиваясь, заговорил Пронин, как только волна сошла. — Я говорил, нечего было уходить из дома! Куда ты нас, на смерть толкнул!

— В рубку, хлопцы, живо! — прикрикнул старшина на нас с Бы-

ковым, не обращая внимания на страшные обвинения в свой адрес, и, подтолкнув вперед Пронина, вслед за нами тоже ввалился в рубку. — Сидите все здесь и не высовывайтесь! — приказал он, уходя.

Через разбитые окна врвался ветер, брызги. Но все равно здесь было теплее, спокойнее, чем на палубе. Послышались знакомые хлюпающие звуки — старшина опять качал воду.

— Надо было оставаться дома, и черт бы с ним с кавасаком. А что вот теперь делать? — тихо жаловался Пронин, сидя в углу на запасном трале.

— Замерз, что ли, Валя? — спросил я, подтолкнув Быкова локтем.

— Холодно. Все ведь мокрые.

— Ты двигайся, вот так! Сразу согреешься, — посоветовал я и с благодарностью подумал о своей куртке; она не спасала меня от воды, но защищала от ветра.

Быков стал двигаться, как я ему советовал. Почувствовав себя старшим над ними, я прикрикнул на Пронина:

— Замолчи, Устинович, надоело слушать! — И сказал: — Вы здесь будьте, а я пойду — Прохоровича сменить надо.

— Чего тебе? — оглянувшись, спросил Кашин.

— Устали, Иван Прохорович, давайте я.

Он уступил охотно. Да и куда денешься! Качать надо, а одному все равно не выдержать. Я предложил:

— Идите в рубку, чего вам здесь мерзнуть на ветру.

— Только ты осторожнее, Петро. Не смыло бы, — предупредил он, уходя.

18

Я дремал, сидя на запасном трале, и очень боялся проспать. Старшина сам не позовет, будет качать, пока не упадет. Пронин с Быковым пристроились на койке, один в левом, второй в правом углу. Сидеть им неудобно: койка высокая, а рубка низкая, и голова упирается в потолок. «Пускай гнутса, раз не хотят работать! — подумал я и испугался: — Ого, проспал двадцать пять минут! Надо идти!»

Когда берешься за стальное кольцо, с помощью которого поршень помпы приводится в движение, вначале кажется, что с твоих ладоней сорвали кожу. Потом боль притупляется, вернее, рассасывается по всему телу бесконечной усталостью. Поршень становился тяжелым-тяжелым, словно за ним тянулась не пара литров, а целое море воды. Я никогда не думал, что уставать можно до такой степени. Даже чувство опасности временами пропадало совершенно. Пойди сейчас судно ко дну, и тогда не пошевелил бы пальцем для своего спасения.

«Все равно ни к чему это. Сяду здесь, привалившись к стенке рубки, чтобы ничего не видеть и не слышать», — временами думал я и продолжал качать. Сесть и не двигаться, ведь это так просто и приятно, но во мне что-то было такое, что даже помимо моей воли отчаянно цеплялось за любую возможность протянуть еще немного.

Вода прибывала. Чтобы понять это, не нужно было заглядывать в трюм или в кубрик. Судно заметно осело, огрузло. Оно уже не взлетало упруго на волну, а покорно принимало ее на себя. По палубе, в кормовой ее части, свободно гуляла вода. В рубке не осталось ни одного стекла. Хорошо еще, что сама рубка держалась, и было где перевести дух.

«Еще три-четыре раза качну и брошу: теперь уже все равно. Море все не перекачаешь. «Пятьдесят второй» ушел и не вернется боль-

ше. Может быть, у них тоже двигатель скис или перевернуло их». Эта нехорошая мысль подействовала на меня отрезвляюще. «Нет, этого не может быть! Они вернутся, не бросят нас, надо только продержаться полчаса, от силы — час».

В рубке послышались голоса. Старшина о чем-то спросил. Пронин, очевидно, возразил, старшина возвысил голос. Я слышал слова, но не понимал, о чем шел разговор, словно там говорили на непонятном мне языке.

Потом хлопнула дверь. Я ждал этого: старшина вышел из рубки, сейчас он меня сменит. Выдержал все-таки!

— А вот и они... нашли ведь, вернулись! Петро, бросай, сынок, хватит: наши вернулись! — Старшина говорил тихо, словно не верил собственным глазам, но голос его дрогнул. Вдруг он подхватился, замахал руками, закричал: — Ого-го, сюда, ребяташки, сюда-а!

Я оставил ненавистную помпу, но так ничего и не увидел. Тут нас снова накрыло волной. Ухватившись за поручень, я успел подумать: «Прохорович, держись!» — но крикнуть не сумел — помешала вода.

• Когда волна сошла, я увидел маленький трепещущий на ветру четырехугольник. Не успел догадаться, что это флаг на «пятьдесят втором», как показалась мачта, рубка и пустынная палуба. Взобравшись на волну, «пятьдесят второй» так боднул форштевнем наседающий гребень, что брызги полетели до самого клотика. Потом снова все куда-то провалилось вместе с флагом и клотиком.

В рубке, за нашей спиной, послышались тревожно-радостные возгласы. Пронин, за ним Быков показались в дверях, но старшина бесцеремонно затолкал их обратно.

— Куда претесь! Сидите пока там! — И снова захлопнул дверь. — Сюда, тут мы, тут! — закричал он затем, замахал руками. — Не видят они, что ли? Ты, Петро, тоже иди в рубку. Устал ведь — отдыхай.

Я молча повиновался. Ведь ясно же, что снять они нас сейчас не смогут. Да и сами долго ли продержатся? Смотреть со стороны было действительно жутко, нас треплет и бьет здорово, но все же, казалось, не так, как волна обошла с «пятьдесят вторым».

Бессильно привалившись к стенке, я через пустые окна видел, как «пятьдесят второй» медленно проходил мимо нас. Пронин с Быковым тоже притихли. Тоже, вероятно, ждали, когда очередная волна накроет жалкое суденышко, и мы снова останемся одни, а море будет еще пустынее и страшнее.

Но волны шли одна за другой, а «пятьдесят второй» держался. Удалившись на некоторое расстояние, он развернулся и пошел нам навстречу, только уже по ветру. Пронин с Быковым заговорили облегченно и радостно:

— Ну, теперь все! Подходит! Здорово их накрыло, когда поворачивали! А шлюпка-то у них целая!

— Вон Витька на палубу вышел! — сказал я, и сразу же появилась жгучая заинтересованность в происходящем.

В рубку заглянул Кашин, приказал:

— Давай все на палубу! Как только подойдет, прыгайте сразу, не зевайте.

— Шмутки бы собрать: пропадет все... — неуверенно начал Пронин. С появлением «пятьдесят второго» он снова сделался рассудительным человеком, уверенным в своей правоте и в своей безопасности.

— Куда тебе шмутки! Сам-то смотри... Давай пошевеливайся, Устинович, подходят! — торопил нас Кашин.

— Жалко, все пропадет, — вздохнул Пронин.

Пронин был убежден, что другие всегда обязаны его дожидаться. Гадаев тоже не большой начальник, и ничего с ним не сделается, пока Пронин соберется. Впрочем, если он начинал торопиться, получалось еще хуже, торопливость у Пронина проявлялась в бестолковых, произвольных движениях рук и глаз.

— Сам не останься здесь, как шмутка! — нетерпеливо сказал я и подтолкнул Пронина к выходу. — Шевелись ты! Не видишь — под-
ходят.

Мне не терпелось поскорее оставить полузатонувшее судно.

Ни о какой швартовке борт к борту не могло быть и речи. «Пятьдесят второй» приближался малым ходом. Швыряло его так, что приходилось то запрокидывать голову, то заглядывать вниз, как с обрыва. Кашин объяснял Пронину, как мы должны действовать. Я не слушал его, ясно и так: когда «пятьдесят второй» приблизится, надо прыгнуть на его палубу и постараться не угодить за борт.

Гадаев превзошел самого себя: провел судно так, что хоть парадный трап подавай. Он мог бы и не рисковать так. Впрочем, все обошлось благополучно, только стальная шина на привальном брус «сорок четвертого» изогнулась замысловатым образом, да сам брус просел сантиметров на десять, когда суда на мгновение коснулись друг друга бортами. Странно, что в этот момент я обратил внимание на такую мелочь!

— Петька, вот ты как... совсем живой!

Передо мной возник Витька с испуганно-радостными глазами, с улыбкой во все лицо. Сказать трудно, до чего я ему обрадовался. И тут же вспомнил про «Цусиму». Забыл чужую книгу, так и осталась она в кубрике под постелью, и не прочитал даже.

Я забыл даже, что нахожусь не на твердой земле, что здесь тоже качает и волны ходят под нами.

— Петька, держись! — крикнул Витька и подтолкнул меня вперед.

— Да вот, книгу твою забыл. Сейчас только вспомнил.

Витька посмотрел непонимающе, потом обиделся самым натуральным образом. Разве это имело сейчас хоть какое-нибудь значение?

— Идем в кубрик, печку топить будем, сушиться, греться. Что это они — опять разворачиваемся! — удивился Виктор и схватил меня за руку. — Скорей в кубрик, а то сейчас даст!

— «Сорок четвертый» на буксир брать будем! — догадался я.

Все наши собрались в рубке, где и решилась дальнейшая судьба «сорок четвертого». Гадаев встретил ребят возгласом:

— Все живые? Порядок в танковых частях! — выждал немного и спросил: — Как, Прохорович, будем брать «сорок четвертый»? Устали вы здорово, может быть, Витьку пошлем конец закрепить?

— Посылать никого не надо, Михаил Петрович, — степенно возразил Кашин. — У нас там якорь плавучий, возьмем его на борт, вот тебе и буксир. Якорный канат у нас крепкий.

— Ладно, поворачиваем. Ты крикни ребятам, чтобы с палубы ух-
дили, — попросил Гадаев Быкова, который стоял всех ближе к двери.

Мы снова подходили к «сорок четвертому». Кашин окинул нас, свою «гвардию», придирчивым взглядом и сказал Пронину:

— Ты, Устинович, оставайся — мы втроем справимся. Иди прямо в кубрик и грейся. Багор где тут у вас?.. А, вон он. Вижу. Идем, ребяташки, пора!

В кубрик мы с Быковым ввалились чуть ли не друг на друге. Кашин степенно замыкал шествие. Было радостно оттого, что долг свой

мы выполнили до конца, все трудности позади и нас ждет отдых в теплом, сухом кубрике. Привыкли, что ли, уже? Шторм ведь еще не утих, и волны швыряли судно, но у нас появилась такая уверенность в благополучном исходе, что мы порой забывали о шторме. Недаром Кашин все время покрикивал на нас с Быковым, чтобы мы вели себя осторожней на палубе.

Мне не терпелось поделиться накопившимися за ночь впечатлениями, расспросить Витьку, как они ухитрились нас разыскать. А потом я увидел Зубова. Он лежал, сложив руки на животе, и укоризненно смотрел на наши смеющиеся лица.

Я как-то совсем забыл про Зубова, а тут вспомнил, но сразу не придал значения его взгляду.

Виктор подскочил и помог мне освободиться от куртки, от набухшей водой фуфайки.

— Что это с тобой, Геннадий Иванович, заболел никак? — спросил Кашин, снимая около трапа свой дождевик.

Я, взявшись было за сапог, снова взглянул на Зубова. Зубов вздохнул, хотел ответить, но заговорил Пронин:

— Заболел наш Иванович. Ночью живот схватило, и вот всю ночь мучился — боли в животе, даже сознание терял.

— Как же так? С чего бы это... — начал снова Кашин.

— У меня, Прохорович, наверно, аппендицит, острый приступ, — сказал Зубов.

— Ты потерпи маленько. Придем в Теплинку, в больницу тебя отвезем. Аппендицит — ерунда, вырежут — и порядок! — пообещал Кашин, заглядывая в только что снятый сапог. Вылил воду в угол, за печку, взялся за второй сапог.

В больницу, а тем более лечь под нож Зубову не хотелось. Но он был благодарен Кашину за поддержку, устало прикрыл глаза, покорно вздохнул.

— Как бы ему вместе с аппендиксом печень не вырезали, — с ехидной ухмылочкой заметил Витька.

— Перестань трепаться! — рассердился я и, подтолкнув Витьку голым локтем, стал объяснять: — Аппендикс здесь, а печень тут. Чему только тебя в школе учили!

— Не хорошо, Виктор, нельзя так, — тихо заметил Кашин, потом, возвысив голос, добавил: — Ты шути, да знай меру!

— Так это, Прохорович, не я шучу, Зубов сам сказал, что у него в подреберье болит. А тут у него после уже заболело. Струсил он, а потом притворился больным! — уже со злостью выкрикнул Витька, решивший разом покончить это неприятное дело. — Больной! Меня он с ног чуть не сбил, когда я его в кубрик вел и волна подошла. Испугался поворачивать. Перевернет, говорит, пропадем. А на вас он чихал, и, если бы не Гадаев, крышка вам.

Наступила жуткая пауза. Я ждал, что сейчас все возмутятся и Витьке, конечно, не поздоровится. Мне даже стало жаль своего непутевого друга.

Но нападать на Витьку никто не спешил. Кашин ждал, что он еще скажет. Пронин, убедившись, что Витька не шутит, спрятался снова. Зубов лежал не двигаясь, с обиженным выражением лица и крепко закрытыми глазами.

Я умоляюще посмотрел на Витьку. Зубов, конечно, не храбрец, но на подлость он не пойдет. Ведь он рыбак, старпом!

Зубов лежал тихо, глаз не открывал и никому не мешал. Наверно, пытался придумать что-нибудь такое, чтобы ему сразу стало хорошо, а Витьке плохо. Но с этим у него ничего не получилось, и он

желал теперь одного, чтобы его оставили в покое. Ну, оплошал человек — так что теперь сделаешь!

В течение нескольких минут никто не сказал ни слова. Кашин занялся печкой. Он не спеша подкладывал полешки, а мы с усиленным вниманием наблюдали за ним. На душе было скверно, как будто все мы были в чем-то виноваты. Я понимал Зубова, вспоминая, как было страшно, пробовал мысленно себя поставить на его место. И все-таки было стыдно. И черт знает, что еще было на душе.

— Чайку бы сейчас хорошо выпить, горяченького, — сказал Кашин.

— Попробовать можно. Только кастрюлю держать придется, чтобы не уехала, — быстро согласился Витька и пошел на палубу за водой.

— Ложись, Петро, отдыхай, чего толкаться без дела?

— А вы как же, Иван Прохорович? Вы сами ложитесь: я ночью больше спал, — оглядевшись, возразил я, потому что свободной оставалась одна только Витькина койка.

— Фуфайка подсохнет, да пойду — дело есть.

Я с удовольствием забрался под толстое ватное одеяло. Жесткий соломенный матрас показался мягче самой пышной перины. Глаза закрылись сами собой, тело с наслаждением вытянулось, отдаваясь покоем. Нет больше Зубова с его жутковатым поступком, нет шторма, неразделенной любви тоже нет. Вдруг Таня улыбнулась мне издалека, поманила рукой.

— Вода, Иван Прохорович, одна соль! Было полбочки, а стала полная, аж через край льется, — негромко сказал Витька.

«Зачем вода?» — в полусне удивился я.

— Пропал чай, — вздохнул Кашин. — Да ничего, потерпим.

— Придется терпеть, никуда не денешься: пить эту воду нельзя. А вы, Иван Прохорович, почему не ложитесь? Места нет!

— Не хочу я, Виктор, пойду сейчас.

— Куда вы пойдете! В рубке Гадаев лег, тоже всю ночь не спал.

Приоткрыв один глаз, я увидел, как Витька бесцеремонно тормошил Зубова: «Алё, Иванович, вставай. Хватит прохлаждаться — уступи место человеку!»

Зубов открыл глаза, еще немного подождал, сел и огляделся с такой отчаянной решимостью, будто намеревался спасти нас повторно.

— Дай закурить! — решительно сказал он и причесал пятерней взлохмаченную голову.

— Это можно! Ложитесь, Иван Прохорович, спите до самой Теплинки. Сейчас табачку достанем! — Витька, заметив, что я не сплю, осторожно полез под матрас, извлек у меня из-под изголовья мешочек с самосадам.

Я заснул, но спал, очевидно, не долго: хриловатый голос Валуева снова разбудил меня.

— Ну, как вы там, все живые? — весело крикнул он и, безжалостно попирая трап кирзовыми сапогами, с шумом ввалился в кубрик.

— Тише, ты! Не видишь, отдыхают ребята, — шикнул на него Виктор.

— А! Ну, пускай спят. Стихает, хлопцы. Ветра уже почти нет — считай, выкарабкались. А штормяга был — я еще такого не видел!

— Стихает! А болтает — дай боже, — возразил Виктор.

— Это мертвая зыбь, — подал из своего угла голос Пронин. — Замечаешь, Витька, бросать не стало, как на качелях качает. Кто указывает, тому еще хуже, чем в шторм.

— О, Устинович, ты еще живой! А я уж хотел на твоей Варьке жениться, — шутя, удивился Валуев. — Вылазь давай, курить будем.

— Свою-то куда денешь? — спросил Пронин и закричал, выбираясь.

«Шутят. Это хорошо!» — решил я и снова уснул.

19

Во сне я видел мертвую зыбь. Величественные, но совершенно безобидные волны плавно катились навстречу судну. Округлая форма волн, их изумительно гладкая поверхность наводили на мысль, что волны эти изготавливаются по единому образцу и выпускаются в море какими-то очень добросовестными силами природы. Судно плавно вздымалось, плавно опускалось и, едва касаясь воды, птицей рвалось вперед. Вода была голубая, небо голубое, и палуба нашего «сорок четвертого» тоже почему-то казалась голубой. Я стоял за штурвалом, уверенно направляя судно наперерез волнам к неведомой, но желанной цели.

Предчувствие близкого счастья владело мной, но рядом стоял Зубов и портил все дело. Он жалко улыбался, искательно заглядывая мне в лицо и совсем по-детски канючил, чтобы я позволил ему вести судно. Мне было жаль Зубова, но старшина настрого приказал никому не доверять штурвала по причине особой важности этого рейса.

За сны человек не несет никакой ответственности, поэтому я смотрел голубой сон и улыбался от удовольствия. А где-то на берегу за нас волновались люди. Четыре раза за этот день связывался по телефону с Теплинкой председатель колхоза Комолов. Слабый голос отвечал: «Пока нет. Не видно и не слышно, но ждем с минуты на минуту». Комолов осторожно весил трубку, а теснившиеся вокруг женщины молча опускали глаза.

Директор МРС нервничал, брал у начальника лова папиросу, немело прикуривал, ломал и в раздражении комкал ее. Связывался с постом наблюдения и связи, но неизменно слышал в ответ: «Нет, не видно. Пока не видно». Начальник лова вздыхал и брался за новую папиросу. Помочь было нечем, оставалось только ждать. Утром, когда утихнет накат, можно будет организовать поиск, если, конечно, они не вернутся к тому времени.

Глухо без радики в море. Ушли рыбаки и — как в воду канули! Кончился шторм, миновала опасность, а на берегу волнуются, переживают, еще одну ночь проводят без сна.

Я смотрел голубой сон и не знал, что впереди нас ждут большие перемены. Утром, когда мы придем в Теплинку, сразу узнаем, что Пронин уже не моторист. И Кашин не будет старшиной, а будет на сейнере неводчиком, или траловым мастером, как их станут называть впоследствии. «Сорок четвертый» поставят на капитальный ремонт, и мы всей командой, за исключением Кашина, перейдем на «пятьдесят второй». Коком у нас будет Пронин, а я ловцом. Зубов останется помощником, но старшину к нам назначат нового.

Ребята постепенно начнут забывать о пережитом шторме. А если кто вспомнит случайно, Зубов быстро постарается перевести разговор на другое, просто уйдет из кубрика. В остальном он останется прежним: будет покрикивать на тех, на кого можно покрикивать, и считать себя мужественным человеком. Уж себя-то он постарается убедить, что слабость, проявленная им во время шторма, была чистой случайностью.

Команда с «Пятьдесят второго» перейдет на сейнер, только Ва-

луев останется с нами. Сейнер у нас будет маленький, с шестидесяти-сильным двигателем. Но он сможет работать кошельком, а это очень важно, потому что на юге уже начинали появляться косяки скумбрии. Скумбрия вся наверху, нашими донными тралами — о других мы тогда и не слыхали — ее не возьмешь, вот почему кошельковые невода становились очень популярными.

Нашему «пятьдесят второму» выпадет честь идти на юг вместе с сейнером. Мы будем работать одной бригадой и делить с командой сейнера всю горечь первых неудач. Пройдет немало дней, прежде чем наши судоводители научатся умело обходить стремительные косяки скумбрии. Станем и мы под конец брать рыбу, и неплохо брать. А обиды? Что ж, обиды забываются быстро.

Не знал я и того, что мне доведется побывать на Таниной свадьбе, которая состоится почти через год. И я буду искренне рад за нее! Конечно, мне будет немного грустно, только грусть эта будет хорошая, добрая, что ли, грусть. Такая грусть очень полезна молодым людям, как своего рода школа нравственного воспитания, точнее — самовоспитания. Глядя на молодых, я пойму, что смогу обойтись без Тани, а им друг без друга не обойтись.

Но тогда я еще ничего этого не знал. Спал и улыбался во сне, смотрел голубой сон.



Ян ВАССЕРМАН

МЫС АНИВА

Дремучая темень,
Дремучая темень
У мыса Анива,
Лишь россыпью звезды
Летят в темноту,
Как огни от огнива.

Пророчат прогнозы,
Пророчат прогнозы
Одиннадцать баллов,
Одиннадцать волн,
А на гребнях у волн
По одиннадцать бантов.

Одиннадцать банд —
А в бандитских тачанках
Храпящие кони,
Одиннадцать ядом
Плюющихся ртов,
Словно пасти драконьи.

Одиннадцать войн
Грозным басом своим
Нам подъем проревели,
Одиннадцать львов
Бродят шаром земным,
Разломав параллели.

Одиннадцать баловней
Бродят, играя,
По белому свету...
Трясина страшнее,
Хоть баллов в ней
Вроде бы нету.

Банально, наверно?
Банально, но верно
В большом или малом,
И в этой игре
Мы пока впереди
На одиннадцать баллов...

АНТОШКА

На пароходе был мне вроде друга,
Случайным, добрым ветром занесен
Веселая, пушистая зверюга —
Смешной щенок по имени Антон.

Он был рожден на Севере, Антошка,
В суровых, неприветливых краях,
В Певеке на причале из лукошка
Он выдан был всего лишь за трояк.

Не знала мать в упряжке у каюра,
Что вышел в моряки ее щенок,
Что в шторм его швыряет по каюте,
Как маленький, коричневый челнок.

На пароходе был Антон, как дома,
Береговым собакам не чета,
Боялся он угрюмого старпома,
А больше не боялся ни черта.

Напористо, задиристо и звонко,
Хоть раньше и не видел никогда,
Облаивал он белого нерпенка,
Которого мы подняли со льда.

И по утрам веселый, теплый сонный,
Он вылетал на палубу за мной,
И только лишь от вредных мух соленых
Отмахивался лапкой шерстяной.

Входили мы в заснеженные бухты
И снова выходили штормовать...
На цепи все, на все собачьи будки
Нам было в высшей степени плевать.

ГДЕ-ТО В МАЕ...

Где-то в мае на палубе мокрой,
На исходе весеннего дня
Фиолетовый отблеск биноклей,
Словно лазер прошел сквозь меня.

Разорвались домашние пути,
И в туманы земля уплыла.
Я, рванувший рычаг катапульты,
Развернул облаков купола.

Я спокойствие бросил на суше,
Я дышу, словно в снежных горах,
Очевидно, спасенные души
Поселяются в наших телах.

Якорь в клюзе прижался неловко,
Сжав стальные свои кулаки,
Словно синяя татуировка,
Соскользнувшая с чьей-то руки.

Острова королевы Шарлотты —
Окончание наших путей,
И с форштевня свисают широты,
Как обрывки рыбачьих сетей.

ДЕВЧОНКАМ ПОСЛЕВОЕННЫХ ГОДОВ

Знаем их на тропах и на стройках,
Шедших рядом в холод и в жару,
Спрятанных в спецовках и ковбойках,
Словно парабеллум в кобуру.

Мы не пели серенады ветхой,
Не клялись в любви им на века.
Словно Млечный Путь, сирени ветку
Кляли им под клапан рюкзака.

Только не всегда под солнцем мирным
Им дорожка светлая дана,
Коховскими медленными минами
В нас рвалась прошедшая война.

С ног сбивала нас хвороба чертова,
Бился кашель, как разрывов гул,
Только не бросали нас девчонки
И не отворачивали губ.

Становились девочки сторукими
Меж детей, работой и лекарьством...
Мы их звали ласково — старухами,
Нежность пряча, словно воду — карст.

Знавшими бои, а не банкеты,
Ими заработаны права
Напоказ, как в вазочки букеты
Нежные, не выставляя слова.

Топчут землю крепкими ногами,
В жажду родники — не образа,
И сверкают гильзами в нагане
Бронзовые, яркие глаза.

ПЕСОЧНЫЕ ГОРОДА

Еще на свете мы живем — не тужим,
Еще мы только строим, а не рушим,
Нам далеко до деревянных ружей
И прочих арсеналов. Мы пока
В одном дворе, в содружестве бесштанном,
Под сенью сосен или же каштанов,
Сосредоточась, строим неустанно
Свой золотистый город из песка.

В тех городах веселья и доверья
Открыты окна и открыты двери,
Входите, люди, и входите, звери!

Когда тот город близок к завершенью,
Для многих он становится мишенью,
И так легко подвластен разрушенью,
Как, впрочем, и другие города.

Вот наступает ночь. Дворы затихли,
Растопчут город чьи-нибудь ботинки,
И кто-то опустевшие бутылки
Забросит в остывающий песок.
Но никогда не истощится смета
На эти города добра и света, —
И кружится песочная планета
Вдали от марширующих сапог.

А утром снова — детский крик и гомон,
Восставший из песка веселый город,
Хоть проживет он на земных просторах
Всего до электрической зари.
Но спят спокойно Пети, Вовы, Вали,
Они во сне, наверно, услышали,
Как прошуршал колесами в Сахаре
Прозрачный самолет Экзюпери..

МЕТЕЛЬ

Летит метель над Сахалином,
Шумит веселая пурга,
И опереньем соколиным
На землю сыплется снега.

Пурга врачует все печали,
Она трубит в старинный рог,
И кажется, что ты в начале
Еще не пройденных дорог.

Кружит сверкающая лопасть
Спасительной метели той,
Соединяющей жестокость
С какой-то детской чистотой.

Летит метель от Сахалина
В иные, дальние края,
И птичье тельце мандарина
Во рту отогреваю я.



Сложная история

ПОВЕСТЬ

Предстояло торжество.

Долго и тщательно одевался в этот субботний вечер Николай Гаврилович. И не только потому, что хотел выглядеть особо. Пустое. Он не хотел спешить.

Аркадину было грустно.

Грусть началась, как подумал о том, что предстояло: в общем-то прощание. Прощание с целым куском жизни. Десять лет, напичканные хлопотами и переживаниями. И еще радостью узнавания самого себя, однажды позабытого.

Целый кусок жизни, за которым, как ни напрягай память, ничего примечательного: заседания в проектном институте, где он работал начальником отдела, командировки, снова совещания, заседания и снова командировки...

Раньше Аркадина прожитое занимало мало, он торопился и рвался вперед: работы много, чем дальше — еще больше и интереснее, еще бы сто лет дали, а не переделать всего, что хочется. К тому же он и верил совершенно непоколебимо: коль начинаешь оглядываться на прошлое — появляется «а помнишь...», если прошлым начинаешь жить — уходи на пенсию и разводи крыжовник в садоводческом товариществе. Человек по природе таков, что его жизнь обязательно должна смотреть в будущее, даже если завтра срок умирать.

Но ведь и прошлое — законная часть жизни.

«Дорогой Акакий Акакиевич! Ты сшил тогда новую шинель и был счастлив во всю мощь башмачкиновского счастья! Подумать только — сшить себе новый костюм и по этому поводу испытывать какие-то невнятно-радостные эмоции!»

Аркадин подошел к зеркалу завязать галстук.

«Эк, старикан какой! Лысый, морщины, нос как-то расползся и лицо расплылось: глаза под брови спрятались. Мда-а... А ведь всего десять лет назад не выглядел так скверно. Почти за красавца сошел бы. Микрорайонного масштаба».

Николай Гаврилович поправил костюм и подумал, что тогда, десять лет назад, тоже так вот стоял у зеркала, любуясь новым костюмом.

Костюм был сшит прекрасно. Чутьочку попижонить Аркадин вполне имел право. У весьма хорошего мастера, в прошлом театрального портного, был сшит костюм. За этой удачей — другая: дали за отработанное воскресенье свободный день, и этот день был славный. Июнь, тепло, воздух прозрачный, небо чистенькое. Купол — синий, облака — белые...

«Ты поплелся, мелкая душа, гулять. Не то, чтобы очень хотел, пусть люди посмотрят, какой элегантный мужчина, какой на нем костюм. И ты говорил себе: а что бы мне не влюбиться сейчас в какую-нибудь актрису, молодую, уже выдающуюся и фотопропагандируемую в каждом киоске. Вот в Наталью Белохвостикову, например. Серьезная, должно быть, женщина. А что бы в меня не влюбиться вот той — гм! — стройноногой Венере Таврической в замшевой мини-юбке? Или вот этому Рыжему Колокольчику с книгой на коленях? Экие славные кудряшки! И — носик!.. Да-да, так и помышлял. Подлый лицемер! Ты испокон века скучен, и ни одной женщине не под силу бы поколебать монумент обомшелого холостяцтва...».

Аркадин наговаривал на себя: в молодости пережил он большую любовь. А кончилось все — что толку в причинах — необыкновенно вяло: разъехались в разные города поступать в институт, переписка не получилась, а там его подруга вдруг вышла замуж, ребенок. А на него нашла полная душевная пустота. Сам женился, но пустота не прошла. Терем его супружеского счастья стоял на песке, и по обоюдному согласию развелись. Детей не было. И с тех пор жил один. Вот и вся его скромно-печальная повесть. На свете куда хуже были и есть. Принялся больше прежнего работать, заставлял себя, затем в привычку вошло. Хорошая, по душе, работа имеет доброе свойство — втягивает без остатка. И прошли так годы, а когда прошли, сам удивился: прожил, будто действительно равнодушен был всегда к романам и амурам.

«Куда пропала щетка? Где она, черт возьми, может быть? — пошарил Аркадин в прихожей, в шкафу, и, пока искал, воспоминания притихли. — Самое любопытное, Николай Гаврилович, как тебя в суд занесло в тот день? Никогда не интересовался процессами. Детективы не читал, не любил. Просто так остановился рядом со зданием, люди у дверей толкуются, попросил прикурить, постоял, послушал, о чем говорят. И — явно черт дернул — зашел следом за кем-то в зал заседаний народного суда».

Дело слушалось обычное — выселяли пьяницу. Виновником всего этого скромного судебного процесса была женщина, вылинявшая, грузная, с исцарапанной щекой. Сидела в вялой позе, развалив колени и согнувшись. Временами начинала что-то говорить голосом сиплым, растрескавшимся.

Говорила без всякой связи с происходящим, а на вопросы судьи отвечала, в лучшем случае, междометиями. Вела она себя, одним сло-



Юрий Васильевич Ефименко родился в 1943 году. Хабаровчанин. Закончил факультет журналистики МГУ. В Хабаровском книжном издательстве заведует редакцией детской и юношеской литературы.

В нашем журнале печатался рассказ Ю. Ефименко «Нина Владимировна».

вом, так, как мог бы себя вести в таких обстоятельствах или окончательно ненормальный, или человек, полностью случайный для этого зала.

«А какой прекрасный, карикатурный просто тип сидел у входа: он явно был в роли наследственного интеллектуала. Все в нем — и снизводительное безразличие, и изысканность в одежде, и нога на колене, блокнот с чеканкой на обложке. Лет двадцать ему. Ну и тип! Видно, дуриком сюда попал! Мучался человек: зевал, вензеля стал рисовать, потом карандаш в зубы сунул, крошечный транзистор к уху приложил, вздыхал скучливо. Какой-то гений недотесанный!..»

Суть дела была несложна: попросту говоря, вконец дошла до ручки обвиняемая — бесповоротно алкоголичка. Выступали представители коммунальной общественности из дома, где она жила, и зачитывались протоколы жэковских комиссий по борьбе с ее моральным разложением, поднимались представители с последних мест ее работы, где она только до первой полочки. Все сводилось к одному: пьет, как ни бейся, работать не хочет, от детей отказалась. А мужа сделала калек — надорвал здоровье, поддерживая семью, из больницы выходит, чтобы назавтра опять там быть, чахотка из-за мучений с нею, с такой женой. Ведь она не только пьет — устраивает дома приемы для всяких бродяг, пропойц и бывших уголовников. И какие недостойные вещи тогда творятся на глазах детей!

Публики, — если не считать свидетельскую рать, — кроме Аркадина и молодого интеллектуала, не было.

Совсем не выдающееся, стало быть, дело.

«М-да!.. Боролись тогда с пьянством исключительно неистовыми речами. А больше всего не понравилось, что были одни беспросветные обвинения. И никто ни слова не сказал, не определил точно и ясно, — да отчего же эта женщина (мать троих детей!) скатилась до жизни такой? Бесцветной, вывернутой наизнанку. Можно подумать, обвинять и есть единственный способ установить истину. А зачем суд — без истины, без первопричин? Нелепость».

И уж больно часто твердили там — дети, дети.

Аркадин их увидел в коридоре. Сидели все трое. Девочка лет четырнадцати, в школьной форме, а возле нее еще одна, намного младше, и мальчишка совсем маленький, может, года четыре, но не больше шести. Старшая была бледна, хмурила высокий лоб, смотрела только перед собой, в пол, и ни разу не подняла головы. У нее была коса, закрепленная на макушке, и на шее под косой подрагивали завитушки. Кажется, она плакала. Младшая сидела прямо, тоже была в форменном платье, лицо у нее точно съезжившееся к носу и остренькое поэтому. А мальчишке не сиделось, крутил большой, стриженной головой. Наверное, ему хотелось болтать ногами, побегать, но сдерживала пугающая обстановка.

«А ведь быть им здесь совсем необязательно, по всем правилам. Притащили родственники матери, судью разжалобить. Уж, конечно, эта старая перечница тетя Настя. Кажется, так ее называли... Притащили мучить детей. Страшная людская темнота!»

Кончилось все неожиданно быстро — Аркадин ожидал более длинное разбирательство. Материнских прав женщина была лишена еще раньше, и решение суда — выселить. Необходимость в этом совершенно очевидная. Предполагалось, что лечение активным трудом избавит наконец ее от порока, от пьянства.

Свидетели загудели, вставая, и пошли к выходу.

Подсудимая смотрела пусто, сидела по-прежнему оцепенело, как замороженная, и губы ее шевелились, но так, как будто она жевала

клейкое и раздражающее. Силилась понять. Разыскать себя в сумятице пропитых последних лет?

Те, кто еще задержался, глядели на нее молча и ждали. Аркадин почувствовал и сам: должно что-то случиться. Сейчас она закричит! Сейчас она разрыдается! Бросится к детям! Сейчас она хоть немного очнется и поймет!

Она не шевелилась, и ни звука.

«Да. Это был тяжелый случай!»

Дежуривший у дверей милиционер подошел к ней, сказал и показал затем — выходи.

— Верка, сука! — подала она вдруг голос, уперев глаза в вошедшую в зал старшую дочь. — Зачем привела?

Как ни старался он собираться медленнее, времени еще оставалось больше, чем он ожидал.

Ну что ж!..

На одной площадке с Аркадиным жил старый друг, заместитель директора института Тяжелников. Это он отправил тогда Аркадина в отгул. И вообще, как и все старые друзья, мешал ему спокойно жить и работать — заботился, советовал, ругал, хвалил, когда его об этом вовсе и не просили. Есть у старых друзей такой грех, знают, что всегда будут прощены.

— На рыбалку собрался, Егор Матвееч?

Тяжелников был в болотных сапогах.

— С рыбалки, разлюбезный Николай Гаврилович! Только что. Здравствуй. Знаю все от директора. Приказ подписан, и будь здоров — уезжай.

— И уеду, уеду. И здоров постараюсь быть, и — подожду пока.

— Так. Ну этого я ожидал. — Тяжелников сдвинул брови, что совершенно не шло его хорошему доброму лицу: серьезность, подчеркнутая на нем таким образом, казалась растерянностью. — Ну проходи, будем сейчас говорить... Маша! У меня в термосе чай остался! Подготовь нам, пожалуйста... Проходи в покой.

Из глубины квартиры, из кухни откликнулась жена:

— Жора, я рыбу чищу! Займись сам.

— Егор, ты мне на пару минут всего нужен. Я спешу-с...

— Сейчас, спички возьму. Нам что ни день внуков подкидывают. В квартире не закури...

Тяжелников вернулся тотчас же и — в домашних тапочках.

— Ну?

— Думаю, Егор Матвееч, нам только вместе нужно в горком: директор, ты и я. По очереди и доложим.

— Ты с сегодняшнего дня — в отпуске. Ты завтра утром на аэродроме собирался быть. Между прочим, никто тебе сроков отпуска пердвигать не станет, если задержишься. Все, как в приказе.

— Я уже позвонил в горком: сказал, что будем вместе.

— Кому звонил? — громче прежнего спросил Тяжелников.

— Егор, у тебя давление.

— Хорошо разговор у стариков: давление, сразу об инфаркте вспомни. Это ты меня довел. А сам, бугай, бегаешь по утрам...

— Ну пойми, Егор Матвееч, дорогой ты мой: улетел бы завтра, наш проект будет отложен до июля. Вы с директором позаботитесь.

— Конечно! Ну и что — отдел не выполнит плана? Вернешься, за второе полугодие наверстае. Зато институт выполнит.

— У меня отдел над этим проектом — неделю без сна. Понима-

ешь, люди сутками домой не уходили. Родственники передачи, всякие там супницы, котлеты приносили. Семьями целыми тянули, чтобы сейчас к сроку закончить.

— Институт, Николай! Институт!.. У тебя телефон звонит.

Это был директор, Тяжелников стоял рядом, все хорошо слышал и комментировал директорский запальчивый монолог:

— Ну? Видишь? Чувствуешь? Понимаешь? Верно говорит...

— Будем вместе, вместе послезавтра пойдем, — твердо отвечал Аркадии. — Все знаю. До первого числа не уйду все равно... Мне это ясно, как и вам. Да, институт не выполнит. Да, нам убыточно, но проект нужен стройке. Большой стройке!.. А вот так: мы выиграем, а государство — потеряет!.. Да, меня интересует государственный! Не институтский, не трестовский, и даже не всеминистерский, а весь государственный!.. Пусть в министерстве тоже понимают, тоже думают... Спасибо за веру. Не хочу обнадеживать понапрасну: не передумаю.

— Не понимаю, чего ты хочешь? — сказал Тяжелников сразу, как Аркадин положил трубку. — Я тебя поддерживать не буду, не расчитывай. С меня и директора спрашивают за институт. Соображаешь?

— Ну, нельзя же за своим, за этими институтскими стенами не замечать своего государства! Я хочу, чтобы вы это тоже поняли: есть только одна выгода — всех! Пора давно усвоить такую простую мысль. Мы у себя выиграем копейку, а рядом по нашей милости миллионы — в трубу!

— Ладно. За пять минут ни до чего не договоримся, — вздохнул Тяжелников. — Все завтра. Ты куда-то собрался...

В общем-то причина того, что он решил подойти к детям, была скромная, подумал — не помочь ли? Он знал уже из суда, что отец болен, лежит, а живут далеко и не в великом достатке. Всего-навсего подумал: отвезу-ка их на такси. А может быть, и там, дома, еще что потребуется?

Старушка суетилась возле них, не суета — суетливость: напаяли курточку на мальчика, потом полезла к нему с платком вытереть нос, и так настойчиво, что он захныкал; на младшей девочке принялась поправлять чулки, приговаривая строго: «Не крутись, Манька! Спокойно стой, анафема!» — хотя та стояла не шелохнувшись. И ворчала еще: «Никак собраться не могут. Только и смотри за вами...» Добровольный, доморощенный истязатель.

Она не трогала старшую. Отвернувшись к стенке, та плакала еще некоторое время, а перестав, тихо сказала:

— Уйдите, тетя Настя, тут же уйдите.

— Ну-ну... Уйдите. Хороша! — еще не уловила она ненависти в ее голосе.

— Да уйдите же! Ну! — крикнула девочка.

— Чего ты, Верка? Чего ты дуришь, ты-й-то?

— Сами дойдем, обойдемся, — спокойно ответила Вера.

— Эх, без присмотра, без присмотра... — И в эту минуту на глаза старухе попался Аркадин, прямо перед ними стоит, смотрит. — А вы, граждане? Не звали слава богу! Чего вам? На чужое горе глаза расставили?

— Для начала — здравствуйте. Может, делом помогу, может, советом?

— А нам и нашей мудрости хватит! — не заговорила, а запела она. — Прожили годков. Знаем, как делать! Все знаем!

— Перестаньте, тетя Настя! — сказала Вера, быстро вытерла слезы слез.

Не тут-то было! Тети Настин поток притчей и причитаний не угас ничуть.

Вера, он заметил, к нему отнеслась иначе: в глазах то ли тревога, то ли надежда.

Тревожная надежда...

— Нам не надо ничего, — сказала она Аркадину тихо. И пошла, повела брата и сестру. Через несколько шагов оглянулась.

«Вот та секунда, когда я уже окончательно не посмел отступить-ся. Четырнадцать лет ей было, а ведь это она всю семью в чистоте и порядке содержала, весь тяжелый пуд хозяйских забот и хлопот несла. Ей нужно было очень много: и отбиться навсегда от этого (тетя Настя) кандидата кухонно-коммунальных наук, и поговорить с умным и добрым другом, чтобы узнать все про человеческую жизнь и разобраться: счастье — несчастье, радость — горе, понимание — равнодушие. Почему это так смешано, спутано? Ей было нужно. А хотелось после суда убежать, не видеть, не слышать никого и — выплакаться».

Пока ехали, всю дорогу — минут тридцать — Аркадин рассказывал о себе, о войне: где воевал и что бывало. Ему показалось, это будет интересно, а ничего другого стоившего бы их внимания не знал. Получалось не слишком хорошо, а поначалу особенно, но — машина так мягко летела, солнце в ней со всех сторон, будто на улице сто тысяч солнц, и неожиданно поддержал шофер, таксист оказался из фронтовиков. И младшие — Манька и Ванька, — честное слово, ожили. Ваньке, тому много и не надо было. А у Маньки лицо вернулось в настоящие свои границы: не сморщенная, а славная круглая рожица, симпатичная своей курносостью.

Вера прижалась к дверце и из своего угла, через Маньку с Ванькой, поглядывала на него разное: то хмурилась, а то отворачивалась к стеклу, думала: «Жаль, что тетку Настасью взяли в машину. Вытолкнуть бы ее сразу! Сидит впереди, разобиженная! Сколько раз пила с матерью. Сколько раз! А теперь прямо как в святые лезет. Куда как хорошо сейчас было бы без нее!» Иногда Вера вступала в разговор, помогала Ваньке нужное слово вспомнить или поправляла.

Тетя Настя молчала необыкновенно мужественно, а как приехали, сделала заявление: вы еще придете, вы еще попросите, — и ушла заглянуть к какой-то Марфуше, без сомнения, прокомментировать суд.

Их дом, длинный, одноэтажный, вдавленный временем в землю, явно ожидающий скорого сноса, стоял на окраине.

У порога, возле двери, открытой настежь и обитой рогожей, сидела черно-белая кошка.

— Клякса! Клякса! — рванулась к ней Манька.

— Наса коска. Знаес, злая, — сказал Ванька.

— Клякса. Хорошенькая, — погладила Манька.

И Аркадии тоже погладил, присев на корточки.

— Вполне прекрасное животное. Она, наверное, мышей ловит? — спросил Аркадин и еще раз погладил, хотя к кошкам был равнодушен. Собаку он хотел в детстве, а кошек — никогда.

— Она мышеловка, — сообщил Ванька.

— Она не мышеловка, сам ты мышеловка, — сказала Манька. — Кошки не бывают мышеловками.

— Это ты — «не бывают мышеловками!» — с обидой возразил

Ванька и представил совершенно точные доказательства. — Знаес, когда зверей ловит — зверолов. А мысей — мыселов. А Клякса — коска, потому — мыселовка!

Все вместе пошли по коридору, темному и усталому от нагромождений старой мебели, ларей, ящиков, корыт, вешалок со старой или рабочей одеждой. Идти им пришлось почти до самого конца. Ванька и Манька впереди. Они отпихивали друг друга от кошки, продолжали ссориться на ходу и ни разу не зацепились, тогда как Аркадин на каждом шагу задевал, налетал на что-нибудь.

— Хорошо у вас тут — Бродвей!

Они жили в одной комнате, но большой и разделенной цветастой занавеской. В первой половине плита и кровать. Вера отдернула занавеску, за ней — еще кровати, стол и широкое, чисто вымытое окно. Пахло немного древесной гнилью, и запах особый — лекарствами.

Ванька и Манька предупредили появление Аркадина, и навстречу с постели поднимался худой человек, с лицом, высушенным давней болезнью, и со взглядом, приветливым и спокойным. Он приподнялся и, полусогнувшись, протянул руку.

— Коростылев Аким Феофанович. Простите, что так встречаю — приболел, а поправляться, пока не очень получается. От врача вон какую гору фармацевтики имею.

Вера и Коростылев не сказали друг другу ни слова, но каким-то знаком, наверное, она уже сообщила, чем кончился суд. Или — Ванька и Манька. Потому что он вдруг трудно, тяжело вздохнул и хотел сдержать этот вздох одновременно:

— Да... В больницу гонят. Да ведь смотреть дома надо... И знаете, совсем ни дня без детей не могу. Мне в больнице, как в тюрьме, будет. И я вообще — больницы, какие ни прекрасные врачи и лекарства, плохо переношу. Там дух какой-то: ты — больной. И называют — больной. И все это получается, что там я обязан болеть... А иначе как симулянт себя чувствуешь. Ну, а если дома, то я только так — прихворнул, а вообще-то еще здоровый. Вот и как говорится — жить можно!

— Ну зачем ты вставал? — сказала Вера. — Не трогай ты кухни, пожалуйста, там мое дело. Опять ты вставал. Нехорошо, папа!.. Маша, сходите с Иваном за картошкой!

— Ванька-Манька — в крестовый поход! Быстро! Бросайте свои мировые дела!.. Ну, Ваня? Как суп?

Вера как раз пробовала, улыбнулась:

— Я тоже научусь! Не хуже будет... Николай Гаврилович, пообедайте с нами, пожалуйста. Я еще полчаса — управлюсь. Хорошо?

Аркадин есть не хотел, но согласился. За два часа, которые провел у Коростылевых, узнал он об их жизни достаточно много, можно сказать, все узнал: и как Аким Феофанович «по дурости женился», и отчего у Ваньки случается понос, и какие оценки получала Вера с первого класса и поныне, и что Веней ее зовут дома, поскольку это коротко от Веруня, а вот младшую — ее звать Марией начнут только после шестнадцати лет, а пока она Манька и все, да еще и нос подвел. Хорошо, что никому не известно — была ли самая первая Мария некуросой? И что последние годы работать нормально Коростылеву удавалось редко, а больше болел.

При этом о суде опять же — ни слова. И Аркадин заметил — даже Ванька и Манька (Вера тем более) не вспомнили мать.

Коростылев не расспрашивал его ни о чем, не задал и совершенно естественного бы вопроса — как он попал к ним и зачем?

Иногда Коростылев начинал кашлять.

Перед прощанием Коростылев отослал детей подождать у крыльца и заговорил тихо:

— На меня вот давят, чтобы в детдом младших отдал. Болею много, да и денег, конечно, у нас не густо на четверых. А я ни за что — не могу. Представить больно. Пока жив, только при мне и все вместе будут. Я знаю, что бываю разный: там дурак, а тут умный, то добрый, а то злость найдет. Детям это не нужно так. Мне самому их хочется до самой жизни довести. Я им хочу передать от меня все хорошее, чему научился сам и научили хорошие люди и книги. Мне надо им и свои мечты передать. Понимаете? Понравятся — будут продолжать, не понравятся — свои найдут. Так и должно быть, как я говорю, правда?

— Думаю, правда, Аким Феофанович.

— Сомневаетесь немного, наверное?

— Почему?

— Слово-то: думаю... Это я, извините, так просто. Сомневаться же можно.

— Аким Феофанович! Да я ведь бездетный. Нет у меня семьи.

— Так лучше? Нет, когда работа важная и очень уж хлопотливая, все занимает, конечно, так лучше. Я это хорошо понимаю. А у меня и образование — заочное.

«Да, Коростылев Аким Феофанович. Дом, семья, самая простая собственная жизнь — вот где он был весь. Постой, это сказать нужно иначе — вот где весь оказался. И смог, оказавшись, все равно, всю свою хорошую силу показать, очень сильную силу. Он ведь и тебе, Николай Гаврилович, помог кое-что в сознании сдвинуть».

Вера, Манька и Ванька проводили немного.

— Приезжайте к нам в любое время: у нас всегда кто-нибудь дома, — сказала Вера. — Вы приедете, хорошо? Папа поправится, будем все вместе гулять, хорошо? Вы же будете к нам ездить?

«Навещать бы их каждый день, а прошло много дней, пока объявился в следующий раз. И нельзя так делать, опасно: всякие смерти в душе, как и вообще смерть, необратимы. И если хочешь что-то сделать — делай, а не собирайся ждать звездную минуту. Жизнь не ждет. Коростылевы без меня обошлись бы, конечно. Я это понял и видел. А я? Кто знает! А я пришел домой и подумал: самое прогорклое из одиночеств, когда дома не с кем словом перекинуться».

Засыпал Аркадин уже давно плохо. В свое время он был счастливым: как лег, так и заснул. Теперь укладывался в постель и прежде всего анализ: просеивал день, проверял, сколько осталось на завтра. Следом, от переутомления, что ли, начиналась неуправляемая стихия дум и непередаваемо неприятное состояние — и спать хочется, зеваешь то и дело, и не дают, мешают какие-то всполохи — крошево разговоров, споров. Иногда приходилось снотворное глотать, крайняя мера.

Заснуть после того дня ему, видимо, вовсе было не дано.

...Взволнованный и тихий голос под тихие и ровные шаги сказал под окном:

— Не могу, не могу Понимаешь, устала я. Я не хочу с этим всем жить. Надо все менять...

Шаги ушли, и голос с ними. Ощущение — как будто по потолку прямо над ним прошагали эти люди. И черт знает, что там стряслось

и что так уж очень менять надо. Может, мебель. А показалось — это его собственная душа сейчас прошла и сказала ему.

Мистика, ей-богу.

Совсем поздно было, два часа — разглядел Аркадин на циферблате. И еще лежал долго с открытыми глазами. Час-полтора, и станет светать.

Через комнату проползли оконные квадраты луны. И когда они стали уходить совсем, Аркадин вылез из постели, отдернул штору и остался стоять у окна.

Рама холодная, стекло холодное. День длинный, а все-таки июнь — не вполне лето. Партизанит холод ночью... А луна не такая как раньше стала. Раздели ее, что ли? Что-то с нее сняли, обезлунили, как стали туда летать. Все эти «светы луны» пиитические — приелось, конечно, но было все же в свете ее притягательное, светлодушевное. И — нет больше.

Перед ним толпились коробки темных домов. А в конце улицы, в самом конце — удалялся прохожий. Человек шел так незаметно, очень медленно, что будто и не двигался с места. Будто он был необыкновенно усталый, и его давили все тяготы и грузы прожитых лет. И он куда-то уходил от них. Или решил унести их и бросить далеко за городом. Чтобы ни его самого и никого на свете они не мучали.

Человек проходил среди других людей, спавших вокруг него отгороженно: за стенами, коридорами, лестницами. Между снами, в которых не было ему места. Но он шел все равно среди них — людей. Понимаете все, спящие, храпящие, посвистывающие и тихие, как мышь, — среди вас! Понимаешь ты, одинокий пешеход, — среди них!

Смотри, смотри, Николай Гаврилович, на свое отражение. Похож, верно, похож...

Никто не знает точно, но в каких-то случаях одиночество и оправдано. И не стал бы, может быть, без этой жертвы Чайковский вполне Чайковским, а Стендалю было бы совсем не до «Трактата о любви», и романы не получились бы столь «стендалевские». Все возможно. А вот инженеру-проектировщику, ничего никогда не изобретавшему и не сочинявшему, — нужно ли было? Обязательно ли было жить, как прожил, в одиночку?

Сейчас поискать серьезные причины — они есть. Где потухшая любовь, неудавшаяся семейная идиллия, война, раскидавшая, перемешавшая полстраны... И привычка быть самому себе и нянькой, и завхозом, и министром, по горло погруженность в дела.

И ни одна из причин не оправдывала до конца. Незаметно, оказывается, можно пройти мимо себя.

«Тяжелыников станет ждать и до утра. Надо будет зайти».

Аркадин вышел из двора на улицу. Настоящий летний вечер. Торжественная медь солнца, которому висеть уже недолго, и сейчас оно провалится в дымку. Радостные запахи ветра из-за реки, с лугов. А на бульваре пенсионеры на скамейках.

Пешком, только пешком до самого кафе! Никакого общественного транспорта!

«А собственно говоря, почему я в следующий раз зашел к Коростылевым чуть ли не через месяц?.. Никаких причин не припоминается: верно, была обычная суета...»

Он вошел без стука. Посреди комнаты стоял алюминиевый таз, над ним наклонилась и выжимала тряпку Вера. Пол уже был напо-

ловину вымыт. Окно раскрыто. Занавеска, разгораживавшая комнату, закинута на веревку.

— Вы болели? Вы так долго не заходили — так много работы? — сказала Вера, поправила волосы, отвела со лба плечом. — Я сейчас кончу!

— Николай Гаврилович? — отозвался с постели Коростылев.

— Николай Гаврилович, — перебила Вера, — нам квартиру дают.

— Веня, прекрати этот парламент. Придет черед — сам расскажу Николаю Гавриловичу.

— Вы обедали, Николай Гаврилович?

— Ну, Веня! Что там твой обед? Сейчас пировать будем, квартира — стоит того? Пир, Николай Гаврилович, конечно, — символика одна — лимонадный. Три бутылки лимонада с коих веков застоялись. Это все пока для Маньки и Ваньки, а получим — и по-настоящему! А где они у нас?

— Да бутылки, что ли? — засмеялась тихо Вера.

— Веня! Чтобы через пять минут Манька-Ванька передо мной — как лист перед травой!

Оба они радовались и, значит, ждали его очень. И что самое главное, по свету их глаз Аркадин заметил и понял, что нужен им очень.

— Аким Феофанович! Вера! Не конфузьте меня: пир, а я с пустыми руками!

— Ничего, это не важно! — в один голос сказали Коростылевы.

Вера опустила занавеску, оставила их в чистой половине и принялась спешно домывать.

— Вот — Веня, всего одно слово, а сразу все в нем: и Вера, и Надежда, и Любовь наши.

«Когда идут в семьи, где маленькие дети, надо хотя бы самые простенькие игрушки покупать», — подумал Аркадин.

— А может, — продолжал Коростылев, — я подумал: может, по-правильному отметим — вина купим? Или вовсе, как полагается — крепкое? Сейчас pošлем человека... Че-ек! Водки!

Вера появилась немедленно, вытирая руки, платье оправляя. И в самом деле совершенно готовая бежать!

— А что брать? Я же не знаю.

— Вы — что? Аким Феофанович? — вмешался Аркадин. — Мало в этом доме и без нас пили?

— Хватало. Так ведь не пили — жрали. Это на алкогольном языке. А мы, как люди, выпьем.

Коростылев принялся искренне настаивать, но Аркадин не стал и слушать.

— Вера! Вот что, прежде всего: можно ли Аким Феофановичу?

— Все готов сейчас: пить, гулять, чтобы дым коромыслом! Да это только на словах. Ничего не разрешаю ему — и пошевелиться лишний раз.

— Ну а врач, вспомни, «кагор» советовала?

— Нет его в нашем магазине, папа. Я честно: нет. Вы вот что: подождите, а я в город съезжу, хорошо?

— А нам еще на прошлой неделе о квартире сказали... Ты, Веня, позови домой наших и — давай!

— Только вы, Николай Гаврилович, — беспокоилась Вера, — и не подумайте уходить.

Радовались Коростылевы хорошо, самой чистой радостью, возле которой и случайному, как он, славно и тепло. И нужен он им был сейчас, в сию минуту, чтобы эту радость пережить еще раз.

— Вера, за вином съезжу я, — сказал Аркадин.

— Да мне все равно надо: к подруге забегу, за книгой. А вы сидите. А на стол Маша соберет, она даже Иваном сможет распорядиться, он ничего не разобьет. Папа, ты будешь командовать.

Поехали вдвоем: Аркадин — в магазин, Вера — за книгой. Так и не уступив друг другу.

И даже дорогой, в автобусе, Вера еще не соглашалась.

— Папа вас каждый день ждал, ему же поговорить с вами хочется. Нет у него здесь родных, на Волге остались. А с работы редко-редко бывают. Взрослые ваши разговоры ему не с кем вести. С нами?

Аркадин отвечал:

— Вера, да не тебе же в винном отделе стоять, согласись! И представь: это кто-нибудь из школы увидит! Век — тебе не оправдаться, а мне — краснеть.

А дело все было, конечно, в очень простом и по-прежнему очень трудном в отношениях между людьми, даже — близкими, а незнакомыми и подавно: кому платить. Она очень не хотела, чтобы он тратился из-за них, ей от этой мысли уже было неловко. А дать ему свои деньги — тем более. Она стеснялась и понимала, что он обязательно откажется. Со своей стороны Аркадин опасался отказом подчеркнуть, что денег у них мало.

Они договорились, что Вера пробудет у подруги, сколько нужно, и возвращаться Аркадин будет без нее, не дожидаясь.

Вера сидела в автобусе возле окна, и, если смотреть на отражение, кончик ее носа прыгал над головами прохожих, от одной макушки к другой.

Аркадин сказал ей об этом, и Вера рассмеялась. По смеху Аркадин понял, что ей лучше и эта проклятая минута ушла от них.

По смеху очень много можно узнать.

Возвращение его оказалось кстати.

— Бессердечные! Изверги! Христогубители! Без души вы, бессовестные люди! Она вам всю душу выдала! Поила и кормила! Воспитывала — от себя плоть отрывала: не доедала, не досыпала, не додыхала..

— Не допивала. Хватит, тетка Настасья! Иди-ка из дому прочь. Ну, распоясалась, фашистка! Иди-иди!..

Горгона — тетя Настя — бушевала. Коростылев по голосу оставался спокоен. Плакала Манька. Ванька перехватил Аркадина в коридоре и потянул за руку:

— Дядя Коль, выгони ягу!

Она стояла у порога, раскрыв дверь, чтобы ее слова на весь дом слышны были, и уже показались первые слушатели. Анафема мате-реотступникам удавалась на славу.

— Гадина! Плохая гадина! — закричала в глубине комнаты Манька.

— Не лезь, Мария! — перебил голос Коростылева. — Положи на место! А то встану!.. Уйди ты, Настасья. Детей не расстраивай. Уходи... — И он закашлял надрывно.

Для тети Насти Аркадин появился неожиданно, она отшатнулась, но он остановился и сказал негромко:

— Дверь — с той стороны — закройте за собой тихо.

Тетя Настя не вышла — вылетела, но дверь прикрыла совершенно осторожно и бережно.

— Что случилось, Аким Феофанович?

— Э, Николай Гаврилович, — откашлялся Коростылев. — Это хорошо, Веры-то еще нет! Даже Мария на что — а и та замахивалась.

А старшая куда вспылчивей, да и сильнее — предмет тяжелее бы схватила... Прислала наша письмо, денег требует. Нам прислала и Настасья, как говорится, копию экземпляра. Пьет ведь она и там — что судейские меры! — вот и финансы нужны. Приезжал из тех мест гастролер по родственникам, он и рассказывал. Все равно пьет. Семейного совета у нас пока не было. А эта пришла, и сразу ультиматум! Ну да ладно... Манька, ополосни лицо-ка! Иван — руки мыть! И стол давайте организуем.

Накрывал под присмотром Коростылева больше Аркадин. Маньку и Ваньку усадили за стол, чтобы избежать неприятностей. Поскольку в первую же секунду случилась некоторая суета, а Ванька при этом разбил тарелку. Не хотели его огорчать еще раз.

Все-таки совсем хорошо, что не было Веры.

— Вот так, — сказал Коростылев, как кончили собирать, — будет у нас первый наш пир. А то у нас было, да не мы... Маня-Ваня, идите Веру повстречайте. Пора ей.

Дети ушли, не мешкая.

— Пока они на улице, мы поговорить можем. Вы приходите — вы же один и есть, с кем словом приятно перекинуться. Народу у нас бывало — десятками. За нашей занавесочкой сидим, а там — нечистоты речевые, пьянь. Вообще ненавидишь, что дар такой есть у человека — говорить.

Коростылев рассказал письмо. Аркадину показалось, что написано оно пьяной, посмотрел — строчки и впрямь — одна другую перепрыгивали.

Поговорили о жене Акима Феофановича. Собственно, они несколько лет как разведенные. Ну, а жили вместе — все-таки мать при детях должна быть. Иногда у нее бывали минуты с человеческим сознанием, понимала все. Можно сказать — мирились тогда. Надолго — не хватало ее.

— Она продавщицей была. Ну и появились люди через эту работу какие-то: у них даже шутки — все вокруг бутылки. Чуть что — бутылка! Спор — бутылка! Радость — бутылка! Поехать за город — бутылка! План выполнили — бутылка. Чуть под машину не попал — бутылка! Всю жизнь бутылками меряли. Я ее в другой город тянул, подальше от этих. Так она же здешняя. Не хочу от родины ехать! И родственники вцепились. Эта Настасья — целый родственнический ООН против меня организовала, и до развода она довела... А что у нас кончилось все — и к лучшему. Из-за всего у нас Вера школу еле-еле тянула. А Манька чуть и вовсе не осталась на второй год. А может, на самом деле поможет? Все-таки труд...

— И что за напасть — пьянство! Аким Феофанович, а? Чем больше думаешь о причинах — меньше ясного.

— Нет тут ничего сложного. Уйдет оно, когда все люди людьми будут.

Приехала Вера.

Их маленькое празднество задержало Аркадина до позднего вечера, и было ему на нем хорошо. Смеялись, говорили — о чем только не говорили! О кино, будет ли построена Берингова плотина, сколько лепестков у ромашки, каких пород кошки бывают, попутно — стоит ли бояться черных... За эти часы от сердца Аркадина отвалился огромный кусок ржавчины.

Как время вышло окончательно, а Манька и Ванька стали позевывать, он собрался уходить. И не пересилил решимость Веры проводить его до остановки. За ее настойчивостью он наконец заметил, что ей это важно было.

— Я мать не люблю, понимаете? — жаловалась на себя Вера с коростылевским «понимаете», в котором Аркадин чувствовал не вопрос, а просьбу: «Очень важно, чтобы вы все поняли». — Я не могу себя заставить любить. Не любить — нехорошо очень! А знаете, что Ванька сказал: «Негуманно!» Слово же знает!! Нет, очень неправильно — не любить свою маму. И заставлять себя — я не могу. Какая же любовь — заставлять себя. Наверное, хуже всего — ведь обманываешь. Понимаете?

Они с нею попробовали выяснить, что же главное в отношениях между людьми. И сошлись, что иногда есть горькая необходимость любить из тех, кто рядом: из родных, из соседей, товарищей по работе или из класса. И можно глубже полюбить человека, виденного всего несколько раз, а то и однажды. Какая-то связанность должна быть, от сердца к сердцу, не то чтобы прямая, но непрерывная линия должна соединять эти точки, без нее все теряет значение. Даже если — мать!

— Папа у нас говорит, что никогда не надо так сразу: плохо, хорошо. Плохо и хорошо — это крайности, самые-самые края. А между ними ведь много-премного еще есть. Он говорит: чем больше у тебя оценок, тем лучше. Тем, значит, ближе к правде будешь. Это у дураков все просто — или плохо, или хорошо. Вот... Может, нам помочь ей? А может, мне самой туда поехать? Хоть на денек?

— Вот поправится Аким Феофанович и поедет...

— Я его никуда не пушу. Я за него боюсь: очень сильно стал болеть. Его в больницу увезут.

— Он сильный, Вера, его по характеру видно. Такие со всем справляются. Он поправится скоро.

— Скорее бы уж...

Через месяц Коростылев умер.

— Аркадин! Пойдите! Пойдите! — окликнули его с другой стороны улицы. Аркадин присмотрелся — кто бы мог подумать: директор! — Я вас тут жду!

Директор вылез из машины и пошел к нему, не дожидаясь, пока на мостовой станет безопаснее, и его объезжали. Возможно, уступая твердости его шагов и его уверенности, что непременно будут объезжать. Его никто даже не обругал.

— Егор Матвеевич помог. Вот — нашел я вас... Вы меня извините, Николай Гаврилович...

— Пожалуйста, — сдержал улыбку Аркадин.

Не так уж часто директора извиняются. К тому же директора с таким твердым шагом и с лицом, как у этого, — прочным, застегнутым. Не так уж часто производственно-хорошие директора извиняются.

— Думаю, наш разговор был не закончен. Хотя — нам важно не закончить, а — решить.

— Я решил давно. Сознаюсь честно.

— Давайте говорить спокойно. Ну да — давайте говорить спокойно, — стал уговаривать директор сам себя. — Поговорим просто и спокойно... Ну, что же выходит — я выслуживаюсь, я плохой, мне бы только свой кусок отхватить?

— Вы не о себе, о плане, по-моему, хотели поговорить.

— Да, о плане!.. Ну да — о плане. Как вы любите: о планах! Институтском, треста, государства... Давайте найдем меру: как разде-

лять в нашей работе свое, треста и общегосударственное. Давайте поймем друг друга... Ну я обиделся на вас немного. Но если говорить так, как мы с вами говорили до этого, то обязательно получается: вы хороший, я — плохой. Вы — за народные интересы, а меня — пусть там речь и обо всем институте! — только мои собственные волнуют. Нужна мера...

Какой-то не очень ловкий прохожий толкнул директора, соблаговоллив бросить через плечо «пардон», а директор даже не заметил.

— Вам ясно? Мера, Николай Гаврилович!

— Да вообще-то мы ее уже назвали.

— Что же?

— Интересы института, треста и общегосударственные.

— Не понимаю вас.

— Да просто — всех.

— Мера?

— Истина!

— Что вы хотите этим сказать? — на всякий случай спросил директор, честно пытаясь уразуметь.

— Каждый, кто работает в институте, он и в государстве. И, пожалуйста, в тресте. Государство не разделено на тресты, институты, стройки. Одно. Оно их имеет, и не больше.

— Николай Гаврилович, я вас уважаю. Я знаю, что и вы ко мне относитесь с уважением. Что бы там ни случилось между нами. И вот я вас прошу сказать откровенно: ну кто с вас спросит?

— Может быть, никто.

— Да не может быть, а — никто! И никогда! Я-то хорошо знаю. И вы, слава богу, давно работаете, конечно, присмотрелись. Мы еще не дожили до тех времен, когда с нас будут требовать по-вашему, как бы вам хотелось.

— Может быть, не дожили.

— Ну так зачем вам?

— Не знаю.

— Ну чему вы улыбаетесь? Честное слово!.. Ваши бы принципы — всем. Я же их понимаю, ценю. Я же думаю, как и вы. Только смотрите, что же будет. Переходящее зная у нас отнимут. На совещаниях и в руководстве скажут: «Плохо вы поработали, товарищи!» Обо всех нас — скажут. Обо всех! И мнение создастся соответствующее. Банк изменит отношение. А про все эти жилищно-путевочные комиссии и трансмиссии и говорить нечего. Отстающие? Нате вам похуже. Вы в горькоме, конечно, выиграете. Конечно, горьком поддержит вас. А кто пострадает? Весь коллектив института, все — от уборщиц и до каждого сотрудника. Ваш отдел — тоже...

— У вас, простите, зубы не болят?

— Что?

— Вы морщитесь так.

— О чем вы думаете?!

— И морщины сразу видно.

— Ну, спасибо! Мне только за этим стоило вас по всему городу разыскивать.

— Ваш аргумент: я против всего института. Согласен. Возвращаем его вам: а институт против стройки? А на стройке народу, со всеми душевными и недружелюбными потребностями, во сто раз больше. И им тоже надо выполнить план. А за стройкой — целый комплекс, который скоро всего за один день, только один — вы предлагаете протянуть их несколько — будет давать государству, и, бог знает, во сколько раз больше, чем мы потеряем сейчас.

— Ну не я же придумал всю эту отчетную систему! С нас за сегодня спрашивают!

— Ну и не я.

— Так что же вам тогда?

— А я не хочу потомков обкрадывать. Предкам нашим уже ничего не надо, современники найдут, как рассчитаться с нами, и постоят за себя. А потомки — их нет, а им — надо.

— Нет, я вас совсем не понимаю!.. Нет, трудно.. Я одно, вы — другое... Вы же абстрактно думаете! Вы конкретных вещей не видите! Или не хотите видеть!

— Я так же подумал о вас.

— Вы опять улыбаетесь! Вы же взрослый человек?

— Увы, на пенсию скоро.

— Не очень-то заметно... Улыбаетесь, когда мне больно и обидно. И когда завтра всему институту — хоть в слезы!

— Я — нечаянно.

— У вас какие-то... какие-то детские шутки! Ужимки, извините!

— Я вспомнил самого серьезного из несерьезных людей.

— Вы можете вспоминать кого вам угодно! Ваше дело и — право. Но вы не имеете права забывать об институте, в котором сами несколько десятков лет! Которому сами столько сил отдали!

— Его звали Дон-Кихот Ламанчский.

— Николай Гаврилович, я вас очень прошу, оставьте все как есть. Не надо затевать этой истории с горкомом. Вы забываете: отдел не ваша вотчина, удельное княжество, а один из моих отделов — в конечном итоге им руководит мой приказ, а не ваш. В конце концов ваша совесть совершенно чиста! Я в любую минуту берусь подтвердить, где угодно — чистая! Я беру все на свою совесть. Слышите — на мою.

— Дон-Кихот в своем последнем бою, сбитый с лошади и перед угрозой смерти, сказал: «Никогда не отрекусь от истины, хотя и бессилен защищать ее...» Были времена, когда я тоже не мог защищать, а все-таки — не отрекался. А уж сейчас — тем более ни за что!

— Ох и строптивый!.. Когда вы на пенсию пойдете, я попрошу профсоюз поставить вам памятник перед институтом. А пока — за малейшую промашку, вы у меня будете получать самые строгие выговоры! До свидания!..

Хоронили Коростылева.

«Наверное, мы не очень-то верно умеем хоронить. Наверное, смерть, последний путь должны быть такой же светлой и чистой тайной от посторонних, как рождение, как и первый. Тяжело и мучительно. Как бы красиво ни умирал и как бы торжественно и пышно ни хоронили, грустно видеть человека таким беспомощным и — пустым. Будто и не было ничего никогда у него. Будто и не нужно ничего ему было. И не скажет он, когда скорбящие и оттого неловкие друзья качнут гроб на лестнице раз-другой: «Невежливо!» И не крикнет он шоферу катафалка: «Сукин сын! Тебе бы дрова возить!..»

Мало или совсем нет — уважения. Зрелище. Да еще и за счет мертвого или его родных.

В том, как мы хороним, есть что-то неправильное и непоправимо вредное для живущих».

На кладбище были Аркадин, Вера и Лидка, соседка Коростылевых. И отряд родственников, собранный тетей Настей. Вера ушла так резко и неожиданно, что лагерь тети Насти сказал ей вслед не-

сколько вполне ожидаемых от них слов. Вера побежала в конце аллеи. Лидка бросилась догонять. И вместе они уехали домой.

Ванька и Манька томились с утра у Тяжелниковых. Хозяева старались, как могли, но Аркадин застал детей вялыми.

Он повел их гулять.

День был традиционно июльским: жаркий и от духоты неимоверно длинный. Манька и Ванька — грустно покорные — дали увести себя в парк, потом тихо и безаппетитно ели торт-мороженое в кафе. Пришли в «Детский мир», только они ничего не захотели купить.

Тогда вернулись в парк.

Остановились у автоматов — выпить газировки. Манька начала пить (медленно, без желания), и раздраженная дама, полная, с большими вырезами на платье, крикнула: «Ну, побыстрее! Девочка! Быстро!» Ничуть не поторопившись, Манька глянула на даму из-за стакана. Такой взгляд — даже эта, исповевшая, одуревшая от жары женщина что-то поняла. И отступилась немедленно.

Манька, мужественно спокойная.

Бессмертными нам стоило бы стать хотя бы для того, чтобы не мучать своей смертью близких и друзей.

Пообедали в столовой. И опять ходили по парку. Устали и сели возле реки. Ванька толкал в воду щепки. А Манька все молчала.

— Мария! Мария! Мы еще сделаем тысячу нужных и добрых дел, слышишь? — сказал Аркадин, страдая оттого, что среди множества своих умений никогда не узнал, как и чем утешать детей. — Нужно как солдат на фронте: вот погиб друг, совсем рядом, и — самый лучший. А останавливаться нельзя — атака! В атаку идем. Плачешь от горя, но нельзя останавливаться. Плачешь от горя, а все равно — вперед! А по нашему времени — мы все еще в атаке. Вот так, Мария.

Хуже утешения для девятилетней девочки вряд ли придумаешь, Аркадии это понимал, и ничего другого не придумал. Что прикажете говорить, если видишь: девять лет, а она чувствует и переживает боль, как взрослый?

— Держись, как солдат.

— А я не плачу, — тихо ответила Манька. — И не буду плакать. Никогда...

Ванька кидал камни в свои щепки-корабли. Бултых — и мимо! И злился, что не попадал. Разговаривал сам с собой. Корабли были фашистские.

Сидели очень долго.

Здесь под вечер их разыскала Лидка.

Ее звали Лидия Серафимовна Коршунова. А все — только Лидка. Есть правила такие сложные: нечего девчонку восемнадцати лет, да еще и маленькую такую ростом, тонкую, звать как взрослых и обстоятельных людей: по имени-отчеству. Лидка поселилась в городе недавно, после медучилища.

А Лидка тургеневская девушка. У нее глаза большие и серьезные. А в них свет. Очень хороший и мягкий, как у закатного солнца. Смотрит ими — как будто хочет всем броситься помочь — и просит при этом, чтобы ей обязательно разрешили, не возражали. Коростылев звал ее — сестра милосердия.

Лидка привезла от Веры пирожки и наказ возвращаться домой. Пирожки ели все вместе, потому что, оказалось, Лидка весь день на ногах и без обеда.

Манька вслед за Ванькой спустилась к воде.

— Что там, Вера? — спросил Аркадин.

Лидка сбросила туфли, вытянула ноги на траве и вздохнула немного, при этом улыбнулась извинительно: очень-очень устала и все-таки стеснялась показывать усталость.

— Вера очень сильная. Очень хорошая девочка!

— Донецкие Коростылевы так и не приехали?

— Знаете: пришла телеграмма. Сегодня поездом поехала жена брата Акима Феофановича. Это же сколько дней будет, пока она придет! А я им давно дала телеграмму, чтобы прилетали скорее. Аким Феофанович еще жил. Простились бы. Поездом! Надо же...

Перед смертью Коростылева Аркадин приходил к нему в больницу. Коростылев был плох неимоверно: ему, казалось, и лежать уже тяжело. А дышать — труд непомерный, в последние силы, на самом окончательном их пределе.

— Если что, — сказал он Аркадину, — вы посмотрите: вместе ребятам быть. Я одного хочу, чтобы мои все вместе были. Я брату написал. В Донбасс. Взять их. Думаю, возьмет. У нас с ним не очень-то было, в пять лет — письмо. Но все-таки брат. Устроит у себя. А не возьмет, так они и сами проживут. Квартира есть, пенсию дадут за меня. Только хором бы все. Сделайте — не разлучили бы их. А там и мать, может, вернется. Человеком. Посмотрите за ними. Хорошо? Понимаете, в детском доме разные комнаты, спальни, классы — это уже не вместе.

— Мне, Николай Гаврилович, эти, из Донецка, не нравятся, — хмурилась Лидка, следя за Манькой и Ванькой. — Аким Феофанович про них рассказывал. Они такие, что себя не обижают. Свой дом большой у них, сад большой тоже. Свиньи, куры. Огород по всем куркульным правилам: не только для себя, а и на базаре продать. У них из-за огорода, сада, хозяйства ни на книги, ни на кино нет времени.

— Это еще ничего не значит.

— Нехорошо это.

— И почему не прилетели, не знаем. А раз не знаем — значит не судьи.

— А я чувствую, Николай Гаврилович. Вы знаете, тетка Настя уже с ними переписывается. Я слышала, у них план: Ваню в Донбасс увезут, Машу какие-то родственники здесь берут, а Веру — в детский дом. Они ее все не любят.

— Это может быть неправдой, Лида.

— Я точно разузнала! Всю правду — точно. Я сказала себе: да я в самые высшие комитеты пойду, чтобы не дать им так!

— Пойдем вначале к закону. Есть же Правила и порядки для таких случаев.

— Правила и порядки? За нас будет одно какое-нибудь правило и порядок, а за них — почти все. Они же «чистые» — родственники! А мы кто?... Если бы нас школа поддерживала, какой-нибудь комитет домовый, писатель известный. Никто же. Так что же вы? — нам скажут. — Почему это вы — хлопчете?

— А нам больше всех нужно.

— Вот-вот... Я уже отдохнула, Николай Гаврилович. Честное слово, отдохнула.

И они пошли домой. К Вере.

Солнце село за их спиной.

Ванька хотел есть. Но не признавался, что — очень. А захотелось ему после пирожков очень-очень.

Манька тоже хотела есть. Спать — еще больше. А больше большего — Кляксу подержать, и чтобы в постель ее разрешили с собой

взять. И ни одного из этих желаний не выдавала, была спокойной и сосредоточенной. Она слушала, о чем говорили Аркадин и Лидка, Ваньку придерживала на тормозах, чтобы не перебивал их своими «А что это?», «А почему?»

— Я ничего совсем не знаю в жизни, Николай Гаврилович, — говорила Лидка. — Меня очень легко запутать — что хорошо и плохо. С толку сбить — каждый, кто захочет. В училище диспуты устраивали — я сбегала с них: боюсь ученых разговоров! Но я, Николай Гаврилович, все чувствую, и — правильно. Вначале я слабо чувствую, так себе — немножечко догадалась, а потом сильней. И вот — все мне ясно: почему там плачут и кому помочь надо, посоветовать, поддержать. Ни разу не ошиблась. Я все чувствами узнаю и понимаю.

— Вобщем-то все это интуиция.

— Это все, что я говорила, на форменное кокетство похоже? Ненавижу себя за это: получается как кокетство.

— А я не подумал так. У меня, Лида, с кокетством маленькая история в Москве была. Ехал в троллейбусе. Вечером поздно. И стоит возле кассы женщина, просит: «Не бросайте, пожалуйста, если у вас медь». А у меня не четыре — пять копеек: пятак. Отдаю. А она — «Подождите минутку, я вам копейку сейчас найду». Я возражаю: «Да не надо. Подумаешь, деньги!» Она на меня посмотрела укоризненно — «Не кокетничайте, пожалуйста!..» Даже стыдно стало. Славный человек! Помню, она сошла возле гостиницы «Урал».

— Ее, наверное, звали красиво, — тихо сказала Манька.

— А я, Николай Гаврилович, очень хочу, чтобы каждый имел душу и сердце. Самые хорошие душу и сердце.

— И я, Лида!

Возле дома стояла тетя Настя, встретила их причитаниями:

— Эх, пропадут дети! Пропадут без матери! Пропадут!..

«...На этом мы заканчиваем 205-й выпуск «Бюллетеня розыска родных». За справками по передачам «Бюллетеня розыска родных» и «Найти человека» вы можете обращаться по адресу: Москва, радио, Пятницкая, 25...»

Аркадин выключил транзистор, переставил на подоконник и поспешил к Тяжельникову на вызов.

— Ну, что ты задумал, Николай Гаврилович? Дело чрезвычайно трудное. Ей-богу, ничего у тебя не выйдет. Трудное дело. Давай-ка поговорим. Устраивайся.

Аркадии сел на привычное место за «заседательный» стол.

— Выйдет.

Тяжельников взял со стола конверт и вытащил письмо.

— Вот взгляни: на тебя «телега». Беллетристика! Шедевр анонимной литературы. Почитай.

— На более приличную литературу не хватает времени.

— Смелое обличение твоих пороков. Вот это пришло на имя директора. Так сказать копия экземпляра — в партбюро. Подписано — группа жильцов. Сиречь: доброжелатель. Между прочим, это твое большое счастье, что без подписи.

— И его, автора, — тоже. Не знаю, что там написано, но знаю, что есть Гражданский кодекс. Пора с ним знакомить и доброжелателей.

— Я тебя ознакомлю все-таки с письмом. Избранные места. Сейчас ты вздрогнешь. Так... пропустим все твои злодеяния, замышляемые — тоже. А вот: очень пикантное. Представь себе — член нашего коллектива, гражданин Аркадин соблазняет и растлеивает девицу —

некую Лидию. Каков! Поскольку она одинокая и, конечно, беззащитная. И даже — подчеркнуто — пользовался ею. Пользовался, а? — Тяжелников рассмеялся вяло. — Чтиво — ослепнешь!

— Егор Матвеевич? Поручено разобраться?

— Разобраться? Женить бы тебя на ней. Если в самом деле есть такая — Лидия. Свадьбу — за наш счет, из фонда директора. И успокоился бы ты окончательно. И детей тебе тогда, может быть, и отдали бы. Условия... Я звонил юрисконсульту, знакомый жены, ничего у тебя, брат, не получится. Детей жаль, правда, но ничего не сделаешь. Не заваривай эту кашу.

Тяжелникова оторвал телефон, и после каких-то удачных переговоров рассмеялся веселее:

— Пользовался. Экое выражение серьезное! Солидное. А я думал: ты девушкам уже только в друзья годишься.

— Волна сексуальной революции и до нашего института докатилась наконец. Давай по делу, а то уйду.

— Ну кто ты этим детям? Ты же — с улицы. Зря нервы переводишь, тратишь себя. Мне так даже хорошо: меньше на совещаниях ерепенишься. Что ты хочешь — на троих счастливых больше сделать?.. Кому это нужно? А ты подумай еще и вот над чем: тебе уже скоро пятьдесят. Детей не имел. Думаешь, легко их растить? То-то!..

— Егорыч! Старая пепельница! Ты всего дела не знаешь: их раздирают в разные стороны. И знал бы: нельзя этого делать. В конце концов это хорошая и по-хорошему святая воля покойного.

— Последнюю волю в папку не подошьешь.

— Егор, надо доказать: нельзя их разлучать. Тем более, нет никакой необходимости. Если доказывать — поймут.

— Добрым надо быть искренне. Начатое дело доводить до конца. Правда — бог свободного человека. Жить нужно так, чтобы перед смертью не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Наконец человеку надо быть ясным духовно, чистым нравственно и опрятным физически... Продолжать? Все это — доказанные истины. Кому их доказывать? Вот ты сейчас как раз и занимаешься: доказываешь доказанное. Твердишь: несправедливость рядом — я должен помочь. Помогать надо, когда можно помочь.

— Ну что же, жестоко, но верно.

— Да, но это не все. Ты с ветряными мельницами сражаешься. Пойми, уразумей!

— Ты сегодня монологами говоришь.

— Воспитываю. Бесполезно, кажется.

— Развиваешь ораторские способности, между прочим.

— Вот-вот, только-то одни ораторские способности.

— С одной стороны, Егор Матвеевич, мы все устроены одинаково, а с другой — все мы разные: кому ветряные мельницы мерещатся, а кто рядом жизнью рискует. Ты не замечал?

— Врукопашную идешь?

— Нет, за доказанными истинами. Все, что ты наговорил, — тебе доказано, а для многих других — едва-едва или вовсе нет. А по мне доказанная истина. — понятая и принятая каждым навсегда.

— Не могу тебя понять! С тобой, что ни разговор, философский семинар получается!

Тяжелников глядел на отражение его лица в полировке стола и не узнавал друга. Лицо, если смотреть снизу вверх, очень меняется, и самого близкого знакомого не узнать. Новый ракурс.

Вдруг ворвался посетитель и, пока шел трудный диалог заказчик — подрядчик, Аркадин стоял у окна, думал о себе, о Коростылеве, о

своих затерянных родственников, краем глаза наблюдая за Тяжельниковым и вошедшим.

— Кто это был?

— Из геологоуправления. Беспокоится от суеты. Мы все сделали. Тянули, правда, долго. Он по инерции к нам попал. Я уже звонил по его делу... Я об этих ребятах подумал. Что же их мать — от нее ничего? Она-то знает?

— Писал сам ей. Дважды. Тишина.

— Да, пьянство, пьянство... Не живет нормально людям. Чего им надо? Зачем из жизни комедию устраивают?

— А по-моему, Егор Матвеевич, спился человек — это всегда трагедия. И всегда за это есть кого бы и судить.

— А тебе не приходило в голову, Николай Гаврилович: дети, какими они вырастают, — это же наше зеркало. Мы на этой табула раца записываем все наши подвиги, добрые и недобрые. И какими они к жизни приходят и начинают жить — все это мы. И тут что-то надо делать: пора судить за всякое мало-мальское калечение детей. И в этом смысле я понимаю тебя. А вот зачем тебе ввязываться в совершенно безнадежное дело, понять не могу. Ну зачем?

Аркадин посмотрел на часы. Разговор с директором — занял чуть ли не четверть часа! По-прежнему пешком идти — опаздает. Без него торжество, разумеется, не начнется, и простят. Но плохо изменять себе, твердому правилу — не опаздывать и не заставлять себя ждать.

И подошел автобус, остановка почти рядом. Аркадин побежал. И, как только запрыгнул, и тело наполовину втиснул, машина тронулась. Дверца не закрывалась. «Задняя площадка, пройдите, пожалуйста!» — сказал шофер в микрофон.

— Граждане! — крикнула широкая спина, в которую Аркадин упирался носом. — Выдохните, пожалуйста, на одного человека!

— Держись, дядя! — сказали Аркадину. И через его голову кто-то дотянулся до дверцы и сильной рукой помог закрыть.

Ничего, дышать можно. Свободнее, чем с иным человеком всего вдвоем на целую округу...

— Держитесь, Николай Гаврилович, — сказала Вера и руку протянула сверху. Они спешили к поезду, лезли напрямик, через пути, ныряли под вагоны и под окрики путевых рабочих. Влезли на перрон со стороны путей.

— Держись сама. Вот как не найдем...

— Беда большая! Она подождет. И хорошо! Встречать такую — с оркестром, что ли? Я у них была с папой, видела. Знаете — она толстая дура! Это сам папа и сказал дяде Пете, когда уезжали. Два дня — больше не выдержали у них. И дядя Петя такой же стал с ней, папа сказал. А она нас — ни провожала, ни встречала. Она — кулачиха.

— Ну, увидим сейчас. К тому же не обязательно дуры — толстые.

Сунулась было на перрон и неутомимо враждебная тетя Настя, заметила Аркадина и пропала бесследно.

Алампиева Евсипинья Даниловна, жена дяди Пети, брата Коростылева, которую они ждали, вышла одной из первых, вытолкнула собой и своими чемоданами самых первых. Лунолика, охающая и ахающая при каждом случае и — без него. Умеренно полная.

— Тетя Евся. Возьмите мои чемоданы.

Аркадин представился минут десять спустя, с трудом втиснувшись в ее многословие...

— Ах, Верочка! Миленькая! Какое несчастье! Мы так переживаем за вас! Аким Феофанович был такой хороший папа! У вас за чай, оказывается, дороже берут! Верочка, а где же остальные детки?

Тетя Евся к Аркадину отнеслась положительно, о здоровье спросила. Вера отошла вперед, едва та захотела погладить ее.

— Ах, дорога была ужасная — духота, кушать нечего! На станциях ничего не продают, в ресторане дорого, и готовят — невозможно есть! Мужчины курят! Анекдоты неприличные! Ах, как деток жаль.

Тетя Евся восклицала непрерывно и — очень восклицательно поставленным, натренированным голосом.

— А мы так любим их! Такие славные дети! Какое несчастье! А почему у вас фрукты? Говорят — дорогие? Ах, детям обязательно нужны фрукты! А у нас — дешевые. У нас сады, сады. Ох, у нас с мужем такой большой сад — еле справляемся. Детей нет, хоть друзей зови на помощь. Выбываемся из сил! Боже мой, как выросла Вера! А вы, как это говорится, — большой начальник? И много получаете, наверное? А мы, ну что мы! Ах, я — бухгалтер, Петя — инженер. Бьемся еле-еле концы с концами сводим. Того хочется, другого. А все дорожает — спекулянты дороже берут. Ох, по целому году копим, чтобы купить какую-нибудь хорошую вещь! Мы так волновались за ребятешек! Как они пережили? Ванечке на следующий год в школу? Можно я буду держаться за вашу руку? Какая ужасная толкучка! Как в Одессе! Вы были в Одессе? Город ужасный! Там обманут, обсчитают любого! А говорят, вы хотите взять остальных детей к себе? Ах, вы знаете, им обязательно женская рука нужна! Кто лучше женщины воспитывает детей! Вы понимаете, конечно? Какая Верочка стала красавица! Женихи скоро будут! Алампиева — моя девичья фамилия. А мы уже пятый год на машину собираем, и все не хватает! Какой-то тысячи не хватает! Ах, как прекрасно иметь машину, правда? А у вас черная «Волга», конечно?

Вместе со своей девичьей фамилией, мечтой о машине и двумя огромными чемоданами она остановилась у Коростылевых. И начала с инвентаризации, все, что было у них, осмотрела и записала на бумажку. Потом сказала, что Машенька тоже стала совсем взрослой, погладила по голове Ванечку и принялась вслух решать, где ляжет спать.

Оставалось только уйти.

У Аркадина настроение сделалось беспросветно скверное. У члена райисполкомовской комиссии, зашедшего к этой минуте провести Коростылевых, — приподнято-деловое. Алампиева согласилась взять к себе младшую девочку. Ну, а старшая, рассуждал этот член, уже достаточно взрослая. Немного в детском доме побудет. А там — на производство пойдет, замуж выйдет. И может забрать младших, если захочется...

Аркадину было тошно это слушать.

«Самодовольство. От достатка и сытости. Тупое самодовольство животного».

Утром — Вера ушла — тетя Евся ударила Маньку. По лицу, наотмашь. Та отказалась ехать с нею, тетя Евся прикрикнула, что и не собирается слушать ее, тогда Манька обозвала ее толстой дурой. Она ударила.

Вера появилась к обеду, узнала, побледнела и закричала:

— Уходите! Куда хотите! И не думайте даже — никто с вами не поедет! Уходите вы! Мачеха! Мачеха!

Под вечер, к приходу Аркадина, тетя Евся уже сидела у тети Насти, они говорили о черствости чужих детей, как к ним душевно не подходит.

— Николай Гаврилович, я не отдам их! Никому не отдам! — с самой взрослой болью (если только можно делить боль на взрослую и детскую!) сказала Вера. — У меня руки будут отрывать — не отдам! Никаким комиссиям не отдам! С милиционерами придут — не отдам! Николай Гаврилович, ну почему нас не спрашивают? Как мы хотим, не спрашивают. Почему даже вас не спрашивают?

«Да, этот вечер!.. За окном висели тучи тяжелые, как кирпичи. Холодно. Гнетуще. Вера заплакать порывалась. Я бормотал: «Постой, Вера! Ну, крепись, Вера!» Уговаривал надеяться на лучшее. Боялся, как бы Манька и Ванька не заревели вслед за нею».

Ванька сам по себе принимался несколько раз реветь.

У Маньки — сухие глаза, напряженные и оберегающие свою боль. Видеть их было тяжелее всего. Она держала на коленях Кляксу и гладила.

Задержавшись у Коростылевых допоздна, он разбудил и поднял из постели Тяжеленькова среди глубокой ночи.

Тяжеленьков с первого, более менее проморгавшегося взгляда понял, что у Аркадина важное и откладывать разговор на утро никак нельзя.

— Ну, выйдем давай, — не очень еще своим голосом сказал он. — Не будем тут гудеть. Квартиры — одна проницаемость. Все проникает, прости господи! На улицу пойдем.

Тяжеленьков шел впереди в майке и в пижамных штанах. Во дворе на детской площадке он остановился и сел на краешек песочницы. Закурил.

— Сейчас... Проснусь.

— Я думал, будет все просто, как день, — заговорил Аркадин. — Приезжаю, собираем все добро, его и немного совсем, и едем все ко мне...

— Ну, нет! Давай сначала.

— Что?

— Вступление какое-нибудь давай.

— Хочу ребят забрать к себе.

— Забрать? Ну хорошо. Дальше.

— Я думал все просто будет: они хотят и я хочу. И у нас хорошая коммуна будет!

— Так.

— Комиссия не дает!

— Так, ясно.

— А тут еще приезжает родственница — живодер. Хочет младших к себе, сад пахать там, а старшую, непокорную, в детдом! Раздирают ребят друг от друга, как щенят!

— Так. Тоже — ясно.

— И ничего не сделаешь: за всеми родственниками закон. А за законом — родственники! Никому и в голову не придет, что они, дети, хотят!

— Я предупреждал, брат... Как-то должны учитывать. Это обязательно... Прости, зевнул.

— Ради ребят я всю комиссию перешерстить готов.

— Горячий ты... Начнешь — оставь место и для себя.

— И для тебя оставлю. Скажут: знал и не предупредил.

Тяжелников достал вторую сигарету и долго присматривался, куда бы окурочек бросить.

— Черт! Площадка детская! Хоть бы детскую урночку поставили!

И закопал в песок, поглубже.

— Думаю, Николай Гаврилович, в суд надо. Суд во всем разберется.

— Суд разберется... Ну что ты, Егор Матвеевич! Суд — последнее дело! Все до суда должно разбираться. Раз правила есть — они до конца правильные должны быть!.. Суд и засудит меня, незаконного. Будешь потом передачу носить...

— Николай. Слышишь, в горком пойдем, поможем. Поверь, будет правда! Все пойдем и поможем, слышишь? Тут несправедливо решат — пойдем выше.

Тяжелников понемногу просыпался, Аркадии успокаивался. Они говорили вполне тихо, со вздохами и остановками, как могут говорить два пожилых да еще и уставших человека.

— Ну что за законы, правила, когда по ним может дурак явный правым оказаться? И выиграть дело. А тебе — локти кусать, — сказал Аркадии.

— Не локтями работай — головой, — ответил Тяжелников. — И что ты так антизаконодательно настроен?

— Ну, скажи, это по-человечески? Я сидел у ребят — в глаза им не могу глянуть.

Аркадин прервался, чтобы отобрать у Тяжелникова третий окурочек.

— Ну-ка выкапывай. Оба.

— Ну, что ты!

— Копай.

— Николай, ну...

— Доставай. Тут дети играть будут. Это песочница, а не бочка с песком.

— А кошки гадят — ничего?

Аркадин отнес окурки за дом, на улицу.

— Там вполне приличная, взрослая урна. Твоя мечта. И не опрокинутая. Прямо возле «гастронома» и не опрокинутая.

— Спасибо за службу.

— Тебе же нельзя туда — в пижаме... А я — идею придумал!

— Заметно. Лицо пуще фонаря светится. Но я боюсь твоих идей. Придуманных! Завтра я буду у кого нужно, посоветуемся там... Я сейчас еще сигарету пропущу. А ты понесешь до урны и — передумай. Хорошо?

— Я сам ее боюсь.

Вверху стукнула рама. И раздался голос:

— Когда вы перестанете? Безобразие — всю ночь шепчутся, целуются! Безобразие! Хулиганы! Я ваших родителей найду! Спать не дают! Шепчутся! Целуются! На гитарах бренчат... Идите немедленно отсюда!

Автобус был полупуст, и Аркадин прошел вперед.

— Садитесь, — встала ради него молодая женщина. — Садитесь, пожалуйста.

— Извините, не буду, — буркнул он.

«Вот так, Аркадин! Тебе даже руку протягивают — поддержать. Как это, оказывается, может быть обидно: уже уступают. То, что уступают — хорошо. Но уступают — мне. Мне! Старый...»

И Аркадин немедленно стал проталкиваться туда, где места для детей и инвалидов. Уж там-то не будут усаживать!

«Да, идея была — с кромешного отчаяния».

Тетя Евся из Донбасса согласилась. Переговоры состоялись в ресторане. Аркадин приехал за нею на черной «Волге». Был предупредителен и очень любезен. Обслуживание в ресторане прекрасное, скатерти чистые, готовят неплохо. Заказы, которые сделал Аркадин, щедрый. Впрочем, большой начальник — большая щедрость.

Тетя Евся не уступала в приветливости. Оставаясь по-купчески, скрытно настороженной, с уверенностью, что Аркадину есть очень определенный интерес заполучить к себе Коростылевых, может быть, — жилплощадь расширить.

Разговор их вился вокруг разных скромных пустяков, по холмам самой цветущей любезности и внимательнейшего взаимного прощупывания.

Аркадин потихоньку нагнетал ужасы одинокой старости, неизбежной для него. Ага! — появилось раз-другой на ее лице. И Алампиева платила ему тяготами своей семейной жизни, тоже — бездетной, да еще и заполненной изнурительными заботами о хозяйстве, о муже (хозяйство — прочно на первом месте, муж, как следовало из ее слов, на заднем плане, поскольку беспомощен и исключительно бестолков, дай ему волю — по миру пошли бы). Коньяк помогал обоим живописать ярко и — в желательных красках.

— Да, страшно тяжело расставаться с теми, кого любишь, как родных, — произнес Аркадин трагически упавшим голосом, подступая наконец, через час-полтора, к главному.

Спротивляясь опьянению, Алампиева рассеяннo и точно сердцем чувствовала всю скорбь собеседника, вздохнула:

— Ах, это ужасно! Ужасно!

— Евсипиья Даниловна... Мы с вами, думаю, уже научились понимать друг друга... Скажу вам прямо, по-мужски: вы стоящий человек, с вами можно без лишних, знаете, предисловий. Давайте обсудим: я предлагаю вам, так сказать, отступную. Тысячу рублей. И вы уезжаете.

Какого-нибудь подвоха Алампиева ожидала давно, такого — нет. Она поправила прическу, переложила вилку, рюмку отставила, покрутила пепельницу.

— Сколько? — спросила она, еще протягивая время.

Аркадин повторил.

— Новыми? Ах, простите, привыкла к старым. Никак не отвыкну.

— Конечно, новыми.

— Я... согласна. Предварительно, вы понимаете. Муж... Я позволю мужу. Вы знаете — жизнь связывает людей.

«Ну, хорошо, что — связывает. Она могла бы сказать — дорожает», — устало подумал Аркадин.

— И деньги — все сразу?

Аркадин посмотрел на свои руки — пальцы подрагивали, опустил на колени.

— Да.

«Омерзительнее дня за всю жизнь не было!»

Предстояло торжество.

Договорились на восемь. Аркадин вошел в кафе, когда где-то рядом приемник отстукивал проверку времени. Вид, правда, немного послеавтобусный. Приводя себя в порядок, Аркадин поднялся в зал,

у дверей назвался, и ему показали заказанный столик. Каково! — первый! Что-то непонятное.

Официант сообщил, что никакой ошибки нет, что был уже один молодой человек и что он просил не беспокоиться, все чуть-чуть задержится. Как выразился, по техническим причинам.

Это Ванька. Затекает что-то, не может без того! С Манькой тоже все ясно — она «задерживается» известно. На консультацию и не подумала пойти, просидела в парикмахерской утро. Потом приехала все-таки в институт и там торчала часа два на своем «психодроме», где сейчас успешно болтают о том, кто и как принимает, а попутно — еще о несусветно огромной тысяче вещей. Может быть, сбегала потом в читалку, сделать вид, что сессия для нее — самое главное. И через полчаса исчезла — встретила кого-то или ее кто-то встретил — сто лет не виделись! Потом еще несколько таких же важных «потом». В последнюю минуту хватится и помчится. И, наверное, уже на полпути торопит таксиста: «Миленький скорее! Миленький, бабушка тяжело больна! Пожалуйста, поскорее!»

А Вера — задержался рейс, аэрофлотские козни. Ничего другого быть не может. Если Ванька не втянул в свою авантюру.

Сколько прикажете ждать?

Через пять минут Аркадин встал. Ему подсказали, где телефон — в дальнем углу зала.

«Дома сейчас Собченко, дома и негде ему еще быть. Чахнет над своими сундуками филателистических сокровищ!»

— Добрый вечер! Виктора Сергеевича, пожалуйста!.. Виктор Сергеевич! Аркадин. Только что с директором переговаривался... Да, да, знаю твое положение. Но скажи наконец определенно — поддержишь?.. Ничего не через голову! Кому же я звоню — секретарю партбюро!.. Рад. Союзники нужны... Ну, не может быть, чтобы нас не поняли. Рано или поздно...

Аркадин разговаривал довольно долго и закончил, когда заметил, что за ним очередь.

— Виктор Сергеевич! Закругляюсь: очередь. Мы договорились?.. До завтра!

Аркадий почти натолкнулся на мужчину, резко вставшего из-за стола, и через несколько шагов обернулся: знакомое лицо!.. Лицо — наследственного интеллектуала, светится умом и снисходительным безразличием!..

— У вас зрительная память — уникальная! Да, представьте себе: это был я. Я в те века учился на журфаке, факультет журналистики в Московском университете. На газетном отделении. А сюда — я на практике был. Попастъ на практику в ваши далекие края — у нас трудно, конкуренция самая высокая! Мне повезло... М-да! Какая забавная встреча! Я собирался создать судебный очерк — шедевр советской журналистики, не меньше! Специальный анализ, социопсихологический взгляд, пафос, метафоры. В редакцию — мешки писем... А дело — помните? — пустое было. Три недели так просидел, почти всю практику, и один хлам: коммунальные и семейные ссоры, кляузы, разводы, пьянка. Ни одного интересного дела! Время прошло — материалов нет, практику еле-еле засчитали, тройку натянули, и то — мерси!

А ныне вот — другим оценки ставлю. Планида командировочная — попал к вам, местное телевидение инспектирую. Творческая помощь и немного профессиональных, тележурналистских нотаций. Я уже телевизионной журналистикой занимаюсь. Газетная умирает. Будущее за телевидением, социологические исследования подтвердили. А еще замечательнее — все новое, место поискам, открытиям. Представляете,

устоявшейся теории жанров даже нет! Кончил факультет, там же аспирантуру и кандидатскую защитил! Недавно книгу мою выпустили «Жанры телевидения». Разобрали сразу, а мне до сих пор звонят, просят из авторских экземпляров. В сентябре поеду в Страсбург — прочту несколько лекций в Международном журналистском центре. На английском, конечно. В Европе все прекрасно владеют двумя-тремя языками. Но у них и возможности! Перелетают из страны в страну, как мы Москва — Ленинград. Мы же долбим в вузе один по пять лет и еле-еле с продавщицами объясняемся, если случается поехать за границу. А сейчас без знания двух-трех языков просто делать нечего. В науке особенно...

Речь бывшего молодого человека лилась непрерывным, бодрым, хорошо отлаженным потоком. Как водопроводный кран. Каждая секунда рядом с ним старила Аркадина с тяжелой силой. А мысли — цепенели.

— Извините, — сказал Аркадин. — Спасибо большое.

«Черт бы побрал всех этих преуспевающих людей!»

Уже явились хором Коростылевы. И стояли вокруг огромной корбки. Официант показывал им, куда он отошел.

— Николай Гаврилович! — крикнула негромко и замахала рукой Вера, высокая, стройная и красивая, инженер Вера, — Николай Гаврилович! Родной! К нам! Немедленно, слышите?

— Николай Гаврилович! — позвала Манька (принцесса шпаргалок и танцев). — Миленький! Вы только посмотрите! Какой подарок мы притащили вам! Грандиозный!

— Кому? Кому? — подошел Аркадин.

— Знаете что, — сказал рослый Ванька, отодвинув Маньку, — рассказывайтесь, пожалуйста!.. Маня, миленькая! Тебе на ногу наступить?

— Ванечка, чудесный, я нечаянно...

— Так вот, — не выпускал решительно бразды Ванька, — во-первых, у меня очень поздравительная телеграмма от Лидии Серафимовны. А во-вторых, приступим... Я хочу сказать: поднимем бокалы и сдвинем их разом! Да здравствуют музы... Маня, не улыбайся, ты к ним никакого отношения не имеешь... Да здравствует Николай Гаврилович! Ну и в последнюю очередь — я!

Празднуется Ванькин выпуск, Иван кончил школу.

А Вера прилетела с мужем. Хороший парень, спокойный, а глаза — ершистые, но смеются, немного нос — крупноват. Так ведь все равно — хороший парень.

Коростылевы, его Коростылевы отправились в жизнь, — разве не торжество?



Валентин ФЕДОРОВ

ТОННЕЛЬЩИКИ

ОЧЕРК

Старая аямская дорога — как верблюжьих горбы — с крутыми спусками и подъемами. На гору поднялись — одна погода, спустились в ложбину — другая: то стынь и морось, то сплошной туман, то солнце с белыми тугими облаками, то мороз и снег. Две тысячи метров над уровнем моря — высшая точка. Автобус ведут два шофера, меняясь каждый час, — требование техники безопасности.

Тут в высокогорье Южной Якутии, преодолев тундру, болота, быстрые речки и непроходимую тайгу, проляжет Байкало-Амурская магистраль, устремившись в последнем рывке к нерюнгринским углям.

В одном месте 1250 метров дороги пройдет под Становым хребтом.

Строители тоннеля Нагорный, так будет он называться, живут в поселке Новая Золотинка. Недалеко, по крутому берегу речки Иенгры, стоит Старая Золотинка — база крупного оленеводческого совхоза. Старой Золотинке уже пятьдесят лет. А возраст Новой исчисляется пока еще месяцами.

По мареву брусники и зарослям стланика строгим порядком расставлены разноцветные вагончики, коттеджи, щитовые бараки Новой Золотинки. Главная улица рабочего поселка — Тоннельная — широкой просекой врзалась в чернокорую лиственничную тайгу, оборвалась у склона. Под склоном, собираясь из начавших таять снегов, точно вызванивая льдинками, гремят холодные весенние ручьи, сбегая в своенравную таежную речку Холодникан. К заветным икрометам поднимаются по ней стаями ленок и хариус, и какой уже десяток лет фартово промышляют старательские артели — моют золото лотками и гидравликами.

И Новая и Старая Золотинки — на золоте.

Портал строящегося тоннеля — производственная база тоннельного отряда № 16 треста БАМтоннельстрой — в семи

километрах от поселка. Это еще один поселок со специфическими строениями, почти на самой вершине Станового. Отсюда так далеко видно окрест, что чудится, будто видишь край земли.

Главный инженер тоннельного отряда Юрий Дмитриевич Сиротин, небольшого роста мужчина, с седой, будто облепленной снегом, головой, странно уставившись, долго смотрел на меня. Потом тихо сказал:

— Извините. У нас несчастный случай. Проходчик на Северном портале погиб. Размыслов Юрий...

— Мы сюда работать приехали, — говорил торопливо мне Гена Кропоткин, шофер, которому Сиротин поручил отвезти меня в поселок. — И Юра Размыслов работать приехал, но он какой-то особый был среди нас. Какое ни затевается доброе дело в поселке или на работе — Юрка его придумал. Вроде без него тут ничего бы и не делалось. Красавец был парень, здоровяк. Семьянин отличный. Не любил, когда люди ссорились, мирил сразу... Я вывозил Юру из тоннеля, когда прибыл туда по сигналу тревоги с врачом. Его придавило трехтонной призмой, вывалившейся из лба забоя, когда он перезаряжал перфоратор. Вез я его бог знает на какой скорости в больницу. Но что было толку: он не мучился — умер мгновенно.

Допоздна в этот день говорили мне в общежитии ребята о Юре Размыслове, словно ждали этого момента, чтобы рассказать и как бы этим увековечить образ его в людской памяти.

Юра работал электриком, плотником, пока не велась проходка. Он очень любил фотографировать. Гитаристом классным был. Втроем Собирались они в общежитии: Юра Размыслов, Иван Заболотный — секретарь комитета стройки, проходчик с Северного портала, Петр Охрименко — плотник-бетонщик, с первого колышка начинал он с Размысловым Новую Золотинку. Собирались, устраивали концерты.

Юра хорошо рисовал. В Железнодорожном шахтоуправлении он до БАМа работал художником. Мечтал, как пробьют тоннель, поехать на Чукотку и там поработать как следует. Готовился в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Хлопотал все с Иваном Заболотным, чтобы ребятам в Новой Золотинке не было скучно. Радиоузел оборудовали. Семнадцатого апреля днем Юра обратился ко всем ребятам с просьбой: у кого есть лишние пластинки, принести ему в радиоузел. У кого был день рождения, поздравил от имени парткома, профкома и комитета комсомола, пожелал доброго здоровья. Исполнялись любимые песни именинников. В десять вечера Юра ушел на смену, а в два часа ночи его не стало.

— Я уезжал с БАМа в Алма-Ата, домой. Вернулся снова сюда. Вернулся из-за Юры Размыслова, совестно стало перед ним, что оставил стройку. И, чтоб искупить вину свою, я десять человек друзей с собой привез, — Петр Охрименко вздыхает. — Есть люди, к которым тянешься, с которыми куда угодно пойдешь. Обаяние в них такое. Юрка был очень порядочным и очень любил детей. Если он не на смене и не с ребятами, в общежитии, то обязательно гуляет где-нибудь со своими детьми — Олечкой и Олежкой, совсем еще крошками...

Петр достал из чемодана фотографию. На месте Новой Золотинки два вагончика. На бревне сидят строители. В путанице стланика тумбочка, возле нее два стула — президиум. Первое производственное собрание строителей Новой Золотинки. На оборотной стороне фотографии надпись: «24 июня 1975 года. БАМ. Первопроходцы. Дашь поселок — дашь тоннель Нагорный».

— Фотографировал Юра. Он мечтал создать кинополь и вести летопись стройки.

— Спасти Юру Размыслова было невозможно, — рассказывал Иван Заболотный. — Перед нашей сменой в тоннеле был произведен рабочий взрыв — подготовлен для нас фронт работ. Пока вентиляторы высасывали пыль, электрики провели свет в забой. Оборочными ломами мы обстучали породу, убрали висячие после взрыва камни. Оборку произвели очень тщательно, у проходчиков это закон — никаких заколов не оставлять. Закол — это стронутый взрывом, но не упавший камень. Что затаившаяся мина — эта висячая глыба в забое, не видишь ее и не знаешь, когда она сыграет. После приборки мы забурили четыре шпура, установили на них рабочие полки. Уже стоя на полках, убрали мелкие заколы. И приступили к бурению забоя. Четверо было нас на полке — Парфенников Алексей, он обуривал лоб забоя, Веселков Саша помогал ему, поддерживал штангу. Я бурил шпур. Юра Размыслов стоял крайним на полке, слева, на всегдашнем своем месте. У него что-то барахлил мосток-перфоратор, и он

менял его. Внизу, под полками, Леонид Морозов, наш звеньевой, грузил породу в автомашину и смотрел за кабелем, после того, как принес Юре Размыслову промытый мосток-перфоратор. Гольтявин Александр закрывал воздух на перфораторе Размыслова. Саша Веселков попросил у него масла — молотки плохо шли. Гольтявин хотел пойти за маслом, был еще лицом к Юре, ко всем нам, когда увидел, как упала глыба и пробила полки... Повисла пронзительная тишина. Мы бросились спасать Юру, тросом зацепили глыбу, машина отвалила ее, но...

Провожали Юру Размыслова пасмурным апрельским днем. Шел мелкий сырой снег и таял на дороге, крася ее в черный цвет. На траурном митинге выступали парторг, главный инженер. Скорбные слова их развновали всех.

Слово взял Баженов, забойщик из звена Размыслова:

— В эту ночь мы собирались выйти на цикл. Юра предложил, — голос Баженова дрогнул, сломался, по лицу побежали слезы. Он крикнул, торопясь: — Проходчики клятву дают — будем работать за себя и за тебя, Юра! Тоннель мы построим. Обещаем тебе!

Скорбно ревели клаксоны автомашин и невыносимо щемило сердце, когда автобус с цинковым гробом тронулся в сторону Чульмана. Родители Юры Размыслова захотели похоронить сына на родине жены — в Железнодорожном... И тоннельный отряд закупил самолет для такого необычного рейса.

Вся Золотинка вышла проводить Юру в последний путь.

Тоннель Нагорный впервые в нашей стране строится в вечной мерзлоте. Породы — камень, глина с прожилками льда, очень трудные для проходки диабазы. Можно было обойти Становой, но тогда бы строительство дороги на этом участке обошлось на три миллиона рублей дороже. Время еще покажет, как далеко смотрели проектировщики, взяв для работы именно это инженерное решение. Суть его не только в экономической эффективности.

В первом квартале 1977 года через тоннель, еще не сданный в эксплуатацию, должны пройти первые рабочие поезда с грузом. На полтора года раньше плановых сроков взялись строители временно открыть тоннель.

На Северном и Южном порталах, где работают соревнующиеся между собой бригады проходчиков Анатолия Скотникова и Степана Воронина, еще висят плакаты, написанные рукой Юры Размыслова, призывающие к этому. Бригады соревнуются за право последнего взрыва в тоннеле перед встречей проходчиков Северного и Южного порталов.

В эти весенние дни, когда я жил в Новой Золотинке, до этого праздника было

еще далековато. На Южном портале забойщики остановились на отметке 180 метров, на Северном — отметка значилась на восьмидесятом метре. Оставалось пройти еще тысячу метров.

Обрядив меня в сапоги сорок четвертого размера, — меньшего размера в бытовке не нашлось, — Володя Гузеев, проходчик из бригады Анатолия Скотникова, ведет меня по тоннелю.

Мрачная холодность камня, еще совсем недавно не знавшая света и воздуха, пугающе давит со всех сторон. Под анкерными болтами в металлическую сетку одет свод тоннеля — предупреждение от возможных обвалов, и все равно идешь по тоннелю с тревогой.

— Потом на сетку ляжет бетон и тоннель примет вид инженерного сооружения. Не будет в нем красоты Московского метро, но и не будет этой дикой пугающей мрачности. Володя Гузеев идет впереди меня и популярно обо всем рассказывает.

Володя опытный проходчик. Проходчик — ас. А вообще-то говоря, он и прекрасный взрывник и умеет красиво ставить арки в тоннеле, и электросварщик первой руки.

Когда Володя закончил одиннадцать классов, у него была мечта отслужить в армии и двинуть в моря, поглядеть белый свет, познать трудности. Проверить на себе силу земного притяжения. Письма писал в Клайпеду, во Владивосток, на Камчатку, в Одессу. Штук двадцать их разослал. Ответы приходили однотипные: «Матросы пока не требуются». Поступил временно на шахту в Донецке, следил за подземными дорогами. Был крепильщиком на погашении, закрывал выработанные забои, выбирал из них металл. В 1971 году дружок соблазнил его поехать в Усть-Илим, там как раз строили дренажный тоннель. И попал он проходчиком на выучку к Анатолию Скотникову.

— А к Скотникову попал — не уйдешь, — Гузеев улыбается в окладистую бороду, поправляет каску. — Магнитом к нему тянет. Понимаешь, когда он работает, видишь ясно вдруг, чего сам ты не достиг, и желание добиться этого появляется. Красиво умеет он работать. Кто с Толиком столкнулся в деле, считай, прилип навсегда. Его бригада почти вся сюда с Усть-Илима переехала. Голобородько Алексей Иванович, Толя Молокоедов, Скотниченко Володя, Саня Петрашков, Паша Зелинский. Много тут ребят с Усть-Илима...

— Тоннель пока не в одежде, — прервавшись, продолжает рассказывать Гузеев, — без бетонного покрытия. Свод его, видите, неровный, выглядит диковато, без умственной красоты. Но кто понимает в нашем деле, сразу определит изящную работу даже сейчас по «непричесанному» его виду. Сами забойщики с Северного портала приходят поглядеть на наш тоннель. Толик научил нас этому. Он себя для

работы нисколько не жалеет. Убежден я: со временем нашему Толику Золотую Звезду Героя Труда дадут. Заслуживает.

Мы возвращались с Володи из забоя, хлюпая по холодной рыжей воде.

— Кому это ты прочишь Звезду Героя? — спросил Гузеева главный инженер, шедший нам навстречу с мастером участка.

— Толе Скотникову, — ответил Гузеев не смутившись. — Что, возражать бы стали?

Сиротин промолчал. Главный инженер считал Анатолия талантливым бригадиром. Но к Скотникову что-то заладили корреспонденты, и это смущало его, не испортили бы парня. Мне он советовал упор в очерке сделать на бригаду Северного портала — Степана Арсентьевича Воронина, заслуженного строителя Узбекской ССР.

— Евладов у нас взрывник, Володей звать. Толковый парень, — уже знакомил меня с ребятами из бригады Гузеев. — За тридцать минут успевает раскидать запальчики по шпурам. А их в каменном забое насверливается масса. И так раскидает, ни одного прострела, ни одного пыха-чиха. Взрыв так взрыв, прямо как на войне, двух или трехступенчатый. Порода ложится только в забое, не разбрасывает ее. И отвал у него всегда большой, больше метра. Как он, черт, только эти шпурь понимает? Как в какой взрывчатку положить — низко, высоко! Со стороны же они вроде бы все одинаковые. А ему нет. Видит перекося, глубину.

Другой взрывник отпалит и целый день сидит в будке, задумавшись обо всем человечестве, Евладов всю смену наравне с нами работает. И старший брат Евладова — Валерий — в тоннельном отряде у нас работает инженером. С Колымской ГЭС они к нам приехали. Давно уже вместе со стройки на стройки кочуют. Оба семейные. Проходчики рано обзаводятся семьями.

Главный инженер с мастером вернулись из забоя. Подошел к ним звеньевой смены.

— Что с водой-то будем делать? — спросил.

Сиротин посмотрел на сапоги звеньевого, на свои, блестящие от влаги выше колен, сказал:

— Много водички у вас. Рыть зумпф надо. И насосами выбрасывать ее оттуда к чертовой матери. В такой забой я больше не разрешаю ходить. Никому. Ясно?

— Раскачка у нас сейчас небольшая, — говорил Гузеев, когда мы, переодевшись, пили в душноватой бытовке горячее молоко. — Нет пока проходки. Скоро, ждем, придут две буровые рамы японской фирмы Фурукау — пойдем сразу по всему профилю тоннеля. Быстро пойдем. До 180 метров будем давать проходки в месяц. Ребята едут в Москву на курсы, учиться управлять буровой рамой. Вернутся они с курсов, придут японские специалисты, и начнем собирать эти рамы. Наверстаем упущенное. Еще как наверста-

ем. — Володя махнул рукой. — Утешаю себя. Все равно, забойщик, если он не работает под землей, будто с левой ноги встал. Не хорошо ему и все. Равновесия душевного у него тогда нет. Толик, наш бригадир, в этом плане всем нам пример. Он хоть где будет — работа у него всегда на уме. В самой близкой для памяти нервной клеточке. Не так давно ездил он в отпуск, побывал у родителей, поехал бы отдохнуть еще куда-нибудь, было время, да нет, завернул в Усть-Илим. Там есть бригадир Владимир Данилович Остапов. Идеал Толика. Как мы к нему липнем, так и он липнет к Остапову. О работе ему потолковать захотелось с ним, посоветоваться.

Возил Толика Владимир Данилович по знакомым местам, говорил: «Это без тебя сделано у нас, это при тебе. Помнишь, тут заросли диких маков были, красное море тюльпанов. Форель-моринку мы с тобой ловили по ручьям на кузнечиков. Сейчас здесь Нурекское море. Вот какое чудо сотворил человек. Боги мы, считай. Боги! А какое у тебя теперь дело, Анатолий Макарович?» — «Дело великое, да, признаться, идет плоховато», — ответил Толик. И рассказал Остапову все как есть. А у нас тогда организационная неразбериха была. Московский Метрострой у нас главк, а они в таких породах сроду не работали. И многое было не предусмотрено, не хватало нужного оборудования, нужной технической мощи. Когда наконец стало оборудование подходить — запчастей к ним днем с огнем не найдешь.

Остапов повел Толика к своим товарищам. И нагрузили те ему сумку подшпаниками, манжетами, салниками. Глаза у Толика горели, будто бриллианты ему сыпали. Это же такой дефицит! Едва с места сдвигал Толик сумку с драгоценностями. И надо же случиться, в Иркутске у него жена заболела неожиданно. С аэродрома на скорой помощи в больницу увезли ее. В заботах этих на какие-то минуты Толик забыл про сумку, а вспомнил, сумки и след простыл — украли.

Лучше б деньги у него украли. Ну все, что у него есть, что нажил семейной жизнью. Побежал он в милицию. Такую пропажу, сказали ему там, нам не найти. Мы ценности ищем...

Нужно было нам с Володией идти на ЭВМ-ку, спецавтобус, ехать в поселок. Но Гузеев не торопился. Хотелось ему выговориться, поделиться своими наблюдениями.

— Если так вот обойти тоннель — продолжал он, — навести ревизию всем ее механизмам, много тут всяких новшеств можно записать на баланс Толиной мудрости. Как у нас попервости работала погрузочная машина непрерывного действия ПНБ-ЗК? Ни к черту! Однажды приходим — она переоборудована и так это полненько, аккуратной горючкой порода по транспортерам идет. С самого начала мы шпурь забуривали перфораторами, удер-

жи-ка в руках сорок килограммов. Пришли самоходные буровые установки СБУ-2. Внедряли их — мучились. Потом работали в удовольствие. А это бурение «всухомятку»! Из забоя выходили на свет божий, как из мельницы. Смешно, а мы анкеры, которыми крепится защитная сетка под сводами, забивали кувалдами.

Невероятно далеким кажется теперь все это. Но ведь было, было так оно. И совсем недавно.

Володя немного волнуется, режет воздух правой рукой, трогает бороду. Успокоившись, говорит:

— И еще вот о Толике. Мы сначала так работали — каждое звено самостоятельное. Четыре звена — четыре смены. Единой бригады не было. И каждое звено, единственно, отвечало только за себя. Кому пришла в голову такая система, не знаю. Только дело от этого страдало. Дошло до того, что мы из-за буровых штанг так перессорились, что и здороваться друг с другом перестали. Тогда наконец решено было создать сквозную бригаду. Проходчики этому очень обрадовались. Стал немаловажный вопрос: кому быть бригадиром? Начальство предложило свою кандидатуру. Продумано у них было все. А мы свою — называем Толю Скотникова.

— Хочу спросить вас, — Гузеев смотрит на меня. — Что, по-вашему, значит такая единодушная поддержка коллектива? — И сам отвечает: — А то значит, что плохому человеку такого коллективного доверия не будет.

У нас проходчик есть — Алексей Рубцов. С Рудного на БАМ приехал. Проходчик широкого профиля. С мозгами человек. Мы с ним иногда рассуждаем, каким должен быть бригадир. Рубцов мне всякий раз ставит в пример бывшего своего бригадира на Рудном. Он все нахрапом у них брал, криком, стуком по столу. Боялись его и начальство, и снабженцы, и в бригаде. Такой был — в дверь его выгонят, он через окно влезет. Понимаете, какой?! У нас ведь если за производство с хамством впереди, то считают, порой, что и одергивать такого человека вовсе незачем. Не за себя же лично, дескать, он воюет. И буйствует такой «радетель» за государственные интересы, кровь другим портит. А Толя у нас, не то что ругаться непечатно не может, а и злиться вроде бы не умеет. На переднем плане у него улыбка и слово обходительное. И никогда не было, чтобы бригада от этого проигрывала. Ну, разве плохо, что не бывает он раздражительным, что не командует нами, а убеждением действует? Это же высшая квалификация руководителя, говорю я Рубцову. «Да», — соглашается он. — «Что же тогда тебе не нравится в Толике?» — спрашиваю. — «Все нравится. Но построже ему следует быть». А Толик интеллигент у нас. Рабочий интеллигент. Он остро чувствует, как вянет душа у человека, когда ее равновесие окриками хотят поддержать...

Бригаде Анатолия Скотникова по итогам работы за первый квартал этого года присвоено звание бригады имени XXV съезда КПСС. В трудном соревновании с бригадой опытного тоннельщика заслуженного строителя Казахской ССР Степана Арсентьевича Воронина завоевано это право.

Скотников живет в щито-сборном бараке по улице Тоннельной с женой Лидой и шестилетним сыном Мишей. Жена у него рабочий — маркшейдер. На всех стройках работала она в бухгалтерии, здесь пошла в тоннель. Было трудно стройке, и хотелось ей позвать своим примером жен других проходчиков, чтоб те не сидели дома, а шли помогать мужьям. Но ни одну женщину после нее на подземные работы больше не пустили.

Десять лет без малого Анатолий Скотников строит тоннели. Первый его тоннель был в Нуреке — километровый. А пришел он на него сразу после службы в армии по комсомольской путевке. Потом был трехкилометровый через речку Вахш. Бил он штольни на Вершинке в Хабаровском крае с Нижне-Амурской экспедицией геологов. Но уже тянуло строить тоннели. И, когда прочитал в «Строительной газете» объявление, что Братскому строительному управлению треста Гидроспецстрой нужны проходчики на Усть-Илимскую ГЭС, обрадовался и немедленно написал туда письмо. Пришел, конечно, положительный ответ. Как было не взять опытного проходчика. И махнули они с женой в Усть-Илим, потратив всего полдня на сборы. Тогда они, привыкшие к кочевой жизни, особенно ничем не обзаводились. Приехали в Усть-Илим, проходки еще не было, зато били тоннель в Железногорске, отводили там железную дорогу под сопку. Пошел туда. Потом строил гидротехнические тоннели через речку Коршуниху. В Железногорске родился сын. Впервые заимели постоянную квартиру. Потом был Усть-Илим. Квартиру пришлось оставить, когда услышали про БАМ.

— Большой это праздник, когда соединяются в один ствол оба начала тоннеля, — говорит Анатолий. — Проходчики обнимаются, слезы на глазах. Идет шумное братание. Строгие жены ждут их дома к застолью... На Усть-Илиме дважды мы стыковались с мизерным расхождением забоев, почти шпур в шпур. Это высшее счастье — инженерно точно провести стыковку. Приезжайте посмотреть, как будем мы стыковаться на Нагорном. Сбойкой называется этот момент. У всех людей бывают моменты высшего счастья. Но люди не многих профессий проявляют восторг по этому поводу так бурно и открыто, как проходчики тоннелей.

Слушаю я Анатолия и все больше понимаю теперь, как случилось, что все три брата его, уже устроившиеся в жизни люди, один за другим потянулись за ним и стали проходчиками — строителями тоннелей. Работали с ним на Усть-Илиме, а

теперь вот вместе переехали семьями сюда — на БАМ.

— Тоннель Нагорный — трудный орешек. — Скотников приводит простое сравнение: — Степан Арсентьевич Воронин в Ташкенте на строительстве метро за месяц проходил с бригадой до ста сорока метров, здесь больше шестидесяти не взять. Капризна и коварна вечная мерзлота. Вот сейчас нас вода одолевает на Южном портале. На Северном не знают, что такое лужа, слякоть под ногами, а мы прямо купаемся... А зимой тут что творится: ветрище на портале — с ног сдувает. Якут — местный ветер — куролесит так. На работу и с работы только на вездеходе. Трудненько, что и говорить, дались нам первые метры Станового. Настораживала эта вечная мерзлота. Нужно было проверить, как поведет себя гора, когда из нее душу начнешь вынимать. И сначала мы врезались разведывательной штольной всего три на три метра диаметром, прошли срок семь метров в каменном мешке. Вручную, скрючившись в три погибели, задыхаясь от пыли, бурили и грузили породу, вручную выкатывали вагонетки. Весь этот эксперимент достался нашей бригаде. На Северном забуривались на два месяца позже и без эксперимента. Было уже сравнительно ясно, как ведет себя мерзлота. Мнение ученых — во что бы то ни стало надо «сохранять» холод, одевать своды в целлофановую пленку.

Разговор этот с Анатолием у нас был утром 9 мая. Потом мы ходили на митинг, посвященный Дню Победы, на который собралось много народу. Анатолий вспомнил отца, ростовского шахтера, который чудом уцелел на войне. И, когда мы возвращались домой, в задумчивости сказал:

— И в мирные дни, случается, человек, как в бою, погибает. Для нас смерть Юры Размыслова — смерть в бою! Да! У меня такое со старшим братом Василием случилось на Усть-Илиме. Жизнь — всегда бой. А в нашем деле элемента опасности не избежать. Может ничего и не быть. А может и случиться непоправимое, как с Юрой.

У Скотникова собрались на лбу морщинки, немо двинулись скулы.

— Когда мы построим тоннель, придумаем с ребятами, как увековечить память о нашем товарище, погибшем в этом трудном бою...

Через час тесная комнатка Анатолия Скотникова была набита битком. Пришли ребята из его бригады — почти все двадцать девять человек сразу. У тоннельщиков нет пока ни своего клуба, ни даже красного уголка, встречаться негде. Пришел в гости главный инженер. Все еще были под впечатлением митинга. И затеялся разговор о войне, минувшей три десятка лет назад, об утратах, которые она принесла. Никто из присутствующих не воевал, кроме отца Володи Евладова — Александра Михайловича, он приехал к

сыновьям на побывку из Таштыгола и уже не раз заходил к Анатолию Скотникову, пришел и сейчас. Ребята шумели, клеймя тех, кому война на руку. С плеча решали, вгорячах, некоторые международные проблемы.

Александр Михайлович утихомирил всех словами:

— Горько это, ребятки, что вы друга не уберегли. Но и как было уберечь его вам... Трудовой бой ради лучшей жизни на земле, он — тоже без крови не бывает. А у вас особенно. Помянем давайте Юру и всех тех, кто погиб в бою.

Выпили. Помолчали. И Евладов старший сказал еще, волнуясь:

— Завидую я вам, ребятки. И, однако, решил: приеду работать к вам. Не возражаете? В отдел кадров. Нужен вам там до зарезу человек. С Владимиром Савельевичем уже разговаривал...

— Ура-а-а! Качать Евладова старшего! — кричали озорно ребята. — Качать!

— Стоп! — остановил ребят Евладов старший и обнял Анатолия Скотникова. — Его вот качайте, ребятки! Володька мне про него много рассказывал.

По-спортивному подтянутый, стройный, сидел Анатолий Скотников среди ребят своей бригады, и на лице его были написаны дружелюбие и большое уважение к ним, душевная расположенность. Он думал о чем-то своем, чему-то улыбался и, наверное, не слышал последних слов Евладова старшего.

Александр Михайлович протиснулся ко мне. Морщинки на его лице от ощущения молодости расправились. Молодцевато выправилась осанка.

— Вот семидесятилетнего старика соблазнили работой, черт их подери, — заговорил он. — А я-то думал, что никому уж не расшевелить моей души. Снимаюсь, голубчик, с пенсионного якоря...

Утром большая группа проходчиков вместе со своими бригадами, специалисты других служб шестнадцатого тоннельного отряда треста БАМтоннельстрой уезжали в Москву на курсы, чтобы, вернувшись оттуда, повести стройку в новом ускоренном темпе.

Уезжал с ними и Анатолий Скотников.



ЖИВОЙ ОГОНЬ

ОЧЕРК

Иван Петрович, пока завалку печи проводил, по сторонам не очень-то оглядывался: от завалки зависит, как долго просидит плавка в печи и какую получишь сталь. А это уж гордость и честь сталевара. Потому и сосредоточил Линник все внимание на печи — примерялся, куда лом уложить, и все спешил, чтобы печь не остыла. С завалкой затянул, — и полчас, час потерял, нагоняя температуру, разогревая печь. У другого сталевара при этом выдержки не хватает — время-то жмет — он и налегает на огонек, на всю катушку отваливает горючего, время, на завалке потерянное, наверстывая. Вот и получается, то форсунки запалил, то насадки, а то и свод поджег. При завалке глаз да глаз нужен.

У Линника такого не случается. Правда, иной раз не может он объяснить, почему поступил так, а не иначе: сделанное не укладывается в формулу и в инструкции. Такое, наверное, бывает в любой работе, у любого мистера, и здесь, считает Линник, говорит и человеку талант. В данном случае, в искусстве варить сталь, талант нужен — понимание дела, чутье.

«Вот у Ваняки — талант, — отметил Линник и урывком глянул в сторону Трегубова, сталевара первой печи. — Талант!»

А талант не каждому дан. Другой всю жизнь у печи протолкается, институтское образование имеет — все знает, а сталь варить, как следует так и не научится. И что не плавка у него, то беда. Сам мучается и людям голову морочит. Для человека важно найти свое место в жизни, найти себя, определить точно, на что ты способен.

Пока завалка печи идет, Линник кружится по площадке, как коршун, — взгляд пронзительный, движения быстрые, то вдруг свистнет по-разбойничьи лихо, покрывая грохот огня и металла, и уже все взгляды скрестились на нем: и подручные, и крановщик, и машинист завалочной машины смотрят на него, что скажет Линник. Тут уж не зевай, тут держи уши топориком: за малейший промах распекает виновных Линник, неделю потом будешь ходить глаза в землю.

Еще раньше, перед завалкой, Иван Линник сам каждую мутью осмотрел и сейчас точно знает, куда в печи разместить ее содержимое: где лом помассивнее, погружнее — в самый жар его, помельче —

можно и дальше от огня и побольше слой нагрузить. И поглядывает, чтобы машинист не ошибся, чтобы в означенное место все выложил. Иван лезет чуть ли не в красный зев печи, гнется в три погибели от съедающей жары. Толстого суконого костюма — специальной одежды сталевара — Линник не признает. На нем костюме с двумя разрезами по бокам, отслуживший свое старшему сыну Ивана — Борису. Сейчас Борис учится в Москве на журналиста-международника — вот куда пошли Линники!

Костюм тонкий, легкий, в нем не так жарко, как в робе, и от огня бережет не хуже сукна. А может, сказывается его давняя привычка к огню?

Он помнит, как в далеком сорок третьем, впервые ступил на рабочую площадку под этот грохочущий, казалось, неукротимый, взбунтовавшийся огонь. Как почувствовал его жар, и инстинктивно, согнув руку в локте, прикрылся от него — жест, который потом вошел в привычку, жест всех сталеваров. Прикрылся от огня, но так, чтобы видеть его. Тогда это случилось механически — сработал защитный рефлекс. Закрылся не для того, чтобы, оберегая лицо и глаза, видеть огонь и знать о нем все, что должен знать сталевар, ведущий плавку. Огонь, пламя, бушующее в печи, рвущееся из-под заслонки, показалось тогда ему живым; ревом своим, напористостью, оно как бы вызывало на схватку. А схватка, борьба, желание помериться силами в борьбе — это в крови у Линника. Отказаться от схватки не позволяло достоинство первого деревенского заводилы.

— Эт по нам... по мне! — громко прокричал он мастеру, который взялся научить его варить сталь. И тот положил свою ручищу на еще неоформившееся, но уже крепкое плечо ученика:

— Добро, хлопче, добро.

И судьба была решена.

Потом, переполненный впечатлениями от увиденного, он писал домой, что устроился на «Амурстали», и звал братьев в город.

И братья не замедлили явиться: коли Иван зовет, значит, разумеет дело.

Их — Линников — семеро братьев, и у каждого свой характер, каждый из них — личность. И каждый в своем деле мастер, что Николай — старший из братьев, что Степан или Петр. Василий в последнюю

войну отличился, а Григорий на трудовом фронте двумя орденами отмечен: орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени имеет. Иван Линник у печи без малого тридцать годов простоял.

Если кто из читателей имеет представление о сталеварах, как о людях рослых, недюжинной физической силы, то Иван Линник смутил бы их своим отнюдь не гвардейским видом; другое дело Иван Трегубов, тоже сталевар, друг Ивана Линника. У того и рост — под потолок, и грудь что меха кузнечные, и руки такие, что в пору подковы ломать.

Линник же росту небольшого, да еще согнется перед печью, плечо правое вперед выдвинет, голову сбычит, вроде как в глазок печи заглядывает; в лицо ему жар пышет, вот он и выдвинул вперед плечо, загордился от огня. В первое знакомство мне показалось будто лицо у него пораненное, кожа на скулах да на кончике носа содрана, а присмотрелся — не содрана кожа, а запеклась от жаркого огня.

Глаза у Ивана серые, быстрые и молодые. От их лучения лицо кажется молодым и седина не идет в счет. Когда Линник производит завалку печи или наблюдает плавку, взгляд у него становится пытливым, сторожким, видно, что что-то им взвешивается, принимается или отбрасывается. А как дело с плеч долой, в глазах поселяется лукавинка-веселинка — любит Иван Петрович перекинуться шуточкой с товарищами.

— Ванятка, — окликает он Трегубова, — как дела? — И расплывается в улыбке. — Вань, сталь варить, не девок любить, а?

Трегубов в сталеварском облачении еще огромное кажется, грознее. Но лицо его добрее, когда он оборачивается к Линнику. Трегубов как бы спрашивает старого сталевара: «Что не так? Где?»

— Огонек убавь! — кричит Линник. — Огонек. — И ворчит: — Черт, насадки спалит, а печь она что, железная? Ухари...

Трегубов сталевар молодой, десять лет всего у печи, вот и поглядывает Линник, за своей печью и за Трегубовой. Парень он, правда, смекалистый, работу любит. Придет час, отменным сталеваром станет, только помочь ему надо опытом. Ивана самого учили уму-разуму те, кто мастерами были: Виктор, Новосельцев, Денисенко. Денисенко грамотный сталевар! Все у него по полочкам разложено, и уж печь знал до последнего закоулка, до кирпичика! Мастер! Не задолжал ли этим людям он, Иван Линник? А долг, как известно, платежом красен.

— Ванятка! Магнезиту бы чуток бросил на порог. Подкрепи порог, Ванятка!

Вот уж дело будет, когда расплавленный металл сорвет подсыпку! Ложный порог передней стенки выхлестнет наружу, огненным половом поперет по рабочей площадке — куда бежать! А ведь и выливается у ротозеев. По шестьдесят и более тонн металла выливалось, бывало, и тог-

да чугунные плиты рабочей площадки в ладонь толщиной, прожигало насквозь, будто это и не чугун вовсе, а масло сливочное или воск. Если металл пол проест — беда, вся плавка уйдет вниз. Вся как есть в шлак прольется, расстеряйся только сталевар и не пробей во время летку. И уж ту сталь не вернуть... Нельзя сталевару, коли встал к мартену, ворон считать или работать на авось. Возле печи держи ухо востро да мозгами пошевеливать не забывай. И самые коварные места, тот же ложный порог, во внимании особо держи. Во-первых, когда завалку проведешь, посмотри, чтоб он чистый был, порог-то. Подсыпь порог, не поленись, чтоб и ширину и высоту в точности выдержать: при доводке плавки все скажется. Иван Линник за свою долгую службу у печей всего повидал, поиспытал.

Да, почти тридцать лет! И многих, с кем он начинал, уже нет у печей: кто совсем ушел, кто на другую работу перевелся. Иван Линник, правда, еще ничего: шустрит, бегаёт и не хуже других молодых сталеваров управляется. Нет, Иван Линник в хвосте тащиться не думает. Сталевары — люди гордые! И пусть молодые на легкую победу не рассчитывают. Мы и старость поборем!

А тут вдруг вспомнил, как все началось, как прикипел к мартену. Из деревни из-под Спасска в Комсомольск-на-Амуре он неумехой приехал. В ФЗУ пришел, только через порог шагнул — сразу в руки незнакомого дядьки угодил.

— Куда, малец, идти хочешь? — спрашивает дядька, а сам с ног до головы его зоркими глазами осматривает, будто щупает, силу определяет, крепость. — Хочешь на сталевара выучиться? Га? Сталь варить, га? Во дило — сталь варить! Ты ж вон який крепкий хлопец. Ну! Я ж с тебя такого сталевара сварганю!

Он и стал его первым учителем — Иван Кравец. Кравец целый выводок мальцов вывел в сталевары. Многих из них и сейчас люди добрым словом поминуют: Алексея Войтовича, Башкирова, Ивана Здоровского, Михаила Положеева, Буренина, Ощепкова — все они сталевары! А к Кравцу под крыло пришли — зеленые совсем, к тому же учесть надо, пайки военного времени — больно не отъешься, штаны на каждом только за счет ремешка и держались. Все они прошли: и голод, и холод. Зато и люди из них вышли такие, которых вся страна знает: крепкие и до работы жадные, и у каждого слово — кремень.

Из той же поросли и Войтович, что звание Героя Социалистического Труда получил. Ощепков имеет два ордена Трудового Красного Знамени, и Иван Линник стал орденосцем и Почетным металлургом! В Москву его приглашали на совещание. Вот уж куда он давно рвался, хоть одним глазком глянуть на столицу! На Красную площадь ступил с трепетом, Кремлевской стены коснулся, как свя-

тины. Потом Мавзолей. Здесь каждому россиянину следует побывать! Это родник силы, крепости, мужества, чистоты. Из Москвы вернулся, будто на свет заново родился, яснее и четче стал понимать, зачем он стоит у мартена. И дело не в рекордах, нет. Рекорд — это на раз, на один день, а одним днем жив не будешь. Рекордов Иван Линник не ставил, не было у него такой цели; была постоянная работа, которой он отдавался весь без остатка, дотошно вникая в суть дела. Каждый раз для себя он открывал что-то новое в том, что казалось уже давно изученным и известным. Он взял себе за правило лично участвовать в ремонте печи, чтобы ее характер, особенности потом не были неожиданностью. Выпустив плавку, Иван сразу же начинал готовиться к следующей. И добивался, чтобы каждый член бригады четко знал, то, что ему предстоит делать в течение смены.

За годы девятой пятилетки его бригада выплавляла 3954 тонны сверхплановой стали, причем отличной стали! И если из этой стали накатать рельсы, то их хватило бы не на один десяток километров пути.

Но это уже дело прошлое. Иван Линник кивать на прошлые успехи не любит. Голова его занята теперь другими мыслями, дали сталевары «Амурстали» слово варить сталь высокого качества. А дал слово — сдержи его. И пока не подкачали, в его бригаде качество не хуже, чем у других. И 716 тонн стали сверх плана дали за девять месяцев первого года десятой пятилетки.

Сталевар «Амурстали» Иван Петрович Линник, награжденный ранее орденом Трудового Красного Знамени за успехи в выполнении заданий девятой пятилетки и принятых социалистических обязательств Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 марта 1976 года удостоен высшей награды страны — ордена Ленина.

Когда другие сталевары поздравляли его с победой, с наградой, дружески похлопывали по плечам, Иван Петрович хмурил белесые брови.

— Мне, как коммунисту, нужно работать еще, — сказал он потом Трегубову. — Понял, Ванятка?!

В конце смены, перед доводкой плавки, у сталеваров случается короткая минута отдыха. Иван Линник, озорно свистнув, созывает подручных. Пришел и сосед — Трегубов. Закурили, встав в кружок, поглядывая на Линника.

— Ну что, парни, — заговорил он. — Завтра выходной. Может, двинем на природу? Давно ушицы с костерка не хлебал.

Трегубов улыбнулся, кивнул головой. И подручные заулыбались — согласны.

— Значит, договорились. Встречаемся в порту.

Линник поправил на голове кепку с защитными очками, прикрепленными к козырьку, и повернулся к печи. То же сделал и Трегубов. Подручные пошли на свои места, поглядывая на прицелившегося в глазок заслонки сталевара. Линник уже поднимал заслонку.

Сталь из печи через горловину разделанной летки стекла в ковш. Из ковша разошлась по изложницам. Линник с площадки глянул вниз, на состав, сбил кепку на затылок.

— Теперь из нее что хочешь сделать можно! Сталь-то — блеск!

После смены мы шли к проходной вторым — Линник, Трегубов и я. Навстречу нам спешил рабочий люд. Многие приветствовали моих спутников, дружески пожимали им руки.

— Привет, Ванятка! Как дела?

— Норма! Будь здоров!

— Будь здоров!

Линник и Трегубов понимающе переглядывались. И по глазам, по голосу его понятно было — рад он этим мимолетным встречам и от души идущим приветствиям. Рад видеть в здравии своих товарищей и желает им успеха.

Покорение Буреи

РЕПОРТАЖ

Прежнее название этой реки — Быстрая — довольно точно отражало ее стремительный и бурный характер. Взяв разбег с высоких отрогов хребта Эзопа, она мчит свои воды через горные кряжи и лесные массивы, подтачивая крутые берега, обрушивая в быстрину скалы и деревья.

С буйным нравом Буреи довелось познакомиться при первой же встрече. Приезжаю на пристань Новобурейска, чтобы катером добраться до Талаканского створа, а мне говорят:

— Движение по реке запрещено. Начался паводок, который может перерасти в наводнение.

От прошедших накануне дождей и обильного снеготаяния в горах Бурея вышла из берегов. С дикой яростью она сносила все на своем пути. Вместе с ключьями мутной пены по реке плыли охапки сена, кусты, бревна и доски.

Такой бурливой и строптивой река бывает нередко. По подсчетам ленинградских проектировщиков А. Коробченкова и В. Матвеева, на Бурею за 54 года (с 1913 по 1966) было 29 наводнений, в том числе сильных, когда вода затопляла почти все колхозные угодья, было семь и очень сильных, когда полностью или частично затопливались населенные пункты, произошло шесть. В прошедшем пятилетии наводнения дважды смывали посевы на больших площадях, разрушали строения и дороги, нанося народному хозяйству огромный ущерб. Но близится день, когда своенравный характер реки будет укрощен. В решениях XXV съезда КПСС записано: «развернуть строительство Бурейской ГЭС...» Плотина мощной электростанции обуздает дикий поток. Ее сооружение началось в верховьях, на Талаканском створе. Попасть туда мне удалось с помощью вертолета.

Винтокрылая птица взмывает в пасмурное небо и берет курс на север. Впереди у горизонта белесые груды облаков сливаются с заснеженными вершинами сопков, а под нами зеленым ковром стелятся лесные массивы. Селений и дорог почти не видно. Лишь изредка промелькнут охотничья избушка или проложенная зверьем тропа к водопою. Извилистая лента реки то прорывается через порожистые ущелья, то разделяется в поймах на несколько рукавов, образуя живописные островки.

Над излучиной, где сопки каменистыми боками тесно зажали с обеих сторон полноводное русло, вертолет делает круг.

— Вот он, Талаканский створ! — восклицает пилот.

Признаки развертывающегося здесь строительства мы вначале не увидели, а услышали. Не успели сойти на землю, как в горах громыхнули взрывы, будто приветственные салюты.

— Это наши буровики ведут проходку разведочных шурфов, — поясняет встретивший нас заместитель начальника изыскательской экспедиции Константин Шамаев.

Таежную глухомань в районе Талаканского створа первыми нарушили изыскатели экспедиции № 5 Ленгидропроекта. Четыре года назад высадились они здесь небольшим десантом. Начинали с шести землянок и трех бревенчатых домишек. Сейчас на высоком уступе, вклинившемся в реку, раскинулся целый поселок с жилыми домами, столовой, пекарней, медпунктом, производственными объектами и другими постройками. В основном это сборно-щитовые дома — обычные спутники первопроходцев. Но постепенно таежный поселок обзаводится более капитальными строениями. Среди них особой достопримечательностью является рубленая из добротных бревен баня. Изыскатели на этот счет придерживаются твердого мнения: «Жить можно и в землянках, а без хорошей парной обойтись никак нельзя».

Начальник экспедиции Р. А. Оркин ветеран изыскательских работ. Еще в 1939 году принимал участие в сооружении Ондской ГЭС на Карельском перешейке, затем прокладывал Волго-Донской канал, создавал Куйбышевское и Цимлянское водохранилища, строил Саратовскую гидроэлектростанцию, работал над проектом переброса части стока северных рек в Каспийское море. Умудренный большим опытом, он не спешит опережать события, рисовать будущее только в радужных тонах.

— Покорить Бурею будет нелегко, — замечает Оркин. — Могучая и своенравная река. К тому же большая удаленность стройки от промышленных центров, очень суровая природа. Мы стремимся найти самый оптимальный вариант чтобы облегчить сооружение гидроузла, сделать его более надежным и дешевым. С первой

стадией решения этой важной проблемы наши проектировщики справились успешно.

Исследования гидроэнергетических ресурсов реки Буреи начались еще в конце пятидесятых годов. Были разработаны схематические проекты, на основе которых предполагалось сооружение каскада гидростанций. Наиболее эффективной из них тогда признавалась Желундинская ГЭС. Ее строительство решало бы две задачи — выработку электроэнергии и борьбу с наводнениями на участке реки ниже плотины и на Среднем Амуре. Эту станцию рекомендовали к строительству как первоочередную. Однако последующие изыскательские работы внесли в этот проект существенные поправки. Был отвергнут Нижне-Желундинский створ, находящийся в 138 километрах от устья Буреи, так как возведение там плотины потребовало бы проведения очень большого объема работ и огромных затрат. Достаточно сказать, что длина плотины по верхнему гребню составила бы 2380 метров. Не совсем удачным был признан выбор створа «Сухие протоки», находящегося в пятнадцати километрах вверх по течению. Поэтому из всех вариантов предпочтение было отдано Талаканскому створу, где стоимость строительства гидростанции будет меньше и можно достигнуть наилучших энерго-экономических показателей.

— Талаканский створ — по всем статьям удачное место для возведения гидростанции, — подчеркивает Р. А. Оркин. — Здесь река имеет сравнительно небольшую ширину и довольно глубокий каньон в зоне гранитов, что весьма важно при возведении плотины. Не меньшее значение имеет и тот фактор, что будущее водохранилище образуется в естественных берегах. Вверх по реке оно протянется на двести с лишним километров, но гористые берега не позволят ему раздаться вширь. Лишь в отдельных местах искусственное море разольется до двенадцати-пятнадцати километров. В результате в зону затопления попадет только небольшая часть лесов, пойменных земель и два маленьких поселка, которые легко потом будет перенести на другое место.

Руководитель экспедиции восторженным эмоциям о величии и масштабности стройки предпочитает сухой язык цифр и фактов. Он достает папки с технико-экономическим обоснованием проекта и рабочими чертежами, чтобы более доходчиво рассказать о будущем гидрокомплексе. Но Константин Шамаев предлагает:

— Идемте, сделаем привязку к местности, и тогда все станет понятным.

Ходит изыскатель легко и быстро, рассказывает тоже бойко, оживленно жестикулируя. Его язык, насыщенный техническими терминами, точен и лаконичен. Подойдя к створу, взмахивает рукой, будто пересекает водную гладь, и торжественно сообщает:

— Здесь будет плотина. Ее высота 142 метра, длина по урезу реки 220 мет-

ров, ширина по основанию 700 метров. И наводнениям конец... — Подводит к передвижной электростанции и иронически замечает: — А на месте этой тарателки как раз будет размещаться здание ГЭС мощностью два миллиона киловатт. Значительно большей, чем у Зейской.

Показывая на прошитые скважинами прибрежные скалы, уточняет:

— Через них пройдут два тоннеля для сброса воды, каждый высотой с восьмиэтажный дом.

Изыскателям предстоит еще выполнить немало важных и сложных работ, чтобы выдать чертежи на сооружение основных и вспомогательных объектов. Продолжаются гидрологические и топографические исследования, сейсморазведка и составление технических проектов. Нарастает объем проходческих работ. На левом берегу Буреи пробиваются разведочные шурфы в зоне врезки плотины, на правобережье закладываются штольни на выходных порталах отводных тоннелей. Полным ходом идут изыскания на площадке, отведенной под промышленную базу строительства. Специальная партия отправилась на обследование зоны затопления.

— Нам приятно, что государственная комиссия положительно оценила представленные нами материалы по выбору места строительства гидростанции, — говорит Р. А. Оркин. — Наш коллектив теперь прилагает все усилия к тому, чтобы в сжатые сроки подготовить другую документацию для ускоренного сооружения этого важного объекта.

Как только изыскатели начали выдавать рабочие чертежи, на Талаканский створ из города Зеи был отправлен первый десант гидростроителей. В него вошли одиннадцать человек: семь бульдозеристов, механиков и сварщиков из управления механизированных работ и четверо буровзрывников из Гидроспецстроя. Возглавил десант коммунист В. В. Захарченко, человек с большим опытом сооружения таких крупных объектов в трудных дальневосточных условиях. Шесть лет он работал на строительстве Красноярского исполина, затем возводил Зейскую ГЭС.

Под стать ему и остальные члены коллектива. Механизаторы Ларин, Смирнов, Чурин и Дюнчик трудились на сооружении Зейской гидростанции, взрывник Бойко строил Колымскую ГЭС, а бригадир взрывников А. И. Кобля работал на Приморской ГРЭС. Они прибыли на Талакан в исторические для нашей страны дни, когда в Кремле работал XXV съезд КПСС. Каждый из них гордится оказанным доверием первым начать намеченное съездом партии строительство гидростанции на берегу таежной реки.

— Зею заставили покориться, Бурею тоже осилим, — уверенно заявляют они.

Летние паводки задержали развертывание работ. Теперь строители стремятся наверстать упущенное. Прокладываются до-

роги от перевалочной базы и железнодорожной станции, возводится речной причал, готовится промышленная площадка, начато строительство трех многоэтажных жилых домов. На стройку прибывают новые группы рабочих и специалистов, доставляется прямо с заводов самая совершенная техника. У подножия горы под раскидистыми кронами деревьев быстро растет временный поселок строителей.

— Большая стройка редко обходится без трудностей и неувязок, — замечает Виктор Захарченко. — Столкнулись и мы с ними. Взять хотя бы вопросы благоустройства, транспорта, связи. Как известно, рядом с местом возведения Зейской ГЭС расположен город. Это значительно облегчало решение проблемы с размещением рабочей силы и техники в подготовительный период. Здесь совсем иное положение. Ближайший крупный населенный пункт находится на расстоянии десятков километров. Нет дороги, связывающей промплощадку с Транссибирской магистралью, по которой к нам приходит новая техника, а на вертолетах и катерах много не увезешь. Нет пока и оперативной связи с «Большой землей», кроме радио.

В текущем году строителям предстоит освоить два миллиона рублей. Для здешних условий объем работы довольно большой, но это никого не смущает. Все трудится с энтузиазмом и вдохновением, забывая о временных неудобствах.

Вот два бульдозера старательно утюжат вершину горы Карактачи, где будет расположена промышленная база. Натужно рычат моторы, приступом берется каждый клочок земли, усеянный булыжником и пнями. Техника не выдерживает напряжения, «захлебывается», но водители упрямо продолжают штурмовать, добиваясь точной планировки. Все это происходит на небольшом пятачке, почти на полукилометровой высоте. Работа сопряжена с риском,

требует большой осторожности и точного расчета.

Напротив мощные тягачи пытаются поднять по крутому склону сопки буровой агрегат. Там, за хребтом начинается закладка фундамента под первое здание будущего городка гидростроителей. Ждать, когда туда проложат дорогу для доставки техники, долго. Архитекторы уже выдали проекты, и хочется до наступления морозов справиться с нулевым циклом.

Мне довелось познакомиться с проектом этого городка. Он расположится в верхнем бьефе плотины с выходом на водохранилище. Вековую тайгу потеснят пяти- и девятиэтажные жилые дома с улучшенной планировкой, гостиница, авто- и речной вокзалы. К набережной примкнут парк и спортивная зона. На карте Амурской области появится еще один благоустроенный город с населением свыше двадцати тысяч человек.

Строительство Бурейской ГЭС имеет важное значение. Она даст толчок ускоренному развитию народного хозяйства близлежащих районов, поможет освоению природных богатств, созданию новых промышленных комплексов. Ее электроэнергия нужна Байкало-Амурской магистрали.

Вертолет вновь висит над грядами скалистых сопok, покрытых дремучими лесами. Могучими и неприступными выглядят они сегодня. Но их штурм уже начался. Далекая таежная глухомань становится ареной больших событий.

Новая стройка пока не нанесена на карты, не значится в почтовых реестрах. Но в ее адрес уже поступает множество писем от желающих принять участие в покорении Буреи, чтобы своими руками зажечь новое электрическое солнце над дальневосточными просторами.

*Талаканский створ.
Амурская область.*

МЫ МОЛОДЫ, НАМ ПЯТЬДЕСЯТ!

Претворение в жизнь известного ленинского положения «Искусство принадлежит народу» на Дальнем Востоке начиналось почти с нуля. Восстанавливать было нечего, нужно было строить, строить заново и всерьез.

10 мая 1926 года бюро Далькрайкома ВКП(б) приняло постановление «Об организации театрального дела на Дальнем Востоке». Это постановление подводило черту под частной антрепризой, покончило с безработицей в среде актеров. Естественное для Советской власти решение вопроса. Ведь театр не только веселит нас — театр учит. Это государственное дело должно быть в надежных руках. Недаром в постановлении от 10 мая 1926 года говорилось о сосредоточении всех театральных дел в крае при органах народного образования.

Семидесятые годы — годы юбилеев. То одно, то другое учреждение культуры вступает в пору своего 50-летия. Настала такая пора и для Хабаровского краевого театра музыкальной комедии.

Вот уже пятьдесят лет живет наш театр единым дыханием с нашей многонациональной страной. Мы смеемся над прошлым — опереттой «Фиалка Монмартра», воюем опереттой «Севастопольский вальс», строим ВАМ опереттой «Звездный час». За эти годы в стенах театра выросли десятки талантливых вокалистов и режиссеров. На сцене нашего театра рождались оперетты, обошедшие потом многие сценические площадки страны. Здесь начинали свой творческий путь известные теперь музыкальные деятели, артисты — Г. Доре, А. Королькевич, М. Нальский, И. Войнаровский, В. Гримм, Н. Симонова и другие.

За эти полвека на сцене нашего театра была поставлена почти вся опереточная, прежде всего советская, классика. Но хочется сегодня рассказать о сегодняшнем дне театра, о театре музкомедии 70-х годов.

Какова же творческая платформа театра, интересен ли он сегодняшнему зрителю, чем волнует, о чем говорит?

Познание мира — двигательный рычаг человеческой цивилизации, и ни один вид искусства не может ограничиться одной, раз навсегда застывшей формой для всех времен и народов. Для определения «современно», прежде всего, характерно движение вперед. Пример тому — деятельность великого новатора советского драматиче-

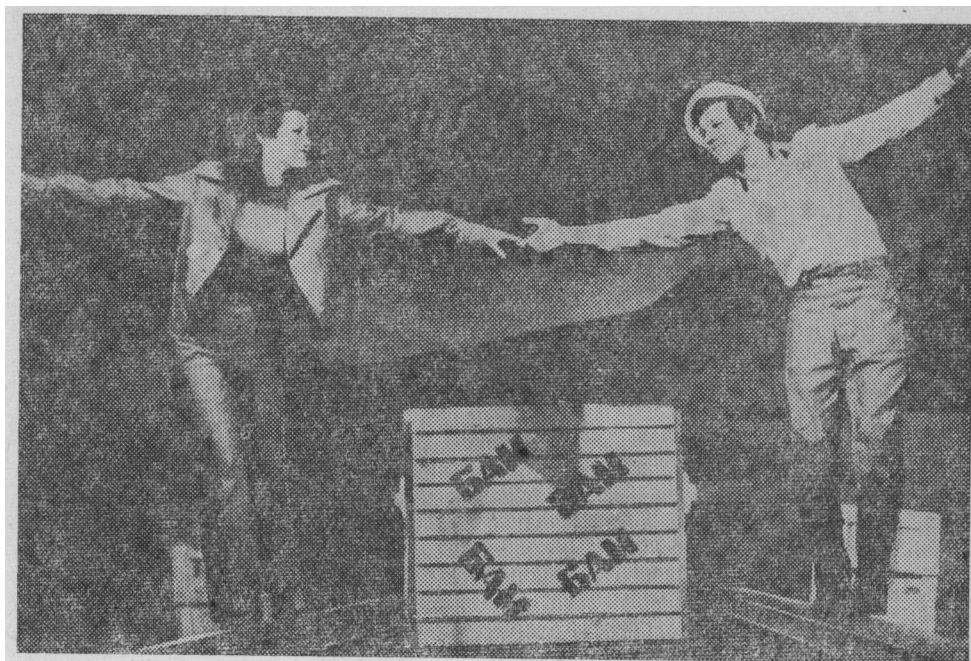
ского искусства К. С. Станиславского, который вымостил широкую улицу, на которой стали возводиться такие оригинальные здания, как мейерхольдовский, вахтанговский и другие театры со своим неповторимым творческим почерком, лицом. И только взбалмошная «падчерница муз» — оперетта — до недавнего времени не изменяла раз навсегда найденной форме.

В чем же тут дело? А в том, что музыка оказалась долговечнее слова, имела более долгую жизнь. Бессмертна музыка Ф. Эрве, Ж. Оффенбаха, Ф. Легара, И. Штрауса, И. Кальмана — родоначальников этого сложнейшего жанра. А вот литературная основа, вокальные тексты, сюжетные линии в либретто, оказались той «ахиллесовой пятой», которая сегодня и стала поводом для дискуссии о современности жанра оперетты. Возникла необходимость поисков новых форм выразительности, для того, чтобы сохранить для современников и потомков классическую оперетту. Театр музыкальной комедии сегодня должен идти в ногу с требованиями современного зрителя, с динамизмом сегодняшнего дня. Должен искать, дерзать, пробовать.

Уже несколько лет идет кипучий спор в связи с появлением злой «соперницы» оперетты — мюзикла, нового жанра, в котором больше утверждает себя драматический театр, чем музыкальный. Мюзикл стал властно стучаться в дверь оперетты.

И для нашего Хабаровского театра музыкальной комедии знакомство с этим новым творческим течением стало необходимым. Нам кажется, что мюзикл — принадлежность музыкального театра. С приходом главного режиссера Е. Д. Туговикова мы начали работу над спектаклем «Желтый дьявол» (музыка Г. Гладкова, на прекрасном литературном материале А. Толстого). Режиссер горел желанием открыть для себя и театра этот загадочный жанр — мюзикл. Мне кажется, что при определенных просчетах эксперимент для коллектива оказался интересным и поучительным.

Театр к этому времени пополнился молодыми, способными, хотя еще недостаточно опытными актерами. Это А. Ревука, С. Боридко, Н. Миронова, Р. Баскова, Н. Березина, А. Гушин; вернулась в театр М. Богатова, пришел из ТЮЗа И. Желтоухов, поступил в театр Ю. Тихонов. Все они были заняты в работе над спектаклем. Рабо-



Сцена из спектакля «Звездный час». Лена — Н. Миронова, «Отец Василий» — С. Перекальский

тали над новыми ролями и актеры старшего поколения — заслуженная артистка РСФСР З. П. Гримм-Кислицина, С. А. Попов, В. И. Ожерельев, А. Н. Рябова. Для постановщиков спектакля и артистов работа над спектаклем «Желтый дьявол» стала интересным знакомством с совершенно новым материалом и новыми требованиями сценической жизни и роли. Постановка спектакля для театра в целом была шагом вперед.

Планы у театра интересные. Были взяты в работу два классических спектакля: «Цыган-премьер» И. Кальмана и «Голубая мазурка» Ф. Легара. Ставить их предложили режиссеру Л. Е. Андреевой. В развернувшейся работе над материалом пьесы встал вопрос, как найти и выстроить линию взаимоотношений главных героев, что стоит за конфликтом Пали Рача и его сына Юльчи? В результате режиссер сумел четко проследить в спектакле истоки народности музыкального таланта Пали Рача. Так появились пролог цыганского хора-вокализа, в середине первого акта — «Цыганская рапсодия», а в финале спектакля вновь возникает вокализ пролога. Не стало традиционного финала поверженного Рача. Музыкант Пали Рач достойный союзник молодого Лайчи, сыну у него есть чему поучиться.

«Голубую мазурку» с ее сентиментальной, я бы сказал, банальной пьесой, но с прекрасной музыкой Ф. Легара, режиссер поставил в традициях венской оперетты.

Эти попытки нового подхода к старым классическим спектаклям для театра были полезны.

Творческий состав театра все время на-

ходится в поисках новых пьес, новых молодых талантливых актеров, режиссерских сил. Когда старейший драматург оперетты Е. Гальперина в содружестве с московским композитором В. Гроховским написали две новые оперетты, театр сразу же взялся ставить их. Нас заинтересовала возможность поговорить с современным молодым человеком о нравственно-этических отношениях в тончайшей сфере личных чувств.

Зритель же остался равнодушным к этим спектаклям и к позиции творческой группы. На зрительских конференциях разгорались интереснейшие споры, высказывались почти все участники обсуждения, принимая или отвергая художественное решение спектакля. Тема сегодняшней жизни молодежи, моральные оценки поступков людей стали в центре внимания всего творческого коллектива.

В последние годы на сцене театра получил жизнь ряд интересных спектаклей, в которых мы продолжили поиск темы, интересной современнику. Так появился спектакль «Русская потеха» В. Дмитриева (режиссер С. Ефремов). Озорной, с развернутыми массовыми финалами — он стал выражением искрометной веселости, русского умелства.

Жанр оперетты доступен любому зрителю, сюжет ее прост, легко воспринимается музыка. А если спектакль поставлен с хорошей режиссерской выдумкой, заразительно и весело играют актеры, то со стороны может показаться, что оперетта — вообще легкий жанр. Однако тем, кто создает спектакль, приходится проделывать сложную

и кропотливую работу. На репетициях в музыкальном классе с концертмейстером, в балетном классе с балетмейстером, с дирижером и оркестром, в работе портных, гримеров и художников спектакля. На протяжении всего процесса рождения спектакля актер по крохам лепит образ своего героя, вкладывая в него блеск глаз, биение сердца, усилия своего ума. Это все требует от актера затраты значительных, физических и нравственных сил. Вот почему природа театра оперетты требует актеров, «молодых или умеющих быть молодыми». Сегодня молодые ищущие актеры, завтра — зрелые мастера. Это позволяет нам смело смотреть в будущее.

Время выдвигает перед театром новые задачи, но решение их опирается на опыт прошлого. Об этом свидетельствует наша театральная афиша. Свой репертуар сегодня мы строим более разнообразно, а постановки осуществляем менее традиционно, постоянно ища новые формы подачи спектакля.

Такие проблемы возникли, например, при постановке оперетты «Акулина» композитора И. Ковнера (постановка главного режиссера Е. Д. Туговикова). Каким должен быть спектакль? Как донести до зрителя аромат пушкинского слова и мысли? Режиссер принял решение ставить спектакль-хоровод. Это было смело и, как мы в этом убедились, оказалось интересно. Убедительность жизненных ситуаций, истинно народные исконно русские образы стали близкими сегодняшнему зрителю. А пластическое решение спектакля балетмейстером Е. Я. Кузьминой органично вплеталось в разворачивание сценического действия. Девичьи хороводы — «березки» — своим появлением или предворяют события, или продолжают непрерывность сценического действия. Артисты Е. Туговиков (Берестов), В. Краюшкин (Алексей), М. Богатова (Лиза), С. Боридко (Степан), Н. Миронова (Настя), Д. Баскова (Мисс Жаксон), В. Хозяичев (Муромский), И. Желтоухов (Петушков) — все много сделали для успеха спектакля.

Хочется особо отметить работу художника Ю. Ереминой. Для нее образное решение спектакля «Акулина» явилось делом принципиальным. Красота русской природы, этнографическая точность костюмов, яркая цветовая гамма придали спектаклю жизнеутверждающий оптимизм и выразили тонкость вкуса художника.

За 50-летнюю историю наш театр сохранил и развил одну из самых замечательных традиций, которая продолжает быть нашей платформой в творчестве, — это гражданственность, своевременный отклик на современность, на наиболее значительные события времени. Наш театр первым в стране создал и поставил спектакль о строителях Байкало-Амурской магистрали

Пьесу «Звездный час» написал дальневосточный драматург В. Шульжик, а музыку к спектаклю — московский композитор В. Гроховский. Интересной для театра была работа над этим спектаклем, премьера которого состоялась в день открытия XXV съезда КПСС. Тема труда, социалистическое строительство и нравственный рост советских людей — магистральная тема советского искусства. В спектакле «Звездный час» мы постарались раскрыть перед зрителем образ современного героя, человека семидесятых годов.

Конечно, режиссеру-постановщику и коллективу театра не так уж просто было постичь, осмыслить совершенно новый жизненный материал и перевести его на сценический язык. Решению задачи способствовали достоверность событий, образов, характеров, конфликтов, увиденных на БАМе драматургом В. Шульжином. Романтическое дыхание магистрального строительства увлекло весь театр, и спектакль получился у нас живой, искренний.

На премьеру спектакля мы пригласили тридцать человек из Западного и Восточного участков БАМа. Присутствие строителей БАМа и реакция на спектакль, а затем и теплые слова благодарности стали подлинной наградой для участников спектакля.

В период гастролей нашего театра в городе Ленинграде газета «Вечерний Ленинград» от 14 июля 1976 года писала о спектакле «Звездный час»: «Знакомство с Хабаровским театром музыкальной комедии интересно, потому что коллектив стремится быть сопричастным важнейшим событиям в жизни страны и родного края, рассказать о них языком искусства... Спектакль «Звездный час» — значительная работа коллектива, получившая признание у ленинградского зрителя».

Пятьдесят лет — возраст, которым можно гордиться, но он в свою очередь предъявляет трупце театра большой счет. Ведь театральные юбилей — это всегда не только итог минувшему, но и отправная точка в будущее. На улице Карла Маркса уже поднялся корпус нового здания театра музыкальной комедии. Менее года остается до нашего новоселья — радостный, желанный час! Строители делают все, чтобы новый, светлый дворец музыки понравился нашим землякам — хабаровчанам.

Мы, коллектив театра, на сцене нашего старого дома, во дворцах культуры, на полях станах и в воинских частях, у славных пограничников всегда рады встрече со зрителем. Нас роднит общая любовь к театру.

Ведь музыка — это праздник, который всегда с тобой!

М. ЧАПАРОВ,
директор Хабаровского краевого
театра музыкальной комедии.

В. И. ЧЕРНЫШЕВА,
заслуженный работник культуры
РСФСР

ХАБАРОВСК В ГОДЫ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Шел 1905 год. Россия переживала глубокий революционный кризис. Русско-японская война — первая война эпохи империализма, — начавшаяся еще в 1904 году, продолжалась. Царские войска терпели поражение за поражением, все больше обнажая гнилость русского самодержавия.

«Царское правительство, — писал В. И. Ленин, — направляет все силы, чтобы отомстить за эти поражения. Мобилизуются один за другим военные округа, десятки тысяч солдат спешно отправляются на Дальний Восток»¹.

Дальний Восток тогда являлся ближайшим тылом военных действий. Он с 1904 почти до 1907 года находился на военном положении. На военном положении были Сибирская, Забайкальская железные дороги, соединяющие Приамурье с центром страны, и Уссурийская дорога, связывающая между собой города края.

В городе Хабаровске — административном центре Приамурского края, расположенном наиболее благоприятно в стратегическом отношении, — кроме краевых, городских, административных организаций находились и учреждения, переведенные сюда из Владивостока на время войны, временные госпитали, эвакуированные с маньчжурского фронта, воинские части, различные интендантские организации. Сюда же нахлынуло множество торгово-промышленного люда, после падения Порт-Артура и ликвидации особого наместничества².

В городе находилось много больных и раненых, доставленных сюда с фронта. Раненые появлялись на улицах города, собирая вокруг себя народ, выражавший свое возмущение и недовольство войной. Афиши извещали о балах, благотворительных вечерах в пользу раненых и увечных; проводились и кружечные сборы на улицах.

Всюду чувствовалось тяжелое дыхание войны, особенно остро ощущавшееся трудовой частью населения.

Местная буржуазия рекламировала свои «патриотические» чувства. Проявляя «заботу» о раненых, «отцы города» имели 11 персональных коек при лазарете дамского кружка. Кружок этот, созданный одной из дочерей главнокомандующего русскими силами на Востоке генерал-адъютанта Линевица, содержал лазарет при Народном доме. Они же организовали так называемый «фонд сестер Линевиц» для обеспечения одеждой солдат, выписывающихся из госпиталя.

Эта благотворительность лишняя раз подчеркивала всю униженность и несправедливость отношения царского правительства к солдату. Солдаты и матросы, так называемые «нижние чины», были совершенно бесправны, их человеческие достоинства попирались на каждом шагу. Им запрещалось посещать общественные места: парки, театры, музеи, библиотеки. В городском саду висело предупреждение: «Входить солдатам и вводить собак в сад строго запрещается». А во Владивостоке нижним чинам армии и флота вдобавок запрещалось еще ходить по правой стороне Светланской улицы.

Положение на Дальнем Востоке все больше и больше осложнялось. Японцы заняли южную часть острова Сахалина. Русское население, проживавшее в южной части острова, вывезли на материк. Потерявшие все свое имущество люди, без средств к существованию прибывали по Амуру в Хабаровск. А из Маньчжурии, кроме больных и раненых, сюда же вывозили жен и детей офицеров и нижних чинов портартурского гарнизона. Непрерывным потоком прибывали воинские эшелоны. Только в марте 1906 года, сообщила газета «Приамурские ведомости», из Маньчжурии на Восток прибыло 83 эшелона — 66 422 солдата и 377 офицеров.

Заклучив постыдный мир с Японией, царское правительство все свои силы направило на борьбу с развернувшейся в стране революцией. Прежде всего пред-

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 170.

² Особое наместничество было образовано в июле 1903 года, находилось в Порт-Артуре и обладало высшей властью гражданского управления в крае и на КВЖД (Здесь и далее примечания автора).

принимались меры к тому, чтобы не допустить объединения солдат, возвращавшихся с маньчжурского фронта, с рабочими и крестьянами революционных центров России. Солдат власти стремились задержать на Дальнем Востоке хотя бы на один-два года. С этой целью были предоставлены льготы увольняемым в запас нижним чинам Приамурского военного округа, Сибирского флотского экипажа и эскадры Тихого океана. Им предоставлялось право устроиться в Приамурье на переселенческих участках, селиться в городах, приписываться к мещанским обществам и пользоваться льготами переселенцев. Особо отличившимся на войне и имевшим звание «георгиевского кавалера» выдавались лошади и средства на обзаведение хозяйством.

Хабаровск превратился в своего рода перевалочный пункт, его население увеличилось вдвое. Через город проходил людской поток. Местные власти не могли обеспечить приезжающих ни питанием, ни жильем. Цены на квартиры за один 1905 год увеличились вдвое. Правда, с окончанием войны положение со снабжением в Приамурье, особенно промышленными товарами, изменилось к лучшему. В города Дальнего Востока после введения порто-франко завозились усиленно иностранные и русские товары.

Свободный ввоз иностранных товаров на Дальний Восток без учета спроса и потребления населения привел к затовариванию и замораживанию капитала. Местные капиталисты искали выход из создавшегося положения. Вопрос с порто-франко¹ в этот период являлся одним из основных вопросов экономической политики на Дальнем Востоке. Большинство русских капиталистов, не связанных с иностранными фирмами, требовали закрытия порто-франко, считая его тормозом в развитии отечественной промышленности и заселения Дальнего Востока. Другая часть капиталистов (ее поддерживал и Приамурский генерал-губернатор Унтербергер) была за сохранение порто-франко, увязывая его с обеспечением Дальнего Востока рабочей силой иностранного происхождения.

На Дальнем Востоке вследствие его малой заселенности не хватало рабочих рук. Рабочие требовались на строительство, в лесную промышленность, а золотые прииски, горнорудные предприятия, рыбные промыслы.

С конца XIX века в край стали завозиться рабочие из центральной части России, главным образом на строительство Транссибирской железной дороги. Исполь-

зовались и пришлые рабочие из соседних стран.

С окончанием же войны, в связи с наплывом демобилизованных солдат и матросов, в крае оказалось значительное число безработных. Уже в апреле 1906 года главный начальник тыла армии специальным приказом запретил увольнять на временное жительство нижних чинов в Приморскую область ввиду отсутствия заработка в области¹.

Фабрично-заводская промышленность в крае и в городе Хабаровске была развита крайне слабо. Если царским правительством за шестнадцать лет, 1892—1907 годы, было израсходовано здесь 705 миллионов рублей, то на развитие промышленности и торговли на Дальнем Востоке затрачено только 0,2 процента, на сельское хозяйство 1,6 процента.

В самом городе имелось три казенных предприятия и двадцать одно частное. Рабочих на частных предприятиях было всего около четырехсот человек; на казенных (арсенал, Осиповские и железнодорожные мастерские) вольнонаемных рабочих было чуть больше четырехсот человек. Кроме того, имелись еще рабочие артели грузчиков, строителей и другие.

Рабочие казенных предприятий весь период войны находились на военном положении, работали по двенадцать часов в сутки, а иногда по шестнадцать. Почти в таком же положении находились рабочие Уссурийской железной дороги, не успевавшие перевозить войска на фронт. Оплачивалась эта изнурительная работа плохо. В хабаровском арсенале, например, мастера высшей категории получали в месяц 60 рублей, кузнецы — 35 рублей, плотники на строительстве — 30 рублей, заработок типографских рабочих составлял от 30 до 60 рублей.

Мелкие чиновники акцизных, таможенных управлений получали 50—70 рублей. К ним приравнивались по оплате и учителя. Учитель в сельской местности получал меньше — 45—47 рублей. Но зато высшее чиновничество как гражданское, так и военное обеспечивалось во много раз лучше. Например, инспектор хабаровского таможенного участка получал 370 рублей в месяц. Хабаровский городской голова — 500 рублей, а члены управы — по 200 рублей.

Подавляющее большинство рабочих и служащих зарабатывали в среднем от 30 до 77 рублей в месяц, прожиточный же минимум, особенно для семейных, составлял значительно большую сумму.

Корреспондент газеты «Приамурские ведомости» В. Вальц в октябре 1905 года о положении жителей города писал так:

«За год, с 1904 по октябрь 1905 года, цены на все возросли вдвое: квартиры в прошлом году стоили 40 — 50, сейчас 90 —

¹ Порто-франко — свободный ввоз и вывоз иностранных товаров на Дальний Восток — действовал до 1901 г. Открыт вновь по окончании войны, с сентября 1905 г. — 1909 г. С 1910 года введен таможенно-пошлинный режим на ввозимые иностранные товары в Приамурье, за исключением Камчатской и Сахалинской областей.

¹ Газета «Приамурские ведомости», апрель, 1906 года.

100 рублей в месяц. Дрова поднялись с 6 рублей до 10 за сажень... Все это ложится на плечи хабаровского обывателя. Наверное, гласные думы не имеют понятия, во сколько обходится самая скромная жизнь в Хабаровске одному лицу. При подсчетах самых скромных (необходимых расходов) не дешевле 100 рублей, когда в Европейской России на 100 рублей может жить целая семья».

Социальное неравенство жителей подчеркивалось во всем, и даже в размещении их в городе. В центре города проживало крупное чиновничество и купечество, а на окраинах селилось беднейшее население — рабочие. Еще в девяностых годах прошлого столетия автор книги «Из жизни Хабаровска» Бодиско отмечал, что «из числа владельцев недвижимой собственностью в городе 60 процентов поселенцев, крестьян и мещан не отличалось зажиточностью и больше подходило к беднейшему населению».

Рабочие жили в Арсенальской слободке (ныне там поселок завода «Дальдизель»), в бывшей Муравьев-Амурской (ныне Карла Маркса) слободке и в Дальне-Украинской слободке (ныне Прибрежный район). Часть их проживала в трущобах, находившихся в падах речек Плюснинки (ныне Уссурийский бульвар) и Чердымовки (Амурский бульвар).

Рабочим центром города был арсенал. Накануне русско-японской войны сюда прибыли мобилизованные из запаса мастера: Москвы, Петербурга, Тулы и других промышленных городов. В числе их были столяр Николай Фищенко, старший мастер Зильберг, канонир Набок, Максим Рымар, Герасим Волков, Андрей Чикун¹ и другие. Рабочие арсенала, железной дороги по роду своей службы общались с передовыми рабочими промышленных центров России, мобилизованными на маньчжурский фронт. Рабочие в солдатских шинелях привозили с собою не только листовки и воззвания, но и революционный дух. В городе и арсенале в то время уже были социал-демократические кружки. И, несмотря на свою малочисленность, рабочие оказывали заметное влияние на политическую жизнь города.

Когда в Хабаровске стало известно о расстреле мирной демонстрации в Петербурге 9 января 1905 года, арсенальцы выразили свою солидарность с петербургскими рабочими и провели сбор средств в пользу жертв произвола самодержавия.

А после объявления пролетариатом центра России Всеобщей октябрьской политической стачки рабочие Хабаровска также включились в революционную борьбу.

29 октября 1905 года в десять часов утра заводской гудок арсенала возвестил начало забастовки. Рабочие и солдаты, собравшиеся на площади около канцелярии завода, предъявили начальнику арсенала полковнику Ванкову категорические требования: немедленно убрать с завода начальника хозяйственной команды Стратана и его помощника Григорьева и прекратить творимые ими безобразия по отношению к рабочим и нижним чинам, выплатить причитающиеся солдатам деньги, которые в течение двух лет не выплачивались по неизвестным причинам.

Организованность и массовость выступления рабочих произвела впечатление на местные власти. На второй день к вечеру были выполнены все требования арсенальцев.

Вслед за арсенальцами 15 ноября 1905 года выступили солдаты хабаровского гарнизона. Они обратились к военному командованию с требованием скорейшего увольнения их в запас и отправки на родину. А 28 ноября прекратилось пассажирское движение, остановились поезда.

Работники Уссурийской дороги присоединились к Всероссийской забастовке железнодорожников и избрали Центральный стачечный комитет. Стачечный комитет осуществлял руководство забастовкой, имел связь с центром страны. Для более оперативного руководства забастовкой по линии дороги избирались уполномоченные Центрального стачечного комитета. На участке Хабаровск—Бикин уполномоченным был избран Ф. Е. Манаев, социал-демократ. Центральный стачечный комитет известил всех начальников служб и отделов управления о начавшейся забастовке и предупредил начальство: «Не волновать служащих, мастеровых и рабочих дороги угрозами увольнения со службы и невыдачей жалованья. Это ничего, кроме недоразумений, не вызовет»¹.

Затем стачечный комитет потребовал от министра путей сообщения убрать начальника Уссурийской железной дороги Кремера, а от военного министра — убрать начальника передвижения войск Ельшина и снять военное положение.

Учитывая сложившуюся обстановку в стране, большевики Сибири и Дальнего Востока несколько изменили характер забастовки железнодорожников. Они стремились быстрее отправить в центр страны войска, сконцентрированные во время войны в Маньчжурии. Это было вызвано революционной ситуацией, и, как выяснилось позже, Владимир Ильич в одном из своих писем отмечал, что он охотно бы оттянул срок вооруженного восстания до возвращения маньчжурской армии. Стачечные комитеты Транссибирской железнодорожной магистрали, в том числе и Уссурийской железной дороги беспрепятственно отправляли эшелоны с демобилизованными

¹ Хабаровский крайгосархив, печатный фонд, приказ по артиллерии Приамурского военного округа от 18 августа 1904 года № 166.

¹ ПАХК, ф. 44, оп. I, д. 88, л. 26.

солдатами, санитарные поезда и военные грузы. Остальное движение на дороге было прекращено.

Солдаты, возвращавшиеся с фронта, с чувством глубокой признательности телеграфировали рабочим и служащим всех российских железных дорог:

«Мы, артурцы, возвращаемся из плена, решили принести вам искреннюю благодарность за постановление безостановочно отправлять нас на родину. Мы с вами вполне солидарны. Да здравствует свобода! Долой произвол! Долой смертную казнь, полевой суд и насилие личности! Артурцы крепости, телеграфисты, минеры, саперы»¹.

Начальство пыталось силой оружия ликвидировать забастовку, но эти планы были сорваны. Начальник дороги был отстранен от должности. Руководство дорогой возглавил стачечный комитет.

В Хабаровске, где находились высшая администрация края и значительные военные силы, начальник железнодорожной станции штабс-капитан Рейнгольдт беспрекословно выполнял указание стачечного комитета. Такое же положение было на всей Транссибирской железнодорожной магистрали. Вот что доносил по этому поводу генерал Сухотин военному министру:

«Передвижение войск регулируется и организуется местными стачечными комитетами, с которыми считается сам главнокомандующий, а генералы Холщевников, Надаров и Казбек по существу совершенно лишены власти этими комитетами»².

Забастовка на Уссурийской железной дороге длилась почти до конца января 1906 года.

Речники амурского пароходства также создали свой профсоюз амурских речников. Комитет союза находился в городе Благовещенске и включился в активную борьбу, добившись от владельцев Амурского общества пароходства и торговли повышения заработной платы на 13 процентов³.

Почти одновременно с рабочими и солдатами присоединились к Всероссийской политической стачке и работники почтово-телеграфного ведомства. На втором этаже здания почты и телеграфа, построенного в 1904 году, размещался стачечный комитет⁴, руководивший забастовкой. Стачечный комитет сообщил всем крупным почтово-телеграфным конторам и в Москву о начале забастовки в Хабаровске.

Избранные уполномоченные — чиновник В. В. Граженский, социал-демократ, впоследствии эсер, и К. М. Наумов выступали на митингах и собраниях.

¹ ЦГА РСФСР Дальнего Востока, ф. 702 оп. 1, д. 493, л. 24.

² Л. Беликова, А. Черных. История Дальневосточной партийной организации. Хабаровск, 1970, с. 41.

³ «Амурская газета», 1906, 16 марта.

⁴ Вначале он назывался «Хабаровское бюро».

А чуть ниже здания телеграфа, по улице имени Пушкина, в Народном доме¹ жители города, пользуясь «свободой», дарованной царским манифестом, собирались и активно обсуждали насущные вопросы экономического и политического характера. В первый период собрания были многочисленными и не однородными по своему составу. Даже местная буржуазия и монархическое чиновничество, напуганные активностью революционных сил, принимали в них участие. Первое собрание 15 ноября 1905 года превратилось в митинг, к которому присоединились и солдаты. Принятые решения были направлены на демократизацию жизни: это скорейшее увольнение запасных нижних чинов, выделение пяти делегатов от народа для участия в работе городской думы. Им было поручено участвовать в думских заседаниях и принять конкретные меры к удешевлению жизненно необходимых продуктов, а также освещать в местной печати работу городской думы.

23 ноября на очередном собрании трудящиеся города организовали бюро труда для трудоустройства безработных. В состав бюро избрали А. А. Стрижанова, А. М. Лукашова, известного садовода-мишуринца, К. П. Окунева, инженера-технолога арсенала, И. Я. Шилова и П. А. Галамова.

2 декабря очередное собрание заслушало сообщение делегата бастующих работников почтово-телеграфного ведомства. Он разъяснил, что работники добиваются, как и все почтовики и телеграфисты России, признания их правового положения, улучшения экономического состояния, сокращения рабочего дня. Стачечный комитет, говорил делегат, ведет большую работу, имеет постоянную связь с бастующими работниками Благовещенской, Владивостокской, Читинской контор, которые активно выступают в борьбе за свои права.

Хабаровским почтовикам было трудно вести борьбу, так как здесь размещалось управление Приамурского почтово-телеграфного округа. Высшее и часть среднего чиновничества не участвовали в забастовке и мешали работе стачечного комитета. Тем не менее хабаровский стачечный комитет в декабре провел массовый митинг, на котором было решено поддержать благовещенских почтовиков, взявших в свои руки почту, телеграф и телефонную станцию, и бойкотировать распоряжения начальника почтово-телеграфного округа Андреева. От него потребовали увольнения начальника Хабаровской конторы. Собрание вынесло порицание городской думе за нежелание поддержать почтовиков и высказало свое презрение отступившим от забастовки чиновникам.

Поскольку участники собраний в Народном доме не были однородны по своим политическим взглядам, то и решения при-

¹ Народный дом в Хабаровске был создан в 1894 году.

нимались различные, даже затрагивающие правительственные и административные функции: о создании милиции, о досрочных перевыборах гласных думы, о ревизии городской управы и т. п.

Под влиянием большевиков принимались решения о проведении ряда социальных преобразований. Так, например, проходившее 19 декабря 1905 года собрание обязало заведующего школьным бюро открыть с 8 января 1906 года при Народном доме воскресное бесплатное обучение для взрослых. Городской управе было предложено выделить одного врача и фельдшера для оказания бесплатной медицинской помощи городской бедноте.

Народный дом имени Пушкина был центром общественно-политической жизни города в период первой русской революции. В нем читались лекции, проводились собрания, митинги жителей города и солдат гарнизона.

«Народный дом, — писала газета «Примурские ведомости», — посещает масса самой разнообразной публики — много простонародья, солдат, учащейся молодежи. Жажда знаний теперь везде очень большая, а сюда на политическую революционную арену привлекает еще интерес и сознание чего-то острого и запретного».

Народный дом принадлежал «обществу содействия распространению народных развлечений и начального народного образования»¹. В него входили главным образом представители либеральной буржуазии, а не народа. Председателем общества на протяжении многих лет был статский советник В. В. Перфильев, представитель монархического чиновничества². В разгар революционных выступлений по требованию демократических сил состоялось отчетно-выборное собрание общества.

«На собрание пришли, — писала газета, — учителя, их было много, много докторов, чиновников разных ведомств и рангов, представители местного купечества, мелкоторгового люда, техников и прочих обывателей».

Собрание было бурным, и в ходе его происходил процесс отмежевания левых сил от либералов. Представители монархического чиновничества и либеральной буржуазии (Перфильев, Плюснин, Туганов и другие) пытались остаться у руководства обществом и подчинить Народный дом своим интересам, интересам самодержавия.

«Либеральная буржуазия, — писал В. И. Ленин, — идет к народу... Она вынуждена идти к нему, ибо без него она бессильна бороться с самодержавием. Но она боится революционного народа и идет к нему не как представительница его интересов, не как новый пламенный боевой

товарищ, а как торгаш, маклер, бегающий от одной воюющей стороны к другой»¹.

Представители социал-демократических организаций, либеральной интеллигенции (врачи, учителя, техники и другие) стремились взять руководство в свои руки, демократизировать Народный дом, шире привлечь к его работе население города. Они одержали победу. Председателем правления общества был избран учитель Хабаровской женской гимназии Петр Антонов. Членами правления были избраны представители как народа, так буржуазии и чиновничества. А бывшие руководители общества едва прошли кандидатами в члены правления.

Такой непредвиденный оборот с перевыборами крайне встревожил местную буржуазию. Эти круги стремились объединиться. После объявления царского манифеста здесь был создан кружок 17 октября. Когда в Петербурге образовался «Союз 17-го октября», местная буржуазия приступила к организации своей партии и в городе Хабаровске. 27 ноября 1905 года был учрежден хабаровский отдел «Союза 17-го октября». Лидером октябристов стал один из наследников крупнейшего в городе купца А. В. Плюснин. Он приобрел типографию у товарищества газеты «Примурье» и намеревался сделать эту газету органом октябристов.

К концу 1905 года в Хабаровске трудно было найти человека, безразлично, пассивно относящегося к происходившим в стране политическим событиям. Профессиональные союзы создавались не только среди рабочих, но и среди служащих и интеллигенции города. Наряду с защитой экономических интересов, они выдвигали и политические требования. В конце октября 1905 года профсоюзы объединились в один союз — Хабаровский общественно-политический союз. Основной целью этот союз ставил защиту интересов трудящихся. В его уставе отмечалось:

«В настоящее время, когда вся мыслящая Россия объединяется в стремлении к одной общей цели — обеспечению элементарных прав человеческой личности и основ правового порядка, ни один человек на всей территории России не должен оставаться безучастным зрителем общественного движения... Когда перед нами лежит акт 17 октября, нельзя ублажать себя мыслью о достигнутой победе: произвол и устрашение властью царят, и росчерком пера их не уничтожить»².

У руководства союзом оказалась либеральная буржуазия. Поэтому союз должным образом не смог себя проявить. Да и к тому времени (декабрь 1905 г.) профсоюзы в центре России были уже разогнаны.

Когда пролетариат Москвы готовился к

¹ Так это общество называлось в 1905 году, а в 1906 — «Комитет содействия народному просвещению».

² В 1909 году он был и. д. губернатора Камчатской области.

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. XI, с. 156.

² ПАХК, ф. 44, оп. 1, д. 88, л. 20.

Декабрьскому вооруженному восстанию, министр внутренних дел слал строжайшие депеши Приамурскому генерал-губернатору: «действовать решительно, твердо. Всякие сборища, шествия и манифестации не допускать...» Местные власти готовились к решительному наступлению на революционные силы города. По распоряжению главнокомандующего были уволены все бастующие работники Хабаровской почтово-телеграфной конторы.

Но эта административная мера вызвала новый революционный взрыв. 29 декабря вопрос рассматривался на многолюдном собрании в Народном доме. Собрание (на нем присутствовало более трехсот человек) решительно высказалось в поддержку бастующих хабаровских почтовиков и их желания самим обслуживать почту и телеграф. Генералу Линевицу направлено требование обеспечить в отношении бастующих:

«...1 — неприкосновенность личности их, 2 — удовлетворение их жалованьем за ноябрь и декабрь, 3 — устранение начальника округа Андреева и начальника конторы Швейчука, как лиц, возбуждающих обществу против забастовщиков и вносящих тем раздор в среду населения. Полагаем, — говорилось далее, — что исполнение этих справедливых требований не выходит из пределов вашей власти, так как Вами же был отдан приказ об увольнении и лишении содержания бастовавших чинов. Председатель собрания Петр Антонов»¹.

Это оказало свое действие. Приказ об увольнении бастующих почтово-телеграфных работников был отменен. Начальник Хабаровской почтовой конторы был отстранен от работы². Но победа оказалась временной. Контрреволюция все больше наступала на революционные силы.

В январе 1906 года железнодорожники, почтовики еще продолжали бастовать. Трудящиеся города их поддерживали и выражали им свое сочувствие. Революционные силы во главе с большевиками готовились к думской кампании. Буржуазия требовала введения земства в Приамурье и возлагала большие надежды на свою политическую газету «Приамурье». Выражала недовольство и либеральная интеллигенция.

В то время в Хабаровске выходило три газеты, причем одна из них — сугубо официальная, монархическая «Приамурские ведомости», вторая — «Свободное слово» начала издаваться только с 1 января 1906 года и третья — «Приамурье» — была органом октябристов. Типография ее обладала лучшим в то время оборудованием и называлась «скоропечатной». В типографии передовые рабочие имели связь с социал-демократическими организациями.

Главный редактор газеты «Приамурье» Сильницкий — поручик в отставке, статский советник — был человеком прогрессивных взглядов, он неоднократно официально подвергался наказаниям за открытые противоправительственные высказывания по поводу существующих порядков в крае. Так, его привлекли к судебной ответственности за статью, где власти усмотрели «оскорбительные выражения по поводу царя Александра III». Правда, после долгих разбирательств Иркутская судебная палата вынесла определение, что «в содержании статьи не усматривается признаков преступления»¹.

Это было в апреле 1906 года, а 23 октября того же года за противоправительственные выпады, допущенные газетой, Сильницкий был оштрафован на 500 рублей, 26 октября — на 1000 рублей, а затем снят с должности главного редактора.

Появление в газете материалов, критикующих самодержавные власти, возбуждало особый интерес к этой газете. Но как только был отстранен с поста редактора Сильницкий, газета «Приамурье» потеряла свое политическое лицо и стала обычной буржуазной газетой.

Анализируя создавшееся политическое положение в крае и в городе, генерал Рутковский предупреждал главнокомандующего:

«...принимайте самые решительные меры теперь же, не откладывая ни на один час, надо действовать решительно, хотя бы и сравнительно небольшими силами, лишь бы они были надежны. Если же пропустить время — дело будет проиграно и крамола приведет весь край к гибели»².

Линевиц действовал по указанию свыше. 10 января 1906 года был обнародован приказ, запрещающий нижним чинам всякие собрания, сходки, митинги и участие в каких бы то ни было обществах, союзах. А еще ранее в декабре 1905 года были разогнаны и объявлены противозаконными профсоюзы. Реакция наступала на рабочих и солдат. Но и революционные силы не сдавались. Ровно через три дня после опубликования приказа Линевица был подготовлен и проведен массовый митинг солдат запаса, войсковых частей с участием социал-демократов.

О предстоящем митинге власти узнали заранее. За час до начала собрания Народный дом был оцеплен, и никого в него не впускали. Собравшиеся на митинг обратились к генерал-губернатору по телефону и потребовали пропустить их в помещение. В этом им отказали. Тогда, применив силу, солдаты и рабочие вошли в помещение и начали собрание. Командование направило к Народному дому вооруженные войска.

Казачий есаул, возглавлявший операцию.

¹ ЦГА РСФСР Дальнего Востока, ф. 702, оп. 4, д. 182.

² Начальник Приамурского почтово-телеграфного округа Андреев оставался на своем посту до 1910 года.

¹ ЦГА РСФСР Дальнего Востока, ф. 702, оп. 3, д. 271, л. 25.

² ЦГВИА, ф. ВЦА, оп. 6, д. 17, л. 196.

вошел в зал и от имени командующего объявил, что собрание противозаконно и все присутствующие на нем арестованы. Была подана команда: «Встать и покинуть зал!» Но никто не поднялся. Собрание продолжалось, принимались решения.

Солдаты — участники митинга — присоединились к требованиям солдатских и казачьих частей читинского гарнизона. Требования всех солдат Сибири и Дальнего Востока были едины: это быстрейшая отправка их на родину, свобода собраний, союзов, снятие военного положения и т. д.

Через несколько часов власти ввели в зал вооруженных солдат и под угрозой оружия всех присутствующих на митинге вывели из Народного дома. «Комитет содействия народному просвещению» направил генерал-губернатору категорический протест. Но протест остался без последствий. Реакция наступала. После поражения Декабрьского вооруженного восстания в центре страны, на окраинах России местные власти — представители самодержавия — даже более жестоко расправлялись с участниками революции.

Приамурский генерал-губернатор, напуганный ростом революционных выступлений в крае (10 января 1906 года произошла вооруженная демонстрация во Владивостоке, в этот же день — выступление артиллеристов в Николаевской-на-Амуре крепости), опасаясь возможного вооруженного восстания в городе, спешно усиливал охрану своей резиденции.

В апреле 1906 года приказом начальника хабаровского гарнизона на охрану города выделено три тысячи отборных войск, и город был разделен на пять боевых участков. На каждом участке войска находились в полной боевой готовности. Начальник участка обязан был через каждые два часа докладывать о состоянии дел. Наиболее опасными участками считались район арсенала железнодорожного вокзала, телеграфа и Народного дома. На площади около почты и телеграфа, напротив окон комнаты, где размещался стачечный комитет почтовиков, стояли пулеметы, гарцевали конные казаки. Хабаровск, по существу, превратился в военный лагерь. Так продолжалось до ноября 1906 года. В городе усилилась и полицейская служба, было образовано специальное бюро для розыска лиц, подозреваемых в революционной деятельности.

Реакция усиливалась, но и демократические силы во главе с большевиками, продолжали борьбу, меняя ее формы. Митинги и собрания в Народном доме после 13 января 1906 года не проводились. Многие активные участники революционных выступлений были арестованы. Но в конце 1906 года под предлогом Памяти декабристов в Народном доме был организован литературный вечер. 27 декабря сюда собралась масса разнообразной публики. На вечере выступали с информацией о положении дел в крае, и крае, об аресте участников революционных выступле-

ний — социал-демократов. Закончился вечер революционными песнями.

В январе 1907 года в Никольск-Уссурийске на конференции социал-демократов был принят устав РСДРП Приморского района, куда входили и Хабаровская организация РСДРП. Это было важное событие в истории революционной борьбы пролетариата Дальнего Востока, она становилась более организованной и целеустремленной.

В Хабаровскую организацию РСДРП — группа была малочисленной — входили рабочие арсенала, железнодорожного депо, учителя, врачи, учащиеся. Комитет по своим взглядам был неоднородным. Рабочие придерживались большевистского направления, а остальные тяготели к меньшевикам. Работа Хабаровской группы РСДРП, как и других социал-демократических организаций, велась в нелегальных условиях. Организация имела подпольную типографию, которая размещалась около Лесопильной улицы недалеко от арсенала.

В типографии печатались листовки, воззвания, прокламации большевистской партии, призывавшие рабочих и крестьян к сплочению своих сил на революционную борьбу, разоблачавшие соглашателей меньшевиков и эсеров, антинародную политику самодержавия. Листовки распространялись среди рабочих, солдат и жителей города. Распространялись здесь и листовки, выпущенные Владивостокской, Благовещенской и Читинской социал-демократическими организациями. Хабаровчане знали, что делалось в других городах края и центре страны. Что воззвания, прокламации распространялись всюду — и в центре города, и на окраинах, и в солдатских казармах — подтверждают документы.

Так, например, чиновник Е. Прозоров доносил губернатору, что во время прогулки с женой он увидел объявление на фонарном столбе против штаба и Иннокентьевской церкви (там, где ныне Планетарий). Это оказалось революционное воззвание Хабаровского комитета РСДРП к солдатам, напечатанное тиражом 5 тысяч экземпляров.

За распространение листовок привлекались к судебной ответственности рабочие и солдаты арсенала, ученики Хабаровского реального училища — Пугаченко, Гаманов и другие.

А в апреле 1907 года произошел такой курьезный случай. Поручик 24-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Микота доставил хабаровскому полицмейстеру банку из-под артиллерийского пороха с прокламациями. Как показало последующее расследование, банка с прокламациями принадлежала инженеру-технологу Хаба-

¹ Ныне улица Запарина, 131. Во дворе был маленький домик, на чердаке которого в 1939 году обнаружен шрифт и набранная последняя листовка, датированная апрелем 1909 года.

ровского арсенала Окуневу. Он еще в ноябре 1906 года купил на аукционе в арт-складе восемь тысяч жестяных банок и 150 пудов лома цинка. При переезде на другую квартиру одна из банок упала, и посыпались прокламации. Извозчик собрал все это и передал поручику Микоте. Как попали прокламации в банку, Окунев не мог объяснить, ему это, как утверждал он, не было известно.

Окунев был одним из деятелей социал-революционеров, членом хабаровской военной организации. При обыске на его квартире, кроме нелегальной литературы, был обнаружен и рецепт изготовления бомб. Возможно, указанные закупки предназначались им для этой цели¹. Хабаровская военная организация готовилась провести съезд дальневосточных эсеров, на котором предполагалось решить вопрос о вооруженном восстании². Но прокламации в банках были не эсеровские, видимо, они являлись делом рук рабочих города.

Хабаровская организация РСДРП с помощью рабочих арсенала вела работу и среди солдат города. Работа проводилась нелегально, в трудных условиях. 1 июля 1907 года, в воскресный день, когда солдаты были свободны от занятий, организовали тайный митинг. В четырех верстах от города в лесу (в районе нынешнего завода «Энергомаш») собралось более двухсот человек солдат и несколько рабочих, членов организации РСДРП. Полиция обнаружила собравшихся. При приближении полиции и казаков к месту митинга многим участникам его удалось скрыться. 37 солдат и 5 рабочих были арестованы. В районе митинга было найдено 42 экземпляра прокламации РСДРП № 22 и листовки газеты «Товарищ», издававшейся в Петербурге. В числе арестованных были рабочие арсенала: Н. Фищенко, П. Ильиных, Д. Рыбаков, В. Черных. У Н. Фищенко при обыске был обнаружен кассовый отчет Хабаровской организации РСДРП.

Один из участников митинга, член Хабаровского комитета РСДРП, рабочий арсенала Ильющин вспоминал:

«1 июля 1907 года — в день праздничный — была назначена массовка. Собрались много солдат, казаков и рабочих. Митинг в полном разгаре был окружен отрядом казаков. Часть казаков, высланных для окружения митинга, была из тех, что сами бывали на митингах. И вот эти казаки гонялись за нами, разбегавшимися с митинга, размахивая нагайками, наклоняясь к нам, кричали «ложись скорее» и кто слушался их, оставался невредимым... Небольшая часть была окружена и отправлена в тюрьму. Конвоируя арестованных, казаки тихонохко предупреждали, что у кого есть про-

кламации, чтобы они их выбросили по дороге. И многие очистили свои карманы от явных улики»¹.

Митинг солдат 1 июля 1907 года был последним массовым выступлением в городе Хабаровске в период первой русской революции.

Хабаровская организация РСДРП продолжала держать связь с массами, развернула активную работу по выборам в Государственную думу. Большевики в своих листовках, прокламациях разъясняли народу, что на опыте первой Государственной думы видно, что только социал-демократы идут в думу для продолжения борьбы с самодержавием. «Думская кампания, — писал В. И. Ленин, — есть подчиненная второстепенная форма борьбы, главной же формой, — в силу объективных условий момента, — остаются непосредственно революционные движения широких народных масс»².

В листовке «Кого избирать» Хабаровский комитет РСДРП писал:

«Здесь, в Хабаровске, вам, граждане избиратели, приходится выбирать между двумя партиями. Одна из них — это смесь кадетов с союзом 17 октября, а другая социал-демократическая. Если отбросить черносотенных октябристов и посмотреть на кадетов, то увидите, что эти господа хороши только на словах. Они не прочь иногда играть на руку правительства, если это им выгодно...»³

Приморский областной избирательный комитет РСДРП, куда входил и Хабаровск, призывал голосовать за Федора Ефремовича Манаева, который и был избран во вторую Государственную думу. Его же рекомендовали и в третью думу, но он не прошел по цензу и был избран в думу хабаровский городской голова И. И. Еремеев.

Хабаровская городская дума, как орган местного самоуправления, существовала с 1894 года. До 1894 года во главе города стояла комиссия по устройству города — более упрощенное управление. Гласные думы через каждые четыре года переизбирались. Решения думы утверждались правительственными органами: военным губернатором Приморской области, Приамурским генерал-губернатором и Министерством внутренних дел.

Местная буржуазия, крупное чиновничество, гласные думы с радостью восприняли Манифест 17 октября как царскую подачку и стали добиваться расширения прав местного самоуправления, а также создания на Дальнем Востоке земских учреждений⁴. С началом революционных выступ-

¹ ПАХК. ф. 44, оп. 1, д. 99, л. 12.

² В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. XIII, с. 346.

³ ЦГА РСФСР Дальнего Востока, ф. 702, оп. 4, д. 602.

⁴ Они этого не добились. Земство на Дальнем Востоке было введено после февральской революции в 1917 году.

¹ При обыске квартиры Окунева были обнаружены черновики прокламаций, написанных им, подписной лист № 23 хабаровской военной организации

² ЦГВИА, ф. 1568, оп. 3, д. 1, л. 1-2.

лений гласные думы принимали даже участие в митингах и собраниях жителей города. Против своей воли им приходилось выполнять некоторые требования трудящихся, предъявляемые городской думе. Так, 15 ноября 1905 года митинг проходил в здании городской думы¹. Любопытно, что на этом же митинге было избрано пять представителей для участия в думских заседаниях и разработке мер, направленных на удешевление продуктов питания, на улучшение условий жизни, и было организовано бюро труда для устройства безработных. Правда, эти избранные представители хотя и посещали думские заседания, но права решающего голоса не имели.

А как только в центре было подавлено Декабрьское вооруженное восстание, местная буржуазия — гласные думы открыто выступили против демократических сил. 28 декабря 1905 года проведено экстренное совещание гласных думы. Они осудили бастующих и заявили, что не признают лиц, именующих себя жителями города Хабаровска и собирающихся в Народном доме, а следовательно, не признают и их решений. Только, мол, они, гласные, являются истинными представителями народа. Трое настроенных либерально гласных отказались подписать постановление, а гласный И. Н. Збайков заявил: «...и наше собрание есть ничто иное, как группа лиц, и выразителем мнения городского населения быть не может».

В апреле 1906 года предстояли очередные выборы гласных городской думы. В это время в городе проживало 24 238 человек². В список же избирателей было внесено 347 человек и 6 промышленных предприятий, то есть около 2 процентов взрослого населения. Кто же был в числе этих избирателей? 40 процентов их составляла буржуазия (купцы, владельцы промышленных предприятий, домовладельцы и их наследники, потомственные граждане); 25,5 процентов — военные и гражданские чиновники; 20,5 процентов — мещане; 14 процентов — зажиточные крестьяне и казаки, обладавшие избирательным цензом. Женщины правом голоса не пользовались. В примечании списка избирателей указывалось: «лица женского пола (обладающие имущественным цензом), участвуют в выборах не лично, а через доверенных лиц. Доверенными лицами могли быть отцы, мужья, сыновья, зятья, внуки, родные братья и племянники».

23 апреля 1906 года состоялись выборы гласных городской думы. Накануне выборов вооруженные войска стояли чуть не в каждом квартале. Многие активные участники революционных событий были арестованы, отданы под суд, высланы за пределы края. Собрания и митинги были за-

прещены. И, как полагали местные власти, выборное собрание находилось в безопасности. Но они не учли, что революционное движение в стране и в городе не могло пройти бесследно.

В назначенный день на выборное собрание явилось вместо 353 избирателей только 100. Им предстояло избрать 36 гласных и 7 кандидатов к ним. По решению присутствующих избирателей была отвергнута прежняя система выборов и предложена новая, более «демократическая». Избрали гласных тайным голосованием. В конце собрания оказалось, что избраны вместо 36 — только 31 гласный. 5 человек избирались дополнительно открытой баллотировкой.

В итоге выборов две трети гласных думы обновилась. В числе гласных оказались избранными известный садовод А. Лукашов, лесничий Москалев, агроном Ковалев, инженер-архитектор Аристов. А такие постоянные гласные, как местные капиталисты А. В. Плюсин, М. С. Веденский, В. В. Перфильев не прошли в гласные, оказались только кандидатами. Городским головой по-прежнему был избран И. И. Еремеев.

При утверждении нового состава гласных на срок 1906—1910 годов, один из кандидатов в гласные был отстранен. Им оказался И. Н. Збайков, сын солдата 13-го Восточно-Сибирского батальона, одного из первых строителей города. Он принадлежал к мещанскому обществу и был чиновником. Революционные события пробудили в нем потребность к более активной деятельности. И когда ему предложили принять присягу на верность «императору-самодержцу», он демонстративно отказался. И этого было достаточно, чтобы включить его в список неблагонадежных жителей города.

Царское правительство жестоко расправилось с участниками первой русской революции. По заданию Николая II на Дальнем Востоке свирепствовали четыре карательных отряда: во Владивостоке отряд Мищенко, в Благовещенске — Шипова и на Забайкальской дороге отряды Миллер-Законьского и Ренненкамфа, известных своей жестокостью карателей. В Хабаровске функции карателей выполняли местные власти.

Более ста солдат железнодорожных батальонов и других воинских частей хабаровского гарнизона были преданы военному суду. Стрелок 11-й роты 23-го полка Иван Кондратьевич Шерстюк, приговоренный к смертной казни, в течение трех месяцев сидел в одиночной камере хабаровской тюрьмы. Власти боялись сразу привести приговор к исполнению, боялись нового взрыва революционной волны. 16 марта 1907 года поздно вечером на городском кладбище¹, в присутствии сол-

¹ Народный дом был занят под лазарет.

² Газета «Приамурские ведомости» за 1906 год.

¹ Там, где ныне находятся корпуса общежитий института инженеров железнодорожного транспорта.

дат учебной команды его казнили. Иван Кондратьевич шел на эшафот с гордо поднятой головой и, обращаясь к солдатам, сказал:

«Передайте товарищам, что умираю я, не упавши духом, с твердой надеждой и уверенностью в освобождении нашей Родины. Что потомки наши с гордостью вспомнят о тех борцах, которые погибли, защищая святое дело освобождения народа»¹.

Рабочий арсенала Николай Максимович Фищенко был приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Были осуждены М. Калужный — канонир 6-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады, солдат хабаровской артиллерийской мастерской А. Суров и ряд других участников революционных выступлений.

Железнодорожные батальоны за активное участие в забастовке были расформированы. Рабочие железнодорожники — машинист станции Хабаровск Речицкий, помощник начальника станции Яковенко и телеграфист Ястребов, а также железнодорожники станции Вяземской — Манаев, врач Черемухин, начальник станции Гулин, начальник станции Бикин Воропаев и другие были высланы за пределы Приамурского генерал-губернаторства.

Высланы были и работники почтово-телеграфного ведомства, организаторы митингов и собраний в Народном доме Антонов, Стрижанов и другие. Многие участники революционных выступлений были уволены с работы и находились под наблюдением полиции.

Наступившие годы реакции, особенно

конец 1907 и начало 1908 года, были тяжелыми как для всей страны, так и для трудящихся Дальнего Востока.

Хабаровская группа РСДРП в своей листовке, обращенной к солдатам и казакам, отмечая тяжелое положение, призвала их к мобилизации сил и вселяла надежду и веру в грядущую победу! «...Товарищи! Объединимся же для борьбы под красным, залитым кровью знаменем Российской Социал-Демократической Рабочей Партии»¹.

Некоторые из активных участников первой русской революции — Н. Фищенко, В. Черных, П. Ильиных, Окунев, Граженский, Збайков — находились в Хабаровске в период февральской и Октябрьской социалистической революции. Одни из них сражались на стороне большевиков, а социал-революционеры Граженский, Окунев, Збайков — на стороне контрреволюции.

«Революция 1905—1907 годов, хотя и потерпела поражение, но нанесла мощный удар по самодержавию, господству помещиков и капиталистов, вписала яркую страницу в историю классовой борьбы», — отмечалось в постановлении ЦК КПСС о 70-летию революции 1905—1907 годов в России.

С тех пор прошло много лет. Дальневосточники свято хранят памятные места, свидетельствующие о том, что трудящиеся края в году первой русской революции 1905—1907 годов, вместе с рабочим классом и угнетенным крестьянством страны, активно боролись против самодержавной власти и здесь — в административном центре обширного Дальневосточного края России.

¹ ПАХК, ф. 44, оп. 1, д. 101, л. 7.

¹ Газ. «Солдатская жизнь», 1908, № 2.

Находка карты В. К. Арсеньева

Еще в начале 60-х годов в Географическом обществе СССР начался разбор огромного количества различных ценностей, скопившихся в подвале здания. Здесь множество старых изданий общества, дублетные издания из частных библиотек географов, карты, рукописные материалы. Книжки в основном были в полном порядке, но кое-что свалено и «навалом». В здании дважды спешно развертывался госпиталь: первый раз еще во время первой мировой войны, вторично — во время Великой Отечественной войны. Конечно, в эти напряженные дни многое было отправлено в подвал без всякого разбора.

К началу 70-х годов порядок в подвале был в основном наведен. В одном из углов обнаружили груды каких-то карт, которые могли быть вновь использованы лишь после больших реставрационных работ. Но в обществе реставраторов не было. И тогда решили пригласить на просмотр оставшихся в ветхом состоянии карт сотрудников отдела картографии Библиотеки Академии наук СССР. Дирекцию БАН предупредили: «Если Вы что-нибудь найдете для себя полезное, забирайте к себе, реставрируйте и включайте в свой собственный фонд».

Из отдела картографии АН СССР направили двух сотрудников — А. М. Лагуна и Д. С. Прохорову. Ворох карт и бумаг был покрыт известкой и черным слоем многолетней пыли. Конечно, копаться в этом было не очень приятно.

И вдруг в глаза Дины Степановны Прохоровой бросилась еле проступавшая надпись: «Рисоваль Шт. К. (штабс-капитан) Арсеньев». Сразу же возникла догадка: «Уж не карта ли это знаменитого путешественника В. К. Арсеньева?» Развернуть карту оказалось не легко: она была гигантского размера — около 16 квадратных метров! Изображение Японского моря, озера Ханка и реки Уссури полностью подтвердили догадку. И тут возникла новая трудность: карта оказалась рукописной, а отдел картографии БАН собирает только печатные карты. О находке сообщили заведующей рукописным отделом БАН доктору исторических наук М. В. Кукушкиной. Карта-гигант была до-

ставлена в библиотеку. Когда ее развернули, стало очевидно, что она нуждается в очень серьезной реставрации. Обратились за помощью к директору лаборатории консервации и реставрации АН СССР Д. П. Эрастову. Взглянув на карту, тот пришел в ужас и спросил: «А стоит ли бороться за ее спасение?» Ему единодушно ответили: «Безусловно, стоит!»

И вот началась длительная борьба за восстановление карты-великана. Основную работу вела Валентина Ильинишна Федулаева. Ей помогала Людмила Александровна Лотова. Карту пришлось разрезать на 30 частей. Осторожно был снят толстый слой грязи и известки, закреплена сухим путем акварель, ликвидированы ее подтеки. Затем сняты два слоя сильно пострадавшей ткани, на которую были наклеены бумажные листы Арсеньева. Карта была наклеена на особую микалентную бумагу. И вот итог: гигантская карта Арсеньева выглядит как новенькая, она стала доступной для изучения.

Сверху карты значится: «1906—07 г.» Всмотревшись в нее, мы убедились в том, что карта эта является иллюстрацией к дневникам В. К. Арсеньева, которые были впервые опубликованы Л. И. и Ю. А. Сем в журнале «Дальний Восток» (1972, №№8 и 9). На карте показан весь путь Арсеньева 1906 года от станции Шмаковка в глубь Уссурийской тайги.

Особенно приятно было увидеть изображение стойбища Лудева. До сих пор о его местонахождении имелось лишь очень приблизительное представление, а между тем именно здесь произошла в 1906 году встреча Владимира Клавдиевича с главным героем его книг — Дерсу Узала. Это место весьма легко разыскать по найденной карте Арсеньева. С весьма большого расстояния на ней видны все маршруты Арсеньева 1906 года.

Когда мы сопоставили опубликованные в Хабаровске в 1912 году «Сведения об экспедициях капитана Арсеньева (В. К.). Путешествия по Уссурийскому краю 1900 — 1910 г.г.» с найденной картой, то убедились, что на ней отражены и маршруты экспедиции 1907 года, однако они показаны менее удачно, чем экспедиция 1906 го-

да. И тут невольно возникла догадка: не мог ли Арсеньев сперва сделать листы, изображавшие экспедицию 1906 года, а годом позже сверху нарастить листы, относящиеся к экспедиции 1907 года. Чтобы проверить подобную возможность, решили обратиться к комплектам хабаровской газеты «Приамурье», из которой в свое время очень ценную информацию об Арсеньеве смог извлечь его друг и биограф М. К. Азадовский. Увы, в репортаже «Приамурья» об отчетном сообщении Арсеньева о его экспедиции 1906 года, сделанном в Хабаровске 7 апреля 1907 года, мы не нашли никаких сведений о его карте. Между тем этот репортаж был достаточно подробным. Газета отмечала, что «путешествие Арсеньева было сопряжено с огромными трудностями» и дало немалые научные результаты: «Кажется, нет той области науки, которой не коснулся бы в своих трудах талантливый путешественник и в результате дал яркую картину природы, населения, обычаев и нравов...» И репортер газеты заканчивал так: «Сообщение произвело огромное впечатление на присутствующих, ярко показав, что может сделать, хотя и на небольшие средства, истинный служитель науки, человек живого дела, ставящий целью прежде всего пользу родине».

Более полная информация об этом докладе оказалась в газете «Приамурские ведомости» (№ 1086 от 10 апреля 1907 г., с. 3). Здесь воспроизведен подробный план доклада В. К. Арсеньева:

«Состав и организация экспедиционного отряда. Путь от стан. Уссур. жел. дороги Шмаковка до залива св. Ольги. Побережье Татарского пролива. Пути к северу и в глубь страны. Реки. Колонизация. Этнография. Хищничество китайцев. Экономическое благосостояние местного населения. Юридические обычаи. Торговля. Хунхузы. История Уссурийского края по легендам тазов. Метеорологические сведения. Флора Зауссурийского края. Фауна страны. Орография. Дневник выдающихся событий из путевой жизни экспедиции. Заключение».

Кратко рассказав о маршруте экспедиции, репортер не преминул отметить, что неразумное волевое вмешательство начальника штаба генерала Рутковского значительно осложнило проведение экспедиции. И тут мы, наконец, увидели в репортерском отчете столь необходимую для нас фразу: «Докладчик демонстрировал отлично исполненную с нанесением рельефа карту местности...» Естественно мы решили, что здесь идет речь о южной части найденной нами карты.

Вставал вопрос: но когда же она была сделана вся? Очевидно, что северная часть карты могла появиться не ранее начала 1908 года, когда закончила свою работу экспедиция 1907 года.

И смущало нас имеющееся на карте название железнодорожного полустанка «Гондатти». Очевидно, что полустанок назван был в честь приамурского генерал-губер-



Фрагмент карты В. К. Арсеньева

натора Н. Л. Гондатти. Но таковым он стал как раз в тот момент, когда В. К. Арсеньев поехал в Петербург. Поэтому возник вопрос: может быть, эта карта была полностью закончена специально для лекций В. К. Арсеньева в Петербурге в конце 1910 — начале 1911 годов. В Русском географическом обществе В. К. Арсеньев выступал только два раза: 25 февраля и 18 марта. Для этих выступлений карта была весьма полезна. Однако в опубликованных протоколах о его выступлениях нет никаких упоминаний о карте.

Мы решили обратиться за помощью к знатокам биографии В. К. Арсеньева. Но не успели приступить к написанию писем, как неожиданно встретили в Ленинграде москвичку Анну Ивановну Тарасову (Васину), которая недавно успешно защитила диссертацию «В. К. Арсеньев — исследователь этнографии народов Дальнего Востока (Историографический и источниковедческий аспект)». В настоящее время нет более крупного знатока архивных документов о жизни и деятельности В. К. Арсеньева, чем А. И. Тарасова. Пригласили Анну Ивановну посмотреть найденную карту В. К. Арсеньева. И тут уже мы сами оказались в положении наблюдателей.

Анна Ивановна с восторгом поднимала листы карты и замирала от восторга: «Вы посмотрите, какой молодец Владимир Клавдиевич! Как он удачно подбирал краски. Как все оживает, становится все рельефным».

Несколько листов карты повесили на шкаф и отошли метров на шесть. Зрелище действительно оказалось изумительным.

Создалось впечатление, что мы парим над горами и смотрим на них сверху. Между тем эта карта делалась в ту пору, когда «ад теми местами вообще не летал ни один самолет. Прекрасно дана на ней речная сеть. Но особенно четко выступают красные линии всех маршрутов, проделанных Арсеньевым. Как их много и сколько боковых ответвлений! Да, В. К. Арсеньев был удивительно дотошным исследователем!

Невольно на ум приходит мысль: почему современные географы, выступая порою с интереснейшими докладами, вывешивают совершенно слепые карты, по которым ничего нельзя увидеть? А вот Владимир Клавдиевич не пожалел труда и сделал карту, которая читалась из отдаленных уголков зала. Неудивительно, что В. К. Арсеньев для своих лекций просил зал размером побольше.

Продолжая рассматривать карту, Анна Ивановна то и дело восклицала: «Нет, Вы посмотрите, тут... под акварельной краской проступают карандашные надписи. Это же, несомненно, почерк Владимира Клавдиевича!»

Анна Ивановна сказала: «В моих записях имеются некоторые сведения об этой карте. Я их обязательно пришлю Вам». Но как трудно ждать, когда хочется скорее получить ответ на волнующие нас вопросы!

Еще раз проверяем нашу версию о доращивании карты в 1908 году. Внимательно рассматриваем ее северные листы. Нет, никакого различия в технике исполнения нижних листов от верхних. Все говорит за то, что они делались одновременно. И тогда мы решаем вновь обратиться к комплекту газеты «Приамурье» за 1908 год. Листаем с начала года (в ноябре мы интересовались лишь серединой 1908 года). И вот первые радости. Наталкиваемся на официальные объявления Приамурского отдела Географического общества за подписью его председателя Ванкова о публичных лекциях В. К. Арсеньева: «27 марта в 7 часов вечера в гарнизонном собрании состоится «Сообщение шт.-кап. В. К. Арсеньева о работах экспедиции, путешествовавшей под его руководством по Уссурийскому краю».

В номере от 29 марта в «Хронике» находим краткое сообщение о выступлении Арсеньева. Узнаем, что оно продолжалось целых два часа и все-таки лектор вынужден был прервать свое сообщение только в его средней части. Продолжение доклада перенесено на 1 апреля.

Корреспондент «Приамурья» в восторге от доклада Владимира Клавдиевича. Он писал: «Перед слушателями открылась картина громадного труда и лишений, выпавших на долю отважных путешественников, которым неоднократно приходилось терпеть и голод, и холод, и огромный физический труд, переживать опасность быть растерзанными тигром, быть убитыми шальным таежным «промышленником» или же хунхузом, утонуть в суровой горной реке или оборваться с отвесной прибрежной

скалы, обойти которую нельзя, или, наконец, погибнуть от голода, что не раз угрожало небольшой экспедиции г. Арсеньева. Надо горячо любить науку и быть фанатиком дела, чтобы подвергать себя лишениям среди суровой и дикой природы».

Корреспондент сообщал о желании В. К. Арсеньева в будущем поехать в более северные районы Уссурийского края, но (увы!) ни о какой карте он не упоминал.

Продолжение сообщения В. К. Арсеньева состоялось 1 апреля в том же помещении. А 3 апреля в № 515 «Приамурья» появился новый весьма пространный отчет о докладе В. К. Арсеньева. И именно в этом отчете мы увидели долгожданные строки: «Для своего сообщения г. Арсеньев приготовил мастерски исполненную рельефную карту, пройденной им берегов (ой) полосы в масштабе 5 верст в дюйме, вследствие чего карта, по размерам, напоминала театральные занавесы».

Да! Конечно, здесь шла речь, о карте, найденной в Ленинграде!

И далее корреспондент газеты продолжал: «Давши общий очерк рельефа сказанной береговой полосы и ее орошения, г. Арсеньев остановился на путях сообщения, которыми служат здесь исключительно тропы, то по горам, то в непосредственном соприкосновении с морским прибоем, то по вязким болотам, трудно проходным в сухое время и недоступным в дождливое. Пользуясь своей превосходной картой, лектор картинно выяснил недоступность этой страны и с моря: береговая полоса состоит из отвесных скал, лишь кое-где изрезанных устьями горных речек, где постоянно хлопочат буруны, образующиеся от взаимодействия речных вод и вод морского прилива, и в устья поэтому не может войти с моря лодка даже при попутном ветре».

Упорное повторение корреспондентом слов «береговая полоса» невольно заставляет насторожиться: может быть, Арсеньев показывал только восточную часть своей громадной карты? Но тогда вряд ли бы корреспондент стал бы ее сравнивать с театральным занавесом. Да и к тому же далее он пояснил: «На карте им обозначены все имеющиеся здесь заселенные места, причем разными красками обозначены становища и одиночные юрты аборигенов страны, ороchon, тазов..., а равно и образовавшиеся в последние годы, поселения русских».

Это опять имеет прямое отношение к нашей карте, хотя мы никак не можем согласиться, что на карте изображены все поселения Уссурийского края. Сопоставление с другими картами Уссурийского края того времени это опровергает. На карте изображены те поселения, в которых В. К. Арсеньев смог лично побывать.

Оказалось, что и 1 апреля В. К. Арсеньев не смог закончить свое сообщение. Оно было продолжено еще 4 апреля. И 6 апреля газета «Приамурье» дала сообще-

ние о блестящем окончании выступления В. К. Арсеньева. Но уже без упоминаний о карте.

Газетные репортажи «Приамурья» интересны тем, что они характеризуют В. К. Арсеньева еще раз как большого гуманиста и увлеченного исследователя. «И любовь к нашей глухой первобытной тайге и к ее обитателям, именуемым орочами, «людьми» от человека до вороны, которая «прилетает к табору посмотреть, не останется ли и ей чего поесть после трапезы», собственно, людей, сквозила в каждом слове лектора». При этом «лектор пересыпал речь подлинными словами орочей, что делало его собственное повествование колоритным».

Затянувшаяся на три вечера шестичасовая лекция В. К. Арсеньева произвела на всех исключительно большое впечатление. И не удивительно, что почти сразу после этого Приамурский отдел Русского географического общества принял решение об организации новой исследовательской экспедиции В. К. Арсеньева. Эта новая экспедиция продолжалась более девятнадцати месяцев и была закончена в начале 1910 года.

1910 год прошел для В. К. Арсеньева весьма напряженно: именно в этом году он становится директором Хабаровского краеведческого музея и с большим энтузиазмом принимается за его полную перестройку. Осенью 1910 года Арсеньев несколько недель путешествовал с этнографом Л. Я. Штернбергом и его спутниками, а еще через некоторое время поехал в Петербург, где намеревался прочитать несколько лекций о своих путешествиях. В 1910 году у В. К. Арсеньева не было времени для того, чтобы составить новую подробную карту своих путешествий. Поэтому он захватил с собой ту свою демонстрационную карту 1908 года, которая неизменно производила на всех большое впечатление.

И все-таки нам необходимы были подробности. Вот почему мы с особым нетерпением ждали письма от А. И. Тарасовой. И вот наконец оно поступило. Ее ответ относительно карты Арсеньева во многом совпадал с нашими выводами. Тарасова писала:

«Вот что я могу Вам рассказать о карте Арсеньева:

Арсеньев уже к первому своему выступлению в Приамурском отделе РГО об окончании экспедиции 1906 года подготовил «отлично исполненную карту с нанесенными на ней маршрутами экспедиции» (по словам репортера газеты «Приамурье») и демонстрировал ее наряду с другими материалами (фотографиями, коллекциями, диапозитивами)».

Такие сведения мы имели лишь по «Приамурским ведомостям».

Далее А. И. Тарасова сообщала, что Арсеньев после возвращения в Хабаровск из своей второй экспедиции с января 1908

года «в течение грех месяцев составлял отчеты: готовил материалы (в том числе и виденную мною в БАН карту) для своих докладов в Приамурском отделе РГО, с которыми выступал трижды в конце марта—апреля...

Экспедиция 1907 года имела важные научные результаты, поэтому программа докладов была очень обширна. Достаточно сказать, что в ней нашли отражение не только сведения о самой экспедиции 1907 года, но и характеристика Уссурийского края с географич., историч., этнографич., экономич. точек зрения». И далее цитировалось без ссылки на № газеты уже известное нам сообщение репортера «Приамурья» о гигантской карте, которая «напоминала театральные занавес».

Исключительно ценные сведения о том, как интересующая нас карта-великан попала в Русское географическое общество, были в конце письма. В ноябре 1910 года В. К. Арсеньев выехал «в качестве помощника начальника эшелона для сопровождения запасных солдат до г. Сызрани. В этом эшелоне он вез несколько больших ящиков с разнообразными материалами, в том числе с той самой картой, которую мы видели в БАН. Из Сызрани весь груз был им направлен в адрес Этнограф отдела Русского музея по льготному тарифу, а сам он выехал поездом в Петербург».

«...в феврале (Арсеньев) — писала далее А. И. Тарасова, — обратился с просьбой к секретарю РГО А. А. Достоевскому о предоставлении ему для доклада большого зала (вероятно, из-за габаритов карты). Неизвестно, в каком зале состоялись доклады путешественника в РГО 25 февраля и 18 марта 1911 г. и демонстрировалась ли при этом карта, — скорее всего на эти вопросы можно ответить положительно, так как 26 февраля того же года Арсеньев выступил на собрании Разряда военной археологии и археографии Русского военно-исторического общества (в помещении Офицерского собрания армии и флота, Литейный пр., где теперь находится Дом офицеров Советской Армии) с докладом о древнейшей истории Уссурийского края, сопровождавшимся демонстрацией известной нам карты. Эта карта оставалась в Офицерском собрании вплоть до 16 марта 1911 г., когда Арсеньев, готовясь к своему второму выступлению в РГО, назначенному на 18-е марта, обратился с просьбой к А. А. Достоевскому «послать за ней кого-либо из служащих Русского географического общества», добавляя при этом, что он «ее дважды перевозил на извозчике за 40 копеек», что перевозку надо отнести за его счет. «Очень обяжете услугой» — писал он в заключение, — Вместе с сим пользуясь случаем и уведомляю, что карта эта останется в имп. Русском географ. обществе». Это свое решение Арсеньев через неделю подтвердил снова в письме к тому же А. А. Достоевскому от 22 марта 1911 г.: «Уезжаю

я на Дальний Восток между 1—10 апреля... Свою большую карту передаю в Географическое общество».

Эти данные позволили с абсолютной точностью установить, когда и при каких обстоятельствах попала в Географическое общество та самая гигантская карта В. К. Арсеньева, которая теперь стала одним из украшений рукописного отдела ленинградской Библиотеки Академии наук.

Лишь два вопроса остались еще нерешенными. Первый: была ли южная часть карты сделана еще в начале апреля 1907 года или в 1908 году была сделана особая аналогичная подробная карта рельефа всей зоны, в которой действовали экспедиции В. К. Арсеньева в 1906—1907 годах? Второй: когда появилось изображение полустанка Гондатти? Мы склонны были считать, что название это могло появиться только с 1910 года. В просмотренных расписаниях движения поездов на линии Владивосток — Хабаровск за 1908—1910 годы мы не нашли станции Гондатти. Но теперь выяснилось, что такое название могло возникнуть и ранее, так как еще в 90-х годах Гондатти некоторое время ведал вопросами заселения в зоне Уссурийской железной дороги. Следовательно, название могло появиться на карте Арсеньева еще до на-

значения Н. Л. Гондатти генерал-губернаторам Приамурской области. А. И. Тарасова допускает, что В. К. Арсеньев мог включить название полустанка Гондатти уже позже в ранее сделанную им карту. Несомненно, старожилы Дальнего Востока помогут найти правильный ответ на этот частный вопрос.

Таким образом, законченная весной 1908 года карта-великан В. К. Арсеньева представляет большой интерес для всех кому дороги его ценнейшие труды и удивительные путешествия. Эта карта способствовала большому успеху его затянувшегося на три заседания доклада в Хабаровске. Она же оказала ему помощь и во время его выступлений в Петербурге в начале 1911 года.

С середины марта 1911 года карта хранилась в Географическом обществе. Тот факт, что о ее существовании никто в Географическом обществе в годы Советской власти не знал, заставляет думать, что она была куда-то заложена еще до революции. И мы можем только радоваться тому, что теперь уникальная карта попала в наиболее надежные руки — хранителям отдела рукописей и редкой книги старейшей русской научной библиотеки — Библиотеки Академии наук СССР.



Л. ЯКИМОВА

СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ СИБИРИ

Сегодня много говорят о соперничестве литературных жанров, соревновании между ними, взаимодействии и взаимопроникновении жанров, жанровой диффузии и т. д. Внимание к проблемам движения жанров — существенная черта современного литературоведения. Еще свежа в памяти принявшая международный размах дискуссия о судьбах романа, когда был дан решительный отпор провозвестникам неминуемости его конца. Живой опыт развития современной литературы постоянно опровергает мрачные предсказания буржуазной критики относительно кризиса старого реалистического романа — формы, наиболее приспособленной к представлению человека в отношении его к обществу, в соотношении его личной судьбы с характером социальной жизни. Приоритет романного жанра в советской литературе был справедливо отмечен на VI съезде писателей СССР.

Наряду с признанием идейно-эстетических достижений романа как определяющей формы художественного творчества, в последнее время все упорнее пробивает себе дорогу и убеждение в исключительной активности повести, законности и ее притязаний на ключевые позиции в сегодняшней литературе. Коллективная монография по истории русской советской повести открывается признанием «победного шествия повести» в современной литературе: «Именно в ней — утверждают авторы, — с особенной полнотой отражаются сейчас идейно-художественные искания нашего времени, в ней находят более яркое выражение национальное своеобразие литературы, ее народность, реализм, гражданственность, в ней резче, рельефнее всего проявляются тенденции, которые в дальнейшем во многом будут определять развитие больших эпических форм в русской советской прозе»¹.

Мнение литературоведов получает под-

держку и в наблюдениях писателей. Нет ли в этих высказываниях о роли романа и повести разночтения современного литературного процесса, противоречий в его толковании? При аналитическом отношении к ним оказывается, что нет.

И действительно, если рассматривать проблему жанрового приоритета в широко развернутой временной перспективе, то вне всякого сомнения он остается за романом. Однако, если пристальнее взглянуть в сложный лик прошедших десятилетий, то станет очевидным, что, неизменно определяя стратегию литературного развития, выражая ведущие тенденции литературного процесса, силу тактической активности в отдельные периоды роман постоянно разделял с другими жанрами. История литературы знает периоды торжества очерка; как «золотой век» рассказа исследователи склонны обозначить 50-е годы; под знаком необычно высокой интенсивности повести проходят последние полтора десятилетия. Факты свидетельствуют об этом, но возможность оперировать ими в нашей статье ограничена, во-первых, пределами литературы Сибири и Дальнего Востока, во-вторых, последними двумя-тремя годами.

Проза Сибири, при всей отмеченности ее чертами местного своеобразия, проблемно-тематической и образной неповторимости, наглядно подтверждает единство и цельность литературной жизни страны, общность происходящих здесь процессов. Сегодня здесь важное место принадлежит средней эпической форме — повести. Именно она выдвинулась на передний край, на ней в основном держится литературно-художественный журнал. В самом деле, если произвести жанровую классификацию прозаических произведений, напечатанных в журналах «Сибирские огни» и «Дальний Восток» за два прошедших года, то в первом придется назвать три романа и десять повестей в 1974 году, два романа (один из которых переходит из предыдущего года) и тринадцать повестей в 1975 году; во втором — 1974 год отмечен появлением одного романа и десяти повестей, а 1975 год — двух романов и восьми повестей.

Убедительным подтверждением успешного развития современной повести может служить серия книг «Молодая проза Си-

¹ Современная русская советская повесть. Под ред. Н. А. Грозновой и В. Л. Ковалева. Л., «Наука», 1975, с. 4.

бири». Насчитывающая более пятидесяти выпусков, она первоначально мыслилась как издание многожанровое. Но и здесь, потеснив роман и рассказ, повесть заняла доминирующее положение.

Кстати, о повести как якобы жанра начинающих писателей, жанре молодых. Ныне процесс интенсификации повести обрел настолько глубокий характер, что делает возможным опровержение и этого довольно распространенного литературного стереотипа. И хотя инерция рассмотрения малых жанров как своего рода подготовительной школы, переходного этапа для создания романа продолжает сохраняться, опыт развития современной прозы, в том числе и сибирской, убеждает, что все привычней становится фигура писателя, сделавшего повесть не переходным, не этапным, а избранным жанром своего творчества.

Здесь можно сослаться на творчество Ч. Айтматова, Б. Васильева, В. Лихоносова, В. Распутина, В. Быкова, Г. Матвеевича, А. Якубовского. Чаше стало встречаться и явление противоположного характера: писатель, овладевший романной высотой, «уходит в повесть», и при этом оказывается, что именно она в большей даже степени, чем роман, отвечает его творческому складу. Можно сослаться, например, на Ю. Трифонова, Г. Ходжера.

И наконец есть целая область литературы, в которой проза почти исключительно держится на повести. Это детская литература, где у повести нет соперников ни в романе, ни в рассказе, ни, тем более, в очерке.

Что же делает сегодня повесть столь продуктивной формой художественного творчества? Чем притягательна она для писателя и в чем секрет ее успеха у читателя? Конечно, можно сослаться на мобильность и оперативность повести как средней между романом и рассказом эпической формы, на усвоенную ею способность вбирать в себя структурно-стилистические начала того и другого, на ее жанровую эластичность. Но такое объяснение будет верным лишь отчасти. Плодотворность современной повести, в особенности повести последних лет, несомненно, связана с внутренними, качественными изменениями самого ее жанрового механизма, с приспособлением его к сложным запросам нашего времени — восхождения на новый этап коммунистического строительства.

Появление монографии «Современная русская советская повесть», представившей повесть в широком историческом диапазоне — с 40-х до начала 70-х годов — и сочетавшей при этом исследование истории жанра с фронтальным рассмотрением ее конкретной идейно-художественной сути, помимо всего прочего, во многом облегчает поиск ответа на поставленные вопросы. Последовательно сосредоточивая внимание на тех изменениях, которые происходили и накапливались в советской повести от периода к периоду, это исследование при-

ближает нас к постижению сложного лика и повести последних лет, к пониманию обретенных ею возможностей.

Сегодня, как никогда, повесть становится средоточием мысли о времени, раздумий о месте человека на земле, об ответственности его перед людьми. Для нее особенно важной оказывается способность поставить проблему исследовать явление в процессе возникновения, схватить его в динамике и тенденциях развития. Повесть последних лет отличается не столько вниманием к состоянию среды, к обстоятельствам, формирующим личность, сколько вниманием к личности, воздействующей на обстоятельства. Пафос творческой активности человека, зависимости характера взаимоотношений с обществом от его нравственной сути в значительной мере определяет идейно-эстетическую и эмоциональную атмосферу повести. Конечно, не менее внимателен к этим проблемам и роман, но повесть решает их своими средствами более мобильно и оперативно, и в ней особенно важна способность в концентрированной — по сравнению с романом — форме выразить общий взгляд на жизнь, выявить авторскую концепцию мира и человека, показать судьбу отдельной человеческой личности и соотнесенности с судьбой народа.

Современную повесть не остановит поистине романский характер этой задачи, но это вовсе не значит, что ее успех хоть в какой-то мере ослабляет позиции романа. Дело в том, что роман не угасал, не сдавал позиций, не переживал кризиса, не обнаруживал спада ни тогда, когда преуспевал очерк, ни тогда, когда вырывался вперед рассказ, ни сейчас, когда активизировалась повесть. Сегодня повесть торжествует победу не вопреки, а благодаря достижениям романа, благодаря тому, что обретения этого жанра стали определяющим качеством всей нашей литературы. Влияние романа испытывают все эпические жанры, и повесть прежде всего в силу источно-генетической размытости ее границ с романом. При этом как бы ни были легки переходы от повести к роману, от романа к повести, как бы ни было сложно в каждом отдельном случае определить жанровую суть произведения — то ли роман, то ли повесть, в целом повесть все-таки не утрачивает своих главных жанровых ориентиров, специфичности своего эстетического облика.

И если роман ориентирован на создание целостной картины жизни в различных ее социальных слоях, в ее аналитическом и синтетическом содержании, в выявлении закономерностей большого социального и исторического диапазона, в неразрывности прошлого, настоящего, будущего, в многообразии социально-психологических типов, то, не претендуя на подобную широту в каждом отдельном случае, в массе своей повесть создает поистине эпопеей представление о современной действительности.

Корень прочности ее сегодняшнего положения в литературе — в характере со-

ответствия духу времени. Повесть полнее, чем рассказ, и оперативнее, чем роман, отвечает той интенсивности социального развития, которая присуща периоду развитого социализма. В полном соответствии с требованием действительности находится ее ориентированность на исследовательское отношение к жизненному материалу, проблемность и интеллектуальную глубину содержания, документализм. Сейчас, когда экономические и социальные стороны жизни обнаруживают теснейшую связь с уровнем нравственной подготовленности человека, когда «человеческий фактор» воспринимается как мощный ускоритель общественного прогресса, повесть в большей степени, чем любой другой жанр, стала средоточием нравственной проблематики. Ее жанровый механизм очень хорошо приспособлен для непосредственного выхода автора на читателя, для открыто публицистического выражения взгляда на мир. В открытости и активности авторской позиции заключается, может быть, одно из главных качеств повести, выводящих ее на передний край литературы.

Трудно передать строгую классификацию современной повести, исходя из ее чисто жанровой сути¹, потому что жанровые признаки по существу оказываются неотделимыми от других. Исследователи классифицируют современную повесть, исходя одновременно из нескольких признаков: и по характеру жизненного материала (семейно-бытовая, «производственная», «деревенская», историческая, приключенческая и т. д.), и по способу его организации (хроникальная, панорамная, сюжетная, бесфабульная, «внутренний монолог» и т. д.), и по основному идейно-эстетическому пафосу (лирическая, философская, психологическая, сатирическая, документальная, романтическая и т. д.).

В связи с поисками путей к наиболее полнокровному изображению действительности современная повесть обращает на себя внимание богатством жанровых вариантов, неожиданным сочетанием разных структурообразующих, тематических и изобразительных принципов. Историческая повесть может быть и лирической, и философской, и сатирической, а сатирической может быть и производственная, и социально-бытовая, и приключенческая повесть и т. д. Именно эта возможность избирать разные видовые «категории» каждый раз в соответствии с неповторимыми тематическими и изобразительными задачами и обеспечивает повести необычайное жанровое многообразие.

Наряду с повестью о современности активно проявляет себя историческая по

весть. Сегодня она отмечена в Сибири большим хронологическим размахом. В повести «Край земли» Арсения Семенова («Дальний Восток», 1974, № 6, 7) изображается эпоха Петра, патриотический подвиг русских землепроходцев. Повесть «Несчастная верная сестра» Марка Сергеева («Сибирские огни», 1974, № 6, 7) имеет подзаголовок «Повесть о женах декабристов». Повесть «Без страха и упрека» Франца Таурина («Сибирские огни», № 11, 12) в подзаголовке указывает, что она посвящена деятелю революционно-демократического движения России — Николаю Серно-Соловьевичу.

Продуктивна сегодня и та форма повести, где изображается прошлое, еще не ставшее для автора историей. Таковы «Месяц первых цветов» Алексея Вальдго («Дальний Восток», 1974, № 12), «Балкон без перил» Эдуарда Бурмакина («Сибирские огни», 1975, № 6), «Где-то в городе, на окраине» Николая Самохина (там же, № 10), где время дано живым, движущимся и где автор постоянно нарушает хронологическую последовательность повествования своим голосом из «сегодня».

Среди произведений о современности есть и «производственные», и социально-бытовые, и анималистические повести. Не забыт и детектив: тут можно было бы сослаться на повести «Участковый инспектор» В. Лавринайтиса («Дальний Восток», 1975, № 7, 8), «Следствием установлено» М. Черненко («Сибирские огни», 1974, № 1, 2, 7, 8; 1976, № 3).

Но есть один признак, которым, как красной чертой, отмечена сегодняшняя повесть независимо от того, к прошлому или современности она обращена, социально-бытовой или «производственной» она является. Ее, как правило, характеризует устремленность к исследованию нравственного и духовного мира человека, к отражению конфликтов, в основе которых при всей их социальной значимости лежит нравственная мера человеческих отношений. И чаще всего динамизм повествования внутренней жизни героя.

Даже, казалось бы, самый «непсихологический» вид литературы, так называемая «производственная проза» испытывает на себе это воздействие времени, проходя через искус выверить «дела производственные» человеческой ценностью работника. «Эх! — сожалеюще восклицает один из героев повести новосибирского писателя Петра Воронина «Одержимость». — Рановато меня на свет произвели. Старый я, не подняться мне уже. А время-то, время, — не в пример прежнему. Справедливое время настало. Уважают теперь в рабочем человеке не одни только рабочие руки золотые, а и его самого, (подчеркнуто мною — Л. Я.) потому что он — человек. От него, от человека, все богатство на земле»¹.

¹ Авторы монографии «Современная русская советская повесть» называют пять основных жанровых видов повести: «описательная», повесть с эпическим, или «экстенсивным», сюжетом, повесть с органическим, или «концентрическим», сюжетом, новеллистическая и лирическая (с. 7—11).

¹ П. Воронин. Одержимость. «Сибирские огни», 1975, № 3, с. 48.

Писатель воспользовался записями старого рабочего-металлурга, своего отца, и переложил на язык литературы бесхитростный рассказ его о своей судьбе, о трудном пути к вершинам рабочей славы. Не приуменьшая творческой роли писателя-профессионала в обработке записей, следует тем не менее отметить, что глубина достоверности, искренность и проникновенность эмоциональной атмосферы повести, несомненно, связаны с качеством самого исходного материала.

Здесь правдиво воспроизведены конкретные социальные обстоятельства жизни героя, условия труда и быта, зримо запечатлены черты целой исторической эпохи советского общества, начиная от революции — кончая сороковыми годами. Но главное внимание сосредоточено на исследовании внутреннего мира героя, сложного процесса становления его личности, формирования его мировоззрения как советского человека и, прежде всего, как представителя советского рабочего класса. Во весь рост встает человек, проживший свою жизнь «с оглядкой и примеркой на высочайшую высоту, на Октябрьскую революцию», которая вывела его, тамбовского крестьянина, в рабочие высшей квалификации, сделала коммунистом.

В герое П. Воронина особенно привлекательная требовательность к самому себе, постоянное стремление к нравственному совершенствованию. Беспощадно вытравляя в себе все мелочное, корыстное, освобождаясь от пут собственничества, узости интересов и душевной черствости, приходит он к обретению способности быть добрым и щедрым к людям и одновременно мыслить широко, масштабно, государственно. И особую красоту всему его человеческому облику придает гордость званием рабочего и искренняя — до одержимости! — преданность социалистическому идеалу, идее коллективного труда.

«Одержимость» — произведение не о наших днях, но оно современно в самом прямом значении этого слова. Современность не только потому, что в нем прослеживаются истоки, социальные и исторические корни морально-этического кодекса советского человека, но и потому, что в нем непосредственно звучит голос нашего современника. Этот голос принадлежит автору повести, который комментирует раздумья старого рабочего, дает им оценку с позиций нашего времени.

«Я думаю о жизни и смерти. Я думаю о множестве поколений, которые были до нас. В чем смысл их существования?»

Для меня ответ однозначен: в том, что бы вопреки мерзости мерзавцев и глупости глупцов творить добро...» — этими словами заканчивается повесть П. Воронина, и выраженное в ней стремление соотнести масштаб отдельной личности, ее дел, мыслей, поступков с ходом всей истории, судьбами страны и человечества — характерная черта современной повести.

В этом убеждает повесть дальневосточ-

ника Юрия Васильева «Право на легенду». Во многом — по жизненному материалу, характеру главного героя — она близка «Одержимости», хронологически даже как бы продолжает ее, но по манере художественного исполнения существенно от нее отличается. Подзаголовок «Семь дней в конце лета» объясняет основной принцип ее композиции. Через изображение, в общем-то обычных, семи дней героя — Петра Семеновича Жернакова, токаря-универсала судоремонтного завода, просматривается тридцатилетний кусок его жизни, с момента приезда в этот город на краю земли незадолго до окончания войны и вплоть до последнего времени.

Это удается сделать не только благодаря типизирующей силе образа каждого из семи дней, как в зеркале отражающих суть «всей жизни» героя, но и благодаря той особой роли, которую играет в повести образ памяти, воспоминаний. Память, как окно в прошлое и пережитое, помогает воссоединить отдельные звенья времени, воссоздать цельность жизненного пути.

Биография Жернакова не богата событиями. Человек этот интересен другим — богатством духовных исканий, глубокой осознанностью своего труда, всех дел и поступков. Интересны его мысли о времени и о себе, отношении к людям, морально-этическая программа бытия. Герой предстает перед читателем на вершине жизненных достижений — трудовой славы, общественного признания; отмечен орденами, избран депутатом областного Совета. И всего этого он достиг благодаря особой прочности своей «нравственной мускулатуры», твердости исходных жизненных принципов. А исходит он из убеждения в том, что каждый человек должен соответствовать избранному делу и стремиться при этом к максимальному выявлению своих творческих сил, к предельной самоотдаче. Рабочий тонкой и точной профессии, он пытается отыскать, сформулировать и закон становления человеческой личности. Он в том, чтобы «спрашивать с себя полной мерой». Чем больше человек отдает людям, тем богаче становится сам, тем ярче и колоритнее проступает его характер. Что «нельзя жить под залоги», что «жизнь не прощает человеку работы в полсилы» — эти нравственные истины постиг он и личным опытом, выверил и опытом других. Сам он «каждое дело делать умеет, как будто от этого дела жизнь зависит»¹. И ведь вот ровесники они с Артуром Иочисом, и общество возможности им предоставило равные, и природа каждого талантом в равной степени наделила: одного чутьем к металлу, другого — к дереву, а человеческие итоги получились разными. Дело же в том, что пошел Артур на уступки, на сговор с самим собой, стал искать для проявления таланта особых

¹ Ю. Васильев. Право на легенду. «Дальний Восток», 1974, № 4, с. 46.

условий — свободы. Свобода от обязанностей перед людьми. А так как в его представлении «деньги — это отчеканенная свобода», то и стал он работать ради них, простаивая с утра до ночи за верстаком, изготавливая шкафы да серванты и успокаивая себя мыслью, что это лишь временно, «пока». Талант же в бездействии захирел, угасла без любимого дела душа Артура, и горьким упреком самому себе звучат его слова: «Я плевелы сберег, а зерно просыпал».

Упрощенно было бы думать, что во взаимоотношениях Жернакова и Иочиса заложена лишь антитеза духовного и собственного отношения к жизни. Старый краснодеревщик сам в конце концов понимает свой главный просчет, и писатель не изображает в нем просто сквалыгу и банального накопителя. Да и Жернаков вовсе не представлен бесребреником; он даже гордится тем, что было время, когда зарабатывал больше всех в городе. Корень нравственной проблемы в другом — в противопоставлении бездумного, существовательского безоглядно-индивидуалистического самоосуществления личности самоосуществления творческому, осознанно-гуманистическому. Думая о нравственном самоусовершенствовании, внося личную страсть в решение насущных проблем времени, такие, как Жернаков, связывают это с духовным прогрессом человечества, с верой в торжество добра как главную и конечную цель земной истории.

Иван Воронин, герой повести «Одержимость», и Петр Жернаков — представители старой гвардии рабочего класса, которым пришлось вынести на своих плечах всю тяжесть борьбы за социализм, довелось пройти через горнило неимоверных испытаний и выйти из них несгибаемыми в своих убеждениях. «Черные лица, белизна зубов и глазных белков. Как в преисподней: жарынь невыносимая, копать, похожие на чертей люди, неистово мечущие раскаленное железо. Одежда тоже под стать: иные в рубахах-распашонках, на ком-то пиджаки, прокопченные, просоленные насквозь потом. Обувка — веревочные лапти...» — таким предстает рабочий в повести «Одержимость». Как не похож на своего собрата 30-х годов современный рабочий: изменился его внешний облик, неизмеримо раздвинулся горизонт мысли и чувства, выросли жизненные потребности.

Чем он живет, о чем думает, что его волнует, как складываются его отношения с миром, как ощущает он свою принадлежность к самому передовому в мире классу — об этом идет речь в повести «Скрытая работа» Гария Немченко. Она принадлежит к тому ряду произведений, как повести «Не прячьте скрипки в футляры» В. Коньякова, «Практикант», А. Черноусова, «Доверенное лицо» Е. Богданова, о которых в докладе на XXV съезде Л. И. Брежнев говорил: «Возьмите, к примеру, то, что ранее суховаты называли

«производственной темой». Ныне эта тема обрела подлинно художественную форму. Вместе с литературными или сценическими героями мы переживаем, волнуемся за успех сталеваров или директора текстильной фабрики, инженера или партийного работника. И даже такой, казалось бы, частный случай, как вопрос о премии для бригады строителей, приобретает широкое общественное звучание, становится предметом горячих дискуссий».

Действительно, и в повести Г. Немченко поставлены такие волнующие современного читателя проблемы, как личность руководителя производства, моральный климат внутри рабочего коллектива, мера личной ответственности работника, взаимоотношения представителей разных поколений рабочего класса. Особую силу жизненной осязаемости их решению придает фигура повествователя — лица, непосредственно представляющего рабочий коллектив и причастного к изложенной в повести истории. Излагается же она так, что рассказчик как бы сам себе пытается уяснить ситуацию, разобраться в людях, понять, кто прав, а кто заблуждается. Читатель оказывается приобщенным к исследовательской работе его ума, сложному процессу постижения людских характеров, смысла возникшего производственного конфликта. И люди, и их отношение к делу и вообще вся суть произошедшей истории открываются читателю не раньше, чем они откроются самому повествователю.

А так как герой повести предстает человеком пытливым, наблюдательным, идущим в ногу со временем, склонным к тому же к юмору, то и повествование приобретает черты непринужденного разговора, такого естественного общения с читателем. Так ли уж важно, если в фундаменте возводимого объекта будут допущены некоторые недочеты или забыт рабочий инструмент, когда идет огромная стройка, когда поджимают сроки, горит план, возникает тысяча нерешенных проблем и речь идет о премии большому коллективу: «Засыпал, в самом деле, — и все заботы... А все остальное уйдет, так сказать, в глубь веков. Недаром же: скрытая работа. Закрыли, и все дела, — термин прав»¹.

Однако с такой постановкой вопроса в принципе не может согласиться куратор стройки Алексей Кирилыч Травушкин. Принимая работу бетонщиков, он требует от них неукоснительного соблюдения технологических правил. Человек высокой профессиональной выучки, он непоколебимо убежден, что самым верным залогом прочности производственного объекта является совесть рабочего, мера личной его ответственности за общее дело. Запас прочности фундамента стройки он мыслит в прямой зависимости от человеческой, нравственной прочности строителей.

¹ Г. Немченко. Скрытая работа. «Сибирские огни», 1975, № 6, с. 13.

И хотя случилось так, что Травушкин с высокой мерой его требовательности к качеству сдаваемых объектов пришлось оставить стройку, красота его человеческой сути, истинность его моральной позиции не осталась здесь незамеченной. Многих заставил он задуматься, пересмотреть свои жизненные принципы. В повести вообще велика роль художественного подтекста, ее смысл многозначен, а сам термин «скрытая работа» предстает в ней как символ вечности нравственного поиска: «Вам не кажется, — говорит Травушкин, — что самая скрытая работа происходит не вокруг нас, не с материальными, если хотите, вещами, но — в душе человеческой».

Возрастание социальной активности человека, укрупнение масштабов рядовой личности современная литература все теснее связывает с дальнейшим совершенствованием социалистической демократии. И, может быть, даже ни разу не употребив этого термина — «демократия», Евгений Богданов в своей повести «Доверенное лицо» говорит по существу главным образом об этом — о необходимости укрепления демократических начал непосредственно на производстве, выдвигая на первый план нравственную, человеческую сторону этой проблемы. По остроте и общественной важности поставленных здесь вопросов, емкости и глубине содержания повесть может служить примером больших идейно-эстетических возможностей этого жанра. Здесь тоже ощутима роль подтекста, глубинного, «скрытого» слоя повествования.

Писатель — в лицах и характерах — показывает разные «уровни» производственного коллектива — это крановщик Муриди, мастер смены Сергей Булыгин, начальник плавильного цеха Алексей Кузьмич Злагода, наконец, сам — директор завода и вскрывает сложный механизм их отношений, убедительно при этом доказывая, что в современном управлении производственным процессом, как никогда, возрастает роль человеческого взаимопонимания, осознания единства целей всем коллективом — от рядового рабочего до руководителя.

В повести широко развернута проблема человеческого доверия. Решить сложную производственную задачу — перейти с посменной плавки на безостановочно круглосуточный процесс, получить значительную экономию во времени именно на переходах от смены к смене — оказывается возможным лишь при учете множества факторов, — в том числе и моральных, как совесть, честь, профессиональная гордость рабочего, как доверие производственного коллектива администрации. «Разговоры о том, что нет смысла выкладываться, потому что потом повысят нормы и срежут расценки у них в плавилке возникали реже, чем на мехзаводе и в других цехах. Но все же были». Жизнь цеха изображается в момент чрезвычайно сложной и ответственной — идет реконструкция печей,

и, чтобы без остановки производства выполнить государственный план, необходимо именно «выложиться».

Достигнутые при этом отношения рассматриваются не как что-то исключительное, не как результат разовой договоренности высоких заинтересованных сторон, а как нечто само собой разумеющееся, повседневное, естественное и, вроде воздуха, необходимое. А потому и не хочет Директор обсуждать вопрос о доверии с Сергеем Булыгиным: «Следовательно, вы опасаетесь, — спрашивает он, — не будут ли изменены нормы без достаточного технического обеспечения? То есть не обманет ли вас администрация и лично я? Как видите, это вопрос доверия. И отвечать на ваши слова — это примерно то же, что отвечать на вопрос, честный ли я человек.

Сергей почувствовал, как загорелось лицо.

— Но вам же важно, чтобы цех наверстал отставание? — сказал он потупясь.

— Мне? — сухо переспросил директор. — А вам?...¹

И хотя фигура Директора представлена лишь в одном эпизоде, но многое она проясняет в сложившейся на предприятии обстановке. По всему чувствуется, что этому руководителю хочется иметь дело с людьми, осознающими государственный интерес как свой собственный, видеть в них не просто подчиненных, а коллег, соратников, равно, как и он, по-хозяйски болеющих за судьбу общего дела и в торжестве его умеющих разглядеть личную цель. Здесь «зазор» между мнением героя и автора исчезает полностью, потому что сущность советского демократизма писатель видит не только в том, что рабочий парень Сергей Булыгин становится кандидатом в депутаты горсовета, начальник цеха Алексей Кузьмич Злагода выступает как его доверенное лицо, но главным образом в открытости, нравственной чистоте, истинности и естественности человеческих отношений на всех уровнях жизни, в общественной обеспеченности роста каждого человека, в возможности превращения его в личность.

Можно сказать, что в сибирской повести последних лет защита цельности человеческой личности, ее права на одержимость как активное осмысление и осознание своего места в общем строю приобретает фронтальный характер. Собственно в этом видится смысл повести алтайского писателя Эркемена Палкина «Алан». Композиционным центром ее является герой, именем которого она названа и через восприятие которого главным образом даны в ней и другие лица, и общая картина жизни алтайского села в первый послевоенный год.

Только что кончилась война, и, как тысячи других фронтовиков, возвращается

¹ Е. Богданов. Доверенное лицо. «Молодая проза Сибири», 1974, с. 81.

домой Алан. Родной край встречает его горькой вестью о смерти матери. Острым взором долго отсутствовавшего человека схватывает он разрушительные следы войны, жестоко пробороздившей и горные хребты Алтая. С болью замечает он, как выросли в землю деревенские дома, как пусто стало в деревне, как устало выглядят односельчане. Постарела сестра; родной дом стоит без ограды; оскудел, изнемог, обессилел за время войны колхоз. И живым олицетворением этого является новый председатель Мырчай Тантыбаров — морально нечистоплотный тип, злоупотребляющий данной ему властью.

Возникает знакомая ситуация, и трудно избавиться от мысли, что повествованию не свернуть уже с проторенной дороги. Казалось бы, начало повести обещает лишь традиционное развитие конфликта, известного советскому читателю по произведениям послевоенной поры. Возвращающийся домой фронтовик смело вступает в бой со всякого рода хищниками, консерваторами и, успешно преодолев их сопротивление, добивается успеха. По этому пути сюжетного развития пошел не один колхозный роман, не одна повесть.

Э. Палкин, дав читателю понять возможность традиционного сюжетного поворота, сознательно уходит от изображения конфликта между плохим председателем и творческим человеком, как главной цели повествования. Этот конфликт присутствует, но лишь как один из составных моментов самопроизвольного течения жизни, изображенной в повести. Если б повесть была сведена только к нему, то едва ли бы сегодня привлекла к себе внимание.

Но она не случайно названа именем героя. В центре ее — не столько прямое, непосредственное, авторское изображение послевоенной алтайской деревни, сколько то, как воспринимается окружающее и весь мир ее героем, алтайцем Аланом. Главное в повести — это его личность, его мироотношение, исследование его нравственной и духовной реакции на самые разные стороны современности — на производственные дела, национальные обычаи, взаимоотношения людей, события международной жизни. В восприятии мира Аланом явно проступают черты возросшего национального самосознания алтайца, и писатель связывает это с расширением сферы его общественных интересов, осознанной неразрывности с социальным коллективом — в масштабах своего народа, семьи советских народов, всего мира. Эта мысль выражена в повести с публицистической обнаженностью и заостренностью: «Этот парень в успешней выгореть гимнастерке со споротыми погонами лицом к лицу встречался со смертью. Он побывал в таких краях, о которых в здешних местах и слышать не слышали.

Какая забота была прежде у сверстников Алана? Отработал свое и — верхом на коня. Из гостей в гости, пока не отыщется невеста, не сложится семья, пока

не придут заботы хозяина очага. Не было для алтайца иных путей в жизни, иных интересов. Годы, что предстояло прожить, расстились бесконечной серой дорогой, и не было ни охоты, ни нужды замечать что-нибудь на этом пути. Вилась дорога среди травы — бурьяна, поднималась на холмы и пропадала за ними... Хотя на коне верхом скачи, по ней, — никаких следов не остается»¹.

Как мы видим, началом, цементирующим идейную сущность повести, является четкая концепция личности, в свете которой увидена и конкретная судьба алтайского парня: «Каждый человек теперь оставляет свой след на земле», — утверждает писатель. И утверждение это приобретает значение идейно-эстетической программы, становится главным содержанием гуманистической мысли автора.

От человека теперь зависит, как глубокий будет его след на земле, и значимость его личности определится в зависимости от прочности связей с интересами народа, от глубины творческого отношения к делу, от меры индивидуальной ответственности за общее благо от степени личной инициативы, одним словом, оттого, сколько человек «взял на себя». Только в этой связи и может быть понята суть образа Алана.

Вернувшись с фронта, он пристально вглядывается в жизнь односельчан, пытается разобраться в сложных противоречиях послевоенного бытия, видит, что, помимо объективных причин, веру колхозников подрывает элементарное беззаконие, чинимое Тантыбаровым и его приспешниками. Как честный человек, он пытается по своему противостоять хищническим махинациям председателя, но оказывается сломленным силою людской инерции, покорностью большинства: «Зачем ему понапрасну с людьми ссориться? Какое ему дело... Пусть все идет, как идет». Вот и оказывается, что сила его социального чувства еще не такова, чтобы ринуться в открытый бой со злом, чтобы проявиться в наступательных действиях.

В психологии героя рядом с чувством собственного достоинства уживаются непреодоленные еще черты созерцательности и уступчивости, пассивности и невмешательства. Говоря словами парторга, он меньше, чем может, «берет на себя», значительно меньше, чем может, несет личной ответственности за общее положение дел. Отсюда и оценка его человеческой значимости. Однажды он слышит, как парторг, загибая пальцы, перечисляет приезжему из аймака лучших людей колхоза: «Кого это он перечисляет? Почему меня не назвал. Разве я не честный?» Нет, он честный парень, но не борец, не искатель, положительный человек, но не положительный герой.

Писатель раскрывает противоречия вну-

¹ Э. Палкин. Алан. «Сибирские огни», 1972, № 6, с. 47.

тренней жизни Алана, сложного процесса постижения им самого себя, самоопределения его как личности. Главный акцент сделан на противоречие между потенциалом социального чувства героя и степенью его реализации им. Итогом же его внутреннего развития явилось понимание определенной ущербности и неполноценности жизненной позиции, недостаточности выявления социальной энергии своего «я» перед высокими требованиями послевоенного общества. «Надо быть бесстрашным», — убеждает себя Алан, подводя «предварительные итоги» первому году новой, послевоенной жизни. В этом смысле произведение, написанное на старом материале, оказывается очень современным по характеру поставленных в нем проблем.

То же видим мы в последних повестях нанайского писателя Григория Ходжера «Какого цвета снег» («Дальний Восток», 1974, № 2, 3) и «На свидание к деду» (там же, 1975, № 3). В силу своей молодости нанайская проза не смогла откликнуться синхронно на проблемы военных и послевоенных лет, но сегодня, обращаясь к этому материалу, как целинному, она не повторяет пройденного русской литературой этапа, а идет в русле идейно-художественных исканий нового времени.

В основе повести «Какого цвета снег» тоже лежит известная литературе прошлых лет сюжетная коллизия: потерявший зрение солдат возвращается домой и огромным напряжением воли пытается преодолеть свое физическое бессилие стать полезным членом общества и тем самым обрести уверенность в себе. Все, чем были наполнены такого рода произведения раньше, можно найти и в повести Г. Ходжера. В ней тоже много места отдано картинам напряженного труда нанайских рыбаков, равно как и изображению усилий слепого Макара вернуться в трудовой строй. Однако только к этому не сводится ее содержание, иначе читатель воспринял бы ее как перепев известного литературного мотива. Созвучной времени она становится благодаря заострению внимания на проблемах морально-этических — внутренних человеческих ценностей.

До войны Макар, как и многие парни, жил легко и бездумно. Жизнь казалась ему проторенной дорогой, и хотелось, идя по ней, получить как можно больше удовольствий. Он не был вконец испорченным человеком, в его проказах не было злонамеренности, просто отсутствовало в нем то, что называется нравственным стержнем, не обрели четких контуров представления о добре и зле. Жертвой его бессознательного аморализма чуть было не стала соседка Груня, когда, воспользовавшись доверчивостью, покусался он на ее девичью честь из одного лишь желания похвастаться легкой победой перед друзьями.

Но вот побывал солдат на войне, соприкоснулся и с кровью, и с жестокостью, даже свой «последний снег» увидел в черно-красном цвете. Какие стороны ха-

рактера высветила в советском человеке война? С каким нравственным итогом вышел из нее Макар? В каком направлении пошло его развитие — укрепился ли он окончательно в своем аморализме или, нравственно закалившись, обрел твердые внутренние устои?

Разумеется, ответить на эти вопросы невозможно в отрыве от понимания социальных, исторических и человеческих целей войны с фашизмом. Победа над ним была одержана в результате неоспоримых преимуществ социалистического строя, морального превосходства человека, рожденного им, но это превосходство в войне не только проявлялось, «расходовалось», одновременно в ней оно и вырабатывалось, «воспроизводилось» — об этом и говорит образ Макара. Обнажая сложную диалектику связи нравственных и социально-исторических начал, советская литература находит все новые формы и грани ее выражения. Моральное превосходство советского человека перед стандартизованной, бездушной «механической» личностью фашистского «орднунга» не с неба упало; оно рождалось в трудностях и сложностях социально-политического, национального и культурного строительства в условиях социализма; процесс этот не был приостановлен и во время войны. Участниками ее были люди разной нравственной зрелости. Победа в ней явилась не только результатом выявления ранее обретенной человечности: война и сама способствовала ее обретению. Что недополучил Макар как человеческая личность в мирное время, он получил на войне, в ощущении святости ее целей, в соприкосновении с высокой ее гуманистической сутью.

И не случайно, бескомпромиссная в своих духовных исканиях Груня, мечтающая о любви «не как у всех», верит, что «ее солдат вернется с войны человеческим», а не грубым, жестоким, не способным различать тонкие оттенки чувств. Действительно, именно в сопричастности к тому, что несла в себе Великая Отечественная война, окрепла душа Макара; наступило то внутреннее прозрение, которое позволило критически пересмотреть и прожитое, в ином свете увидеть и свое человеческое назначение, задуматься над сложностями жизни, воспринять ее заново во множестве незамеченных ранее оттенков, нюансов, переходов из одного состояния в другое. Через осознание вины перед Груней приходит к нему и настоящая любовь, а вместе с ней и способность восприятия мира в богатстве его красок. Собственно, над тем, какого цвета снег, Макар задумался только сейчас и духовно, внутренне ощутил, что «он бывает разный — снег. Когда как взглянуть, когда какое настроение, чувство у тебя».

В литературе последних лет, когда страна шла к 30-летию юбилею Победы над фашистской Германией, на первое место выдвинулась, пожалуй, повесть о войне, причем военные мотивы явились существен-

ной частью идейно-художественной структуры произведений и на другие темы. Значительное место занимает военный материал в повести П. Воронина «Одержимость», Ю. Васильева «Право на легенду», В. Русскова «Каленов яр» и других. Прилив второй волны военной темы вызван не только целями дальнейшего уточнения фактической сути происходивших 30 лет тому назад событий, но главным образом стремлением углубить понимание источников нашей победы, по-новому высветить нравственный, гуманистический аспект войны, решить целый ряд важных вопросов советского человековедения. Какие достоинства и изъяны в человеке, рожденном новым строем, выявила война? В час крайнего испытания как проявилась нравственная и духовная суть советского человека? И как в свете прошедшей войны выглядит внутренний мир нашего современника, уже прожившего мирное тридцатилетие? В поисках ответа на эти вопросы видится смысл повестей «Горные вершины» И. Елгечева («Сибирские огни», 1975, № 5), «Балкон без перил» Э. Бурмакина (там же, 1975, № 6), «Деды, отцы и дети» О. Хавкина («Дальний Восток», 1975, № 8, 9) и других.

Глубина идейно-эстетического воздействия современной повести на читателя во многом определяется способностью авторов к расширению ее жанровых возможностей, максимальному использованию ее художественного пространства. В повести о войне это проявляется довольно наглядно. Чаще всего время предстает в них одновременно в двух измерениях — в прошлом и настоящем. Особую значимость приобретает художественный образ памяти, воспоминаний, широко используются разные формы композиционной ретроспекции. Наведение мостов между прошлым и настоящим, создание цельной панорамы Времени осуществляется по-разному. Иногда это достигается путем непосредственного вторжения автора в ход повествования о прошлом, таким публицистическим прорывом, незримым присутствием автора, как скажем в повести ульянского писателя Алексея Вальдью «Месяц первых цветов». «...Пройдет много времени, — прорывается вдруг в ней голос автора, — и постаревший Часин узнает, какую шутку сыграли с ним Петр Обон и Михаил Онокто. Но он на них не будет сердиться: дочь его Мария окончит Ленинградский институт народов Севера, станет одной из лучших учительниц района. Да и сам он многое поймет: жизнь-то шла вперед, к лучшему шла»¹.

Иногда же писатель ведет повествование о прошлом от первого лица и непосредственно из дня сегодняшнего, размазывая клубок памяти, как это происходит в повестях «Балкон без перил» Э. Бурмакина и «Где-то в городе на окраине»

Н. Самохина. Оба вспоминают свое детство и юность, совпавшие с 30-ми годами и Великой Отечественной войной, каждый по-своему воспроизводит неповторимый облик этих этапных моментов в истории страны. Авторы не прячут своего «я» за подставной фигурой рассказчика, не скрываются за манерой объективного изложения, а потому повествование приобретает у них черты подлинности, достоверности, биографической документальности.

В этом же ряду произведений, где ясно выражено стремление к раздвижению жанровых рамок повестей, должна быть названа повесть «Давно отгремела война» Марка Юдалевича. Это повесть о человеческих судьбах, израненных войной, о неизбывной жажде людей быть счастливыми вопреки обстоятельствам, о ценностях подлинных и мнимых. Здесь тем, кто понимает счастье как материальный достаток, противостоят другие, кто, страдая от голода, холода и прочей неустroенности, не поступится честью, совестью и достоинством, в ком душевная мягкость, ранимость и деликатность уживаются с неуступчивостью житейским соблазнам, кто устремлен к жизни творческой и осмысленной, верен своему призванию, кто всеми силами и средствами пытается оградить свой мир от вторжения пошлости, оборониться от нее и колючим смехом, и несокрушимой твердостью внутренних правил, смягчить давление бытовых неурядиц юмором и иронией. Эти «другие» — сын «домовладелицы» Кешка, вернувшийся с войны инвалидом и к величайшему неудовольствию матери изменивший «классу роля» ради игры на любимой своей балалайке; его соседка Света, которую война сделала матерью-одиночкой, семья начинающего поэта.

Читая повесть, не можешь избавиться от ощущения, что это не обычное объективное — в картинах, сценах, лицах — изложение событий давних лет, что за всем изображаемым стоит невидимый пока рассказчик, привносящий в повествование о прошлом мироощущение наших дней; человек, причастный ко всему излагаемому, который вот-вот сам появится на ее страницах. Так оно и случается. Где-то уже близко к концу повести открывается ее тайна: оказывается, все изложенное в ней важно не само по себе, не как отделенная от создателя картина жизни, а как воспоминание одного из ее героев — того начинающего поэта с неустroенной судьбой, каким был в те давние годы сам автор.

О том, что сегодня успех повести обеспечен лишь на путях новаторского, творческого подхода к ее жанровой специфике, интенсивного использования ее жанрового пространства, свидетельствуют и примеры другого рода. Повести «Деды, отцы, дети» Оскара Хавкина и «Про Кузю и Ванюшку» Николая Федосеева тоже обращены к прошлому, еще связанному с современностью живыми нитями. Обе не лишены определенных достоинств живописания, но и ту и другую читатель воспри-

¹ А. Вальдью. Месяц первых цветов. «Дальний Восток», 1974, № 12, с. 10.

нимает скорее всего как еще одну, не лишнюю, подчеркнем это еще раз, яркости иллюстрации к известному тезису о трудности военного детства, но не получит пищи для размышлений о времени и о себе. Время-то дано здесь застывшим, однородным, замкнутым в самом себе.

Проза последних лет наглядно убеждает в том, что не всякое обращение к актуальной сегодня нравственно-психологической проблематике способно дать необходимые идейно-эстетические результаты. В повести «Исповедь Проха» Николая Дементьева («Сибирские огни», 1975, № 6) все внимание сосредоточено как раз на переживаниях героя, совершившего преступление и ищущего в себе силы не замкнуться в нем, найти облегчение душевных мук в признании людям. Однако психологический анализ достигает убедительности лишь в том, случае, если он не оторван от исследования социальных основ поведения личности. Но именно социального исследования нравственного мира героев и не достает повести. Отсюда впечатление бледности, какой-то усеченности и однобокости созданных образов.

Художественное познание современности — процесс сложный. Ему противопоставлены упрощение, схематизм, надуманность, вторичность. От художественного произведения читатель ждет неподдельной правды, она же достигается при условии, когда неповторимая индивидуальность героя находит подтверждение в единстве социальной и психологической мотивированности его поступков, поведения, всего образа жизни, когда отдельные разрозненные факты соединяются в целостную картину, когда через элементарное, будничное, повседневное просматриваются общие тенденции бытия, закономерности общественного развития. Повести «На периферии» Ю. Магалифа («Сибирские огни», 1975, № 12) не откажешь ни в живости изложения, ни в остроте сюжета, ни в точности детали, однако они не компенсируют ее общих художественных просчетов, и прежде всего, связанных с нарушением жанровых законов повести.

Ее герой, артист по профессии, в связи с гастролями оказывается на периферии и сразу же становится свидетелем сложного жизненного конфликта. Здесь, где так велика роль каждого интеллигента, горит огонь вражды между школьной учительницей и местной знаменитостью — писателем Шайдуровым. Конфликт этот отнюдь не личный. Оба они — люди, ищущие опоры своего внутреннего мира, своего «я» в глубокой связи с делами народа, но, по-разному понимая его способность к восприимчивости деловой, серьезной критики недостатков, по-разному пытаются и служить «пользе народной». Как видим, конфликт таков, что и одного его хватило бы для повести. Но этот конфликт писатель осложняет рядом других, не менее острых и важных — тут и наше современное отношение к религии, и этический аспект благотворитель-

ности в наши дни, школа и требования к современному учителю, и сложные духовные искания интеллигенции, и трудная любовь — и чего-чего только нет.

Все это создает такую художественную ситуацию, разрешение которой становится явно не по силам избранному жанру, тем более повести того типа, к которой принадлежит «На периферии». Дело в том, что жанровый механизм современной повести использован здесь слабо. При всей сложности затронутого конфликта повесть полностью лишена ретроспективного плана, который бы дал возможность раскрыть предысторию героев, объяснить их поступки, расширить возможность художественного исследования. Сам автор, скрывшись за фигурой повествователя, действенной позиции не занимает, ничем и нигде не выдает своего присутствия да и повествователя своего ставит в такие условия, когда разобраться в обстановке и тем более выразить к ней определенное отношение трудно. И слово в повести довольно инертно, не помогает оно читателю проникнуть в авторский замысел. Все это лишает повесть внутренней емкости, делает ее поверхностной, беллетристичной.

Век научно-технической революции повышает цену исследовательского, глубинного и притом оперативного рассмотрения процессов и проблем экологического характера, обнаружив и стремление, и способность повести выявить новый поворот вечной проблемы Человек и Природа. Может быть, в силу особой остроты, которую обретает вопрос о судьбе Природы в масштабах всего человечества, повести удалось достичь здесь весьма значительных художественных высот. Такие произведения этого жанра, как «Чеглок» В. Корнакова, «Живые деньги» А. Скалова, «Правая сторона» Е. Гушина, «Горные духи» Б. Укачина, «История четырех» А. Якубовского, «Красная рыба» В. Коренева, «Его родовое имя» К. Балкова, «Земля с надеждой» С. Заплавного, несомненно, отмечены чертами подлинной романности. Героя своей повести Эрденя Б. Укачин оставляет в раздумье о смысле человеческого бытия, о жизни и смерти: «Зачем живет человек? Придет ли бессмертие?.. Там и тут по горам Алтая молча и одиноко стоят каменные бабы — зачем, для чего? Наверное, предки Эрденя, лихие кочевники, тоже о бессмертии мечтали, и было им не безразлично, останутся или нет после них следы на земле»¹. Разумеется, речь здесь идет не о физическом бессмертии, а о бессмертии в делах, о способности отдельного ли человека, целого ли народа оставить миру память о себе.

Важной стороной идейного содержания повести является то, что Б. Укачин на конкретном материале действительности Горного Алтая пытается разобраться в харак-

¹ Б. Укачин. Горные духи. «Сибирские огни», 1974, № 9, с. 70. (Перевод с алтайского М. Назаренко).

тере взаимодействия людей, представляющих не только разные поколения, разные народы, но и нравственно-этический опыт разных эпох. Автор ставит задачу уяснить внутренний механизм сближения людей, относящихся не только к разным национальностям, но и воплощающих в своем жизненном опыте разные ступени исторического развития общества, раскрыть конкретные составные начала той новой социально-исторической общности людей, имя которой — советский народ.

В центре внимания автора — нравственная проблематика самого широкого диапазона, поэтому он и представляет своим героям возможность выявить свое отношение к миру в самых различных жизненных ситуациях — в моменты семейного торжества и печали, и в процессе труда, и в обстановке комсомольского собрания, и в дружеской беседе, в состоянии наивысшего напряжения душевных сил, и в минуту беззаботного веселья. Композиция повести очерчена границами определенного «куска жизни» на протяжении всего нескольких месяцев, но благодаря умелому использованию ретроспективного плана создается впечатление широкого охвата действительности во времени. Ощущение жизненной емкости повествования усиливается и многообразием выведенных в повести характеров.

Это прежде всего древний дед Аба, в котором мудрый разум и талант врача-ветеринара уживаются с фанатической верой во всемогущество горных духов, управляющих якобы судьбами алтайцев. Это внуки его, один из которых — Эрден стал майором Советской Армии, другой насмешник и балагур Монкуш — сельским механизатором. Это обаятельная татарочка Фатима, жена Эрдена, сразу принятая, как своя, в алтайской родне мужа: «А какая разница, теперь все люди одинаковые...» Это русский парень — егерь Михаил Щербак-ов, готовый и горных алтайских духов, запрещающих убивать маралов, взять себе в союзники. И хохотушка Кымыс, молоденькая сельская акушерка, и старая Яманай, первая из алтайских женщин, севшая за трактор, и дочка чабана Камылды Кертешева — Нина, суетно ждущая от жизни одних лишь удовольствий — все это люди далекого, спрятавшегося в горах Алтая села Куугуль, но велением Времени приобщенного к жизненному ритму всей страны, живущего общими с ней надеждами. Так очень естественно — в переплетении человеческих судеб, с интересами, помыслами и настроениями героев — складывается в повести Б. Укачина обобщенный образ советского народа, входит идея новой социально-исторической общности людей и утверждается мысль о полноправной включенности в нее алтайцев.

Исследуя сложный мир современного алтайца, писатель показывает и общие для всех советских людей черты его нравственного и духовного облика, но исключительно внимательно и к национальной само-

бытности его бытия. «На земле все рядом, все связано», — утверждает писатель.

Старое предание, повествующее о том, что Хозяин гор обрек на вымирание и скот, и весь род кама Кызыраша, сыновья которого убили священного марала, предписывает куулчинцам неприкосновенное отношение к окружающей природе: «На горы не полагается подниматься, вблизи их нельзя громко кричать, стрелять из ружья. В реках, несущихся с их вершин, нельзя ловить выдр черно-золотистых, нельзя стрелять золоторогих маралов». И хотя много во всем этом суеверия и предрассудков, нельзя не признать мудрости национального сознания древних алтайцев, узаконившего необходимость бережливого отношения человека к природе. Отношение человека к природе начинает восприниматься в повести как мерило его духовной зрелости, нравственной чистоты, гражданской сознательности. И хотя ясно, что дед Аба умер не в следствие того, что его внук Эрден убил марала, не в результате возмездия небесных богов, читателя не оставляет все-таки ощущение моральной виновности Эрдена. Старика убило отсутствие нравственной разумности в поступке старшего внука, и позднее Эрден сам понял это: «Прости меня, глупого, дедушка мой...» — произносит он на могиле деда.

Так актуальнейшая для нашего времени проблема сохранения Природы оказывается теснейшим образом увязанной в этом произведении с утверждением неиссякаемости исторических связей, соотносимости морально-этических ценностей настоящего и прошлого, непреходящей красоты человеческого опыта всех эпох и народов, если этот опыт добыт трудом и разумом.

Сложность и многоаспектность темы «Человек и природа» сказались и на многообразии художественных подходов к ее разрешению, на богатстве жанровых вариантов повести. Так повесть «История четырех» А. Якубовского относится к числу анималистических, но как часто случается с произведениями этого типа, рассказывая о судьбе животных, в подтексте она обретает глубокий общественный смысл.

Устойчивость художественной традиции — измерять нравственный уровень человека отношением к «зверью» подтверждает и повесть «Живые деньги» А. Скалона, для героя которой Аркани Алферьева характерно сугубо практическое, бездушно-деляческое отношение к собаке: он и кормит ее и даже заботу способен о ней проявить, пока служит она его охотничьему фарту. Но на поверку оказывается, что деньги эти, добытые бесчестным, воровским путем, обретают силу омертвляющего воздействия на душу самого человека. В повести «Годы высокосные» дальневосточника Анатолия Мира есть любопытный эпизод: герою, отправляющемуся на педагогическую работу в национальную глубинку неожиданно задают вопрос: «А как вы относитесь к собакам?» В повседневной работе герою вскоре открывается глубинный

смысл вопроса: чужки с недоверием относятся к людям, не любящим собак. Так смыкаются моральные требования людей разных национальностей, нравственный опыт глубокой древности с моральным кодексом советского человека, ибо, как записано в «Программе КПСС», «коммунистическая мораль включает основные общечеловеческие моральные нормы, которые выработаны народными массами на протяжении тысячелетий в борьбе с социальным гнетом и нравственными пороками».

Тот художественный план изображения взаимоотношений человека и природы, который доминировал в советской литературе до недавнего прошлого — борьбы человека с природой, покорения стихийных сил, конечно, не утратил значения, просто сегодня нельзя уже ограничиваться этой, хотя и очень важной, стороной проблемы без риска утратить представление о подлинной сложности ее и многогранности. И если говорить о типологическом роде произведений большого драматического накала с острым конфликтом, напряженным сюжетным развитием, с характерами сильными, мужественными, даже героическими, то материал для их создания дает писателю сегодня не столько уже тема покорения природы, сколько защиты и охраны ее, творческого к ней отношения. В этом можно убедиться, читая повести В. Коренева «Красная рыба», Е. Гушина «Правая сторона», И. Кудинова «Покушение». Именно в обращении к этому аспекту темы «человек и природа» писатель обретает возможности обнаружения подлинной сложности современной жизни, острого столкновения характеров, исследования огромнейшего разнообразия типов человеческого поведения и психологии, рожденных веком НТР и новым этапом социалистического строительства. Тема эта неисчерпаема, и надо думать, что здесь повесть ждет еще немалые художественные открытия.

Но к каким бы сторонам действительности ни обращалась повесть, какие бы композиционные, сюжетные, жанровые и тематические ракурсы ни избирала, сегодня ее отличительную особенность составляют поистине глобальный интерес к концепции личности, решение проблем ее духовного и нравственного развития. В обращении к разным историческим периодам, к судьбам разных народов, в разных социальных и психологических поворотах прорисовывается в повести облик советского человека — каким он был, какой он есть, каким он должен стать, — по сути дела идет всестороннее исследование сути советского характера как конкретно-исторического и общечеловеческого феномена. И вклад повести в общее дело литературы социалистического реализма следует признать сегодня весьма значительным в силу внутренней способности этого жанра локализовать внимание на личности, судьбе и характере отдельного человека, сконцентрировав при этом интерес на особенностях

его отношения с обществом, народом, историей во всей конкретности и неповторимости, непреходящей и необратимой сути каждого ее момента.

Наряду с повестью, где человек глубоко вписан в среду, изображен как нерасторжимая часть социального коллектива, не менее продуктивна и монографическая форма, когда центр тяжести перенесен на отдельного героя и где не столько человек изображен через среду, сколько среда раскрыта через мир человека. При этом мы наглядно убеждаемся, как всесторонне выверяется и уточняется художественная концепция человека. Утверждению человеческого идеала не противопоставлены, разумеется, и художественные решения «от противного», но непосредственнее эта цель достигается в произведениях, где герой предстает как личность творческая, активная, социально зрелая, где крупный характер показан крупным же планом.

Отметим и распространенность такой жанровой разновидности повести как повесть-жизнеописание, автобиографическая и биографическая повесть, повесть судьбы, характера, что подтверждает и опыт сибирской литературы, такие ее произведения последних лет, как «Алан» Э. Палкина, «Матрос Казаркин» А. Скалона, «Дочь Сазоновой» Р. Валеева, «Годы высокосные» А. Мира, «Каленов яр» В. Русскова.

Устремленность современной повести к воссозданию необозримого богатства и многообразия человеческих характеров свидетельствует о глубине гуманистического пафоса советской литературы, отражающей реальный процесс возрастания социальной активности советского человека и связанного с этим укрупнения масштаба его личности, углубления его индивидуальных черт. В противовес литературе буржуазной, запуганной универсальностью процесса стирания и стандартизации личности при капитализме, советские писатели создают произведения, полемически заостренные против концепции «маленького человека», незаметного и ни за что не отвечающего, такого безымянного рядового огромной армии тружеников. Герой повести Ю. Васильева, программно формулируя свои жизненные принципы, отстаивает право каждого быть самим собой, отличным среди множества, приметным, значительным, «особенным»: «Я скромных не люблю, — заявляет Жернаков. — Не доверяю им. Буду я, значит, стоять, тихий такой, смиренный: я, мол, что, я так себе, ничего особенного, серенький, как все. А меня возмут и спросят: почему же ты такой серый, такой тихий и незаметный? Разве же не хочется быть не как все, а лучше? Ну, что будет, ты мне скажи, если каждый захочет быть, как все? А ничего толкового не будет».

Утверждая свою программу бытия, Жернаков, как мы уже видели раньше, осуждает индивидуалистическое существование Иочиса, но при этом не приемлет и исходных принципов своего старше-

го сына Тимофея, который внешне вроде бы и солидарен с ним в отношении к Иочису. В ориентированности Тимофея на жизненные стереотипы, в его готовности принять господствующие нормы поведения и моральные установки не потому, что они соответствуют его внутренним убеждениям, близки его «натуре», а потому что так принято, должно, предписано свыше, Жернаков видит еще одну опасность, подстерегающую Человека на пути сохранения индивидуальности. Вроде бы и верные, на первый взгляд, слова говорит Тимофей, и ничего плохого нет в том, что «ему все надо солидно, чтоб в едином строю, монолитно, в ногу», но при ближайшем рассмотрении оказывается, что для достижения общих целей он способен пожертвовать каждым отдельным человеком, для пресловутой «пользы дела» готов сломать «натуру», то есть человеческое своеобразие каждого. Да и сам он предстает перед нами, как человек с излишне выпрямленной душой, с упрощенным нравственными догмами характером.

Автор, как и его главный герой, озабочен поисками такого слияния человека с общим делом, такого служения общей пользе, которое бы не ущемляло человеческой индивидуальности, не низводило бы личность до однозначной социальной функции.

Современную повесть Сибири и Дальнего Востока делает интересной именно такая вот насыщенность мыслью — о назначении Человека, о путях развития человеческой личности в социалистическом обществе, о сложной диалектике проблем, выдвигаемых научно-технической революцией. Характеризуя общие особенности повести сегодня, следует отметить, что, отвечая запросам читателя, она тяготеет к документальности, в ней глубоко ошутима переключка времен, с особым пристрастием выглядывается она в героическое четырехлетие Великой Отечественной войны, устремлена к проблемам нравственного смысла, ее отличает активность авторского отношения к жизни, публицистическая насыщенность, оперативность и мобильность, способность показать на небольшом художественном пространстве очень многое и очень важное.

Глубоко верен тот вывод, который в докладе на VI съезде писателей сделал Г. Марков, говоря о месте повести в современном литературном процессе:

«Движение повести характерно для всех литератур Советского Союза. Без повести, без ее активной роли наша проза намного была бы беднее, а литература в целом потеряла бы в проблемно-тематической широте, композиционном и стилевом многообразии, в богатстве творческих пристрастий, характерных для социалистического реализма, для диалектики его развития»¹.

Современная повесть Сибири и Дальнего Востока является еще одним ярким подтверждением высказанных здесь положений. Она быстро развивается и, несомненно, обогатит нашу литературу новыми интересными произведениями. Читатель с нетерпением ждет их.

■ ■ ■

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ

ПОЭТА-ЛИРИКА

Ему было бы теперь шестьдесят — поэту-дальневосточнику, лирику по складу души и по направленности поэтического дарования. И в «Избранном»¹ Степана Смолякова читатель наверняка нашел бы еще десяток-другой новых стихов, но — увы! — мы не прочтем их в книге. Восемь лет уже поэта нет среди нас. Успел он написать, в сущности, не так много, а оставил в поэзии Дальнего Востока заметный след. И голос его — пусть не очень громкий, но задушевный, глубоко искренний — продолжает звучать на просторах родного края.

Коренной дальневосточник, уроженец села Георгиевка района имени Лазо — одного из центров партизанской борьбы в Приамурье — Степан Авксентьевич имел типичную биографию крестьянского паренька, росшего и возмужавшего уже при Советском строе. Вот разве отличался он только умением видеть и запоминать, обладал глазом художника, любил родной язык и знал его до тонкостей да сердце имел трепетное и отзывчивое на добрые дела. Пареньком учился он в сельской школе, с четырнадцати лет трудился на полях, был слесарем в МТС, мог и трактор водить. Новая колхозная действительность для будущего поэта явилась той общественной средой, в которой он не только набирался впечатлений, но и приобщался к общественной и трудовой жизни, стал комсомольцем-активистом, селькором, а затем и сотрудником районной газеты, секретарем райкома комсомола.

К этим ранним годам относится и его увлечение поэзией: первые стихи Степана Смолякова были опубликованы в 1932 году в газете «Амурская правда». С тех пор он упорно овладевал «секретами» поэтического мастерства, время от времени печатал стихи в местных и центральных газетах, журналах и альманахах. А еще больше читал, любил отечественную классику, знал современных советских поэтов. Для него это и была «школа мастерства».

Незадолго перед войной Смоляков окончил Хабаровский педагогический институт,

¹ С. Смоляков. Избранное. Хабаровск, Кн. изд., 1976.

¹ «Литературная газета», 1976, 23 июня, с. 2.

получил специальность учителя. Мысли о будущем у него по-прежнему были связаны с селом. Но Великая Отечественная война по-иному повернула его жизнь: он — офицер одного из дислоцированных на Дальнем Востоке армейских соединений, участник освободительного похода Советской Армии в Маньчжурию, военный журналист окружной газеты «Суворовский натиск». После демобилизации — редактор Хабаровского книжного издательства, затем — до конца дней своих — заведующий отделом поэзии журнала «Дальний Восток».

В послевоенные годы литературная работа стала для него главным делом жизни. В 1946 году в Дальгизе выходит в свет первый сборник стихов Степана Смолякова — «В родном краю», через два года — «Рассвет», затем «Приамурье мое», «Встреча в Заречье», «Ветер с полей», «Росы на травах» и другие поэтические сборники. Уже сами названия книг показывают, что верность теме села поэт сохранил и тема эта всегда занимала одно из первых мест в его творчестве. Радуюсь своему сопричастию к общему делу, поэт писал:

И счастлив я тем, что в родимом краю
Трудом возвеличил Отчизну свою —
Что каждый мой шаг не бесследным

остался,

Что пот мой в родимое поле впитался,
Что жатве любимой я песню пою.

Поэт видел благотворность перемен, которые пришли с социалистическим переустройством деревни, с утверждением колхозного строя, и он не устал воспевать колхозную новь, видел множество примет ее и вводил их в поэтический оборот и в характеристику своего лирического героя. Это оптимистическое, радостное восприятие поэтом действительности придает его стихам особую тональность, тот душевный настрой, который был созвучен настроению современника, сельского труженика. Эту особенность смоляковских стихов, пожалуй, не понять и не объяснить без знания биографии поэта, его собственной жизненной позиции.

Я в той стороне, где родился и рос,
На месте разрозненных нищих полос
Впервые увидел поля без предела —
На сотни гектаров пшеница зардела
И в скирды улегся колхозный овес.

Это строфа из стихотворения «Счастье», написанного в 1940 году. Речь идет о родном крае, об отношении к окружающему миру, естественно, что поэт выделяет — главное, самое существенное, что определяющим образом сказывается на мироощущении его героя. В стихотворении «Я родился в лесной глухомани» варьируются эти же приметы нового, но поэт связывает их с ответом на существенный для каждого человека вопрос: счастлив ли он? И в чем для него заключается счастье?

Был ли счастлив? Да как же не счастлив,
Если всюду, куда не ступи, —
Даже в злые ненастья — не гасли
Путеводные звезды в степи.

Только б чаще встречать на просторе,
В неоглядной моей стороне
Тех друзей, что и в счастье и в горе —
Одинаково дороги мне.

Разнообразные картины колхозной жизни, приметы дальневосточного села, интересные сопоставления и философские размышления найдет читатель в стихах Степана Смолякова. А главное, он почувствует любовь поэта к людям, к своим землякам, к близким и далеким местам. Емкое понятие Родина в его стихах видится в совершенно конкретном обличии. И что любопытно: строки, написанные три-четыре десятка лет назад, звучат, будто сегодня сказанные.

Вывода машины быстрые,
Рассуждают косари,
Сколько копен можно выставить
От зари и до зари.

А вот предвесенняя пора — март месяц,
— как он видится поэту:

Ты проходишь снегами.

А в кузницах — звон молотков:
В торопливых ручьях
отразилось бездонное небо...

Скоро встанут поля
мирадами дружных ростков,
Чтоб по осени лечь
каравами пышного хлеба.

В другом случае поэт рисует картину осени, когда в небе уже потянулись на далекий юг косяки перелетных птиц:

Покрывают первых заморозков пылью,
Бессонной стражей высятся стога.
По влажным берегам, через луга,
Легли с полей дороги изобилия.
Над россыпью речного серебра —
Бензинный запах, приторный и тонкий.
Встречая утро, грузные трехтонки
Полны зерном, ревут у переправ.

И поэт еще усиливает непреходящее значение того, что люди вносят в извечный по природным приметам осенний пейзаж. В конце стихотворения он возвращается к улетающим птицам:

Смешные птицы! — их пугает лед,
Они на юг направили полет.
Они потом в ошибке разберутся:
Они опять, когда весна придет,
В покинутые заводы вернутся.

Да и не только в птицах дело! И через много лет человеку, как заметил поэт по другому уже случаю, —

Будет помниться место родное
Не одной лишь росой на лугах,

Но и потом в комбайновом зное
На раздольных речных берегах.

Именно труд, долготерпение тех, кто живёт и работает на земле, украшает её, — первооснова всему, что радует наш глаз и служит общественному прогрессу.

Краса Земли —
Не только в птичьём пенье,
В прохладе рощи
И в журчанье вод.
Она —
И в трудовом долготерпенье,
Тех, кто на ней
Хозяином живет.

Поэт глубоко убежден в том, что земля и ее просторы даны человеку для созидания, для добрых дел. Предельно ясно он высказал эту мысль в философском стихотворении «Добро пожаловать»:

Земля! Кормилица упорная...
Знать, в том и сила, что она
Для счастья честного просторная,
Для дела подлого — тесна.

Степан Смоляков мастер сельского пейзажа. И не вообще пейзажа, а с его конкретными приметами и места и времени. Об этом свидетельствуют стихотворения: «Села просыпаются до света», «Край мой любимый», «На реке Хор», «Летний дождь», «Ты идешь по осенним осинникам» и многие другие. Часто стихи у него начинаются с пейзажной зарисовки. Но вот в первой же строфе — поворот, и перед нами предстает картина жизни с ее уже современными приметами, яснее становится и философски-публицистическая мысль поэта.

В небе — медленный, пышный закат.
С поля дятелем веет и донником.
И, бренча о колени подойником,
Выбегают молодки из хат.

Еще один пример:

С посвистом проносятся стрижи,
Вечера над речками свежи...
С этими родимыми просторами
Навсегда судьбу свою свяжи!

Поэт широко и свободно варьирует сюжетное построение, лексику, ритмику стихов, пронизывает их присущим ему добрым юмором, так свойственным крестьянской речи либо элегическим раздумьем. Умеет он «сделать» и запоминающуюся концовку, поставить «точку» над скрытым до поры до времени замыслом. Вот, например, стихотворение «Рассвет». Казалось бы, чисто пейзажная зарисовка о том, как предрасветный ветер озорует в саду, на лугу, в поле, на пасеке:

Да вдруг проснулся в шесть часов утра
Колхозный дед, седобородый мельник,

Заметил ветер — и включил ветряк:
— А ну, работай! Погулял, бездельник!

Тут включение человека не только закономерное, но оно придает стихотворению более глубокий смысл, наполняет его новым содержанием. Кстати, это стихотворение написано в Георгиевке — родном селе поэта, куда он часто выезжал. Каждая такая поездка для него была лучшим отдыхом. Земляки тоже помнят и чтут поэта: имя Степана Смолякова было с уважением названо, когда район имени Лазо отмечал свое 40-летие.

Все тщательно выписанные детали, приметы села для поэта — не просто воспоминания «милых сердцу лет». Это определенная веха и в судьбе его лирического героя, и в жизни страны. В стихотворении «Серебристой росой на рассвете» он так выразил эту мысль:

Пусть потом мы обведем полсвета —
Отовсюду нам будет видна
Рядом с давней приметой — вот эта
Возмужанья живая примета —
Мы растем и мужает страна.

Вот это и есть — главное! Отсюда то оптимистическое звучание, настрой, тональность стихов Смолякова, которые иные критики готовы принять за «бодрячество» или говорили об опасности некоего «замыкания в узком кругу деревенских впечатлений». Да полноте! Какое замыкание?.. Это просто значит — прочесть и ничего не понять!

Кругозор поэта, «объемность» его видения еще четче обнаруживается, когда рассматриваешь его стихи о родном крае. Здесь он тоже ищет приметы нового, приметы своего времени:

Теперь с трудом узнаешь место,
Где начинался город наш:
Леса строительного треста,
Больница, фабрика, гараж...
Когда-то дикая опушка
В тенистый парк обращена...
Добро пожаловать, кукушка!
Ты очень городу нужна!
(«Кукушка»)

Это, может быть, Амурск, или какой-то другой город, рабочий поселок, основанный на просторах Дальнего Востока. Поэт много ездил по краю. Об этом он сам говорит в одном из заглавных стихотворений сборника «Край мой любимый»: «Я исходил твои тропки заветные, Видел рассветы над горными кручами, Там, где в расщелинах, еле заметные, Речки роятся ручьями певучими». И что же поэт извлек из этого близкого знакомства с краем? Не только строчку — «Нет, тебя лучше, красивой и ласковой». Остановись он на этом, было бы повторение не раз уже высказанных и довольно трафаретных слов. Степан Смоляков видит дальше, чувствует глубже. Вот концовка стихотворения:

Пусть твои сопки в туманах теряются,
Пусть ты далек от Москвы белокаменной—
Близость сердец не верстой измеряется:
Мужеством славных,
Их доблестью пламенной!

Родной край — это место, где поэту и его лирическому герою дано трудиться. Здесь им стоять на посту, следуя славным революционным и трудовым традициям дальневосточников. Не случайно поэт писал о Волочаевских боях, о войне «над крышей зданья», что стоит тут навечно «по-солдатски одет». И в стихотворении «Наследство» — тоже одним из главных в книге, — обращая мыслью к сыновьям, он видит их в труде, в ратной службе Отчизне на самом ее дальнем рубеже:

Один над нашим краем пролетит,
Сшибая звезды крыльями ночными,
В глухой тайге за плесами речными
Другой отыщет камень антрацит.

А третий станет на краю тайги
С ружьем в руках под ключьями тумана,
Прислушиваясь к рокоту тайги,
К могучему дыханью океана.

Эти строки писались в 1939 году. Но разве в них не ощущается предгрозовая обстановка предвоенных лет, тревоги пограничного края, думы и заботы о будущем страны? Через два года, уходя в армию, Смоляков напишет:

На солдатском пути, что суров и жесток,
Пусть меня не покинет лесное соседство.
Я на Запад пойду. Я приду на Восток,
Чтобы детям вернуть их счастливое
детство.

А еще через четыре года появится стихотворение «Далекому другу». В нем поэт говорит о разности, и о схожести их военных судеб, о мирном рубеже, которого они, наконец-то достигли:

Ты, больше жизни родину любя,
Прошел с полком от Волги до Берлина.
Окончен бой. Амурская долина,
Как сына мать, зовет назад тебя.
И я прошел маньчжурской стороной —
Суровой непрощающей войной,
Как ты мне завещал, товарищ славный.
И вот сентябрь напоминает мне
О нашем детстве — праздничной весне.

Одна судьба у нас с тобой. Одни
Волненьем переполненные дни.

У Смолякова немало военных стихов. Лучшие из них включены в сборник: «Встань лицом на запад», «Солдатской матери», «Там не пахнет шалфеем» «Бой прошел. Беру листок измятый», «Ты прости меня, родная», «Глухим декабрем», «Стихи связиста» и другие. За исключением последнего стихотворения, в них почти

нет батальных сцен. Поэту, жившему в полевых условиях на дальневосточной границе, где в любой час тоже могла вспыхнуть война, как все солдаты-дальневосточники, жадно ловившему вести с фронта, куда их пока не направляли и куда они рвались — была знакома именно эта солдатская жизнь. Знакомы думы и чувства людей, с которыми он делил невзгоды военных лет, горевал вместе с ними над их бедами — у многих ведь родные оказались на оккупированной врагом территории. Это тоже армейская жизнь тех лет — и он писал о ней, как писал о тружениках тыла, о родных и близких солдат, об их матерях и сестрах. Обостренное чувство братства, нерушимой дружбы советских народов слышится в стихотворении «Как займется над селом»:

Беларусь моя, Беларусь!
Я детей твоих не забыл.
Каждый малый твой куст берусь
Посадить на месте, где был.

И не знать мне счастья, пока
Ясный день над тобой не взойдет,
Пока самый последний кат
На штыке моем не умрет.

Это не только мысли поэта — белоруса по национальности, — это понятие им думы своих боевых товарищей, воинов резервных дивизий, формировавшихся и обучавшихся на Дальнем Востоке, а потом покрывших свои знамена славой при освобождении Белоруссии, Украины, Молдавии, Прибалтики, восточно-европейских стран. Стихи Смолякова тех лет — его посильный вклад в нашу поэзию военных лет.

В 1945 году, после окончания второй мировой войны, Смоляков написал стихотворение «Тишина», проникнутое не только радостным сознанием, что кончилась война, но и пониманием того, как дорого достался мир, решимостью беречь его.

Ты тихим сном уснула. Спи, жена.
У синих окон ходит тишина.
В сыром бору у речки тихоструйной
Звенят ее серебрянные струны.

Мы тишиной умеем дорожить.
Две тишины пришлось мне пережить:
Одну — когда мы брата проводили,
Другую — когда в сомкнутом строю,
С железной верой в Родину свою,
Спеша, чтоб павших заменить в бою,
Мы у его могилы проходили.

Сегодня в доме третья тишина.
Спокойно дышат дети. Спи, жена.

Как все поэты-дальневосточники, Смоляков писал о границе. Писал — до войны и после нее. Он сам побывал на том — чужом — амурском берегу, видел, как хозяйничали в Китае японские захватчики, и, конечно, хорошо понимал чувства воина-пограничника после памятных августовских боев 1945 года.

Теперь для него заграница
Не мгла неизвестных миров:
Там след незабывтый хранится
От наших солдатских костров.

Шли послевоенные пятилетки. С ними связан невиданный прежде по масштабам, по технической оснащенности разворот строительных работ на Дальнем Востоке — в каждом крае и области. Сюда по призыву партии едет молодежь на ударные комсомольские стройки — порт Находку, Амурск, Солнечный... И поэт мечтает:

Геолог карту пятилетки
Пополнит новым рудником
И, уходя опять в разведку,
Меня возьмет проводником.

Он в новых стихах зовет молодежь в край на трудовые свершения, пишет о романтике, с полемическим задором говорит о своем понимании ее:

...Она от подвигов Хабаровы,
От Волочаевских боев.
Сраженья насмерть против старого —
Вот родословная ее.

Здесь от ненастья в заводь дачную,
По правде, спрятаться нельзя.
Кто честно ценит жизнь бивачную —
Добро пожаловать, друзья!

Поэт выступает убежденным противником мещанства, эгоистического обособления себя от других, благополучия только для себя одного. Это его убеждение подкреплено фронтовым опытом, размышлениями над уроками войны в их нравственном плане, чувстве долга перед погибшими в боях:

Когда в окопах гибли лучшие,
А я остался — все равно —
На кой мне черт благополучие,
Когда не общее оно.

И дело тут не в том, чтоб очередь
В дороге к счастью соблести
И чтобы в дом, помимо прочего,
Простую совесть принести.

В стихотворении «Добро пожаловать», откуда взяты эти строки, поэт иронизирует над теми, кто ждет, что новый быт доставят прямо на дом в пакетиках «с наклейкой бодрю» «Нарпит». Нет! «Его несут плечом натруженным, Вживаясь в ляжку трудных дел».

А стол, а дом, добром загруженный,
Тот вышеназванный уют —
Тогда милы, тогда заслужены,
Когда их подвиги дают.

В 50-х—60-х годах Смоляков все чаще обращается к проблемам нравственным —

и это закономерно для времени, когда самым ходом общественного развития задачи воспитания человека — строителя коммунистического общества — выдвигались на первый план. Это свидетельство чуткости поэта к требованиям своего времени.

Всегда присущая его стихам лиричность становится их определяющей чертой. На шумную в свое время дискуссию о «физиках» и «лириках» он отозвался стихотворением «В защиту лирики», главная мысль которого: «Думаю, и впредь полезно будет Лирикой людей вооружать». И этому убеждению соответствовала собственная поэтическая практика Степана Смолякова. Писал ли он об извечных для поэзии темах любви, дружбы, разлуки — мягкая грусть у него сочеталась с мудростью пожившего, повидавшего всякое человека. Вот в немногих, как бы спрессованных, строках стихотворения «Освободи мне сердце от любви» перед нами проходят разные периоды жизни человека, его отношение к женщине, которая стала его подругой. Здесь горячность и беспечность молодости, упрямая обидчивость более зрелых лет, наконец, мудрость пожилого возраста.

— Освободи, — я так и не сказал, —
Мне сердце от любви, от этой власти...
И, может, в том и заключалось счастье.
Что этих слов я так и не сказал.

А вот рассматривается обычная и довольно частая ситуация: молодые люди — девчонка и парнишка — и все у них, кажется, просто. «В жизни линия одна».

Это в песне. А на деле —
Строчки песни не сбылись:
Походили две недели
И — смертельно разошлись.

«В чем тогда вопрос-то?» Поэт отвечает: «Нет, не все на свете просто». И когда люди строят новую семью, не следует подходить к этому «С той самой простотой, Что похуже воровства». Другой случай — мимолетная обида и другу пишется вздорное, обидное письмо, которое тут же опускается в почтовый ящик. А ведь оба — люди-то хорошие, и нет у них сколько-нибудь серьезных причин для разрыва. Такая запальчивость, поспешность ненужно осложняет отношения людей. Это грустной истории посвящено стихотворение «Поезд везет письмо».

А я бы ставил штампы на конвертах,
Какой бы им не значился маршрут:
Поспешных писем, сердцем не согретых,
Почтовые вагоны не берут!

Совет уместный! Общеизвестно, однако, насколько сложна эта сфера человеческих отношений, — и у каждого поколения тут возникают свои трудности. Но есть и общее, что позволяет найти правильное решение — это ответственность человека перед собой и другими, перед обществом.

В чем же он теперь не одинаков,
Сердца путь — сложнейший из дорог?
Сорокапяти — и больше — летним,
Нам теперь и легче и трудней:
Тут нельзя остаться безответным
Перед строгой совестью своей.
То, что надо видеть, — все ли видел?
Все ль, что надо было, — одолел?
Больше в жизни тех, кого обидел,
Или тех, кого ты пожалел?

Сказанное здесь имеет прямой адрес — «юноше, облаканному судьбой». Разговор с ним поэт ведет в доверительном тоне. «Уж не так и разнятся года: Что тебе дороже — мне дороже, Что тебе беда — и мне беда». И он по-дружески предостерегает своего юного собеседника: «Ум забудет — сердце не забудет, Ум простит — да сердце-то не вдруг». В стихотворении «Я знаю, это не ловкачество», у Смолякова есть превосходные строчки:

Коль наша жизнь — готовность к бою,
Так суть стремящегося в бой
Не в том, чтоб быть самим собою,
А в том — каким самим собой.

Поэт воюет за Человека с большой буквы, как говорил А. М. Горький. Стихи Смолякова доходчивы в любой аудитории, но особенно тепло принимались они молодежью. Ей в первую очередь они и адресованы. Об этом прямо говорит поэт в заключительных строках стихотворения «Третий перевал» — одного из последних произведений Степана Смолякова. «Мой третий перевал всего трудней», отмечал поэт, мечтая в то же время одолеть и эту высоту:

Чтобы, живя с соседом в добром мире,
Сумел я детство с будущим связать,
Чтоб, провозжая в жизненные шири,
Я внуку смог хоть что-то подсказать.

Естественное для каждого человека желание. Но в Смолякове тут еще сказывается и педагог. Это была его довоенная профессия. Наставник он — вдумчивый, заинтересованный — не начетчик и не педант. Таких учителей уважают и помнят потом всю жизнь. А то, что он являлся незаурядным художником слова — лишь прибавляло весомости его словам.

Человек, требовательный к себе, Смоляков не раз мысленно выверял свой путь, спрашивал себя:

Вот ты снова один на один
С предосенним леском опустелым.
Сердце спросит: а все ли ты сделал,
Доживая до первых седин?

Конечно, на такой вопрос поэта к самому себе — ответ должен быть положительным. Поэт искал, волновался, много размышлял. Он имел право так вот сказать о себе:

То люблю я, что вы берегли,
С тем борюсь я, что вам ненавистно,

Что зловеще тенью нависло
Над границами вольной земли.

Создавая в «Стихах связиста» образ воина, умершего от ран с зажатыми в зубах концами перебитого провода, «чтоб отозвался чуткий зуммер в двух наступающих штабах», поэт делает вывод для своего лирического героя и для себя:

Пусть будет вечным наступленье
Вся жизнь моя. И даже смерть.
Чтоб каждой строчкой незатейной
Крепил я связь людских сердец,
Как тот солдат первостатейный,
Редчайшей выдержки боец.

Для Смолякова это было его жизненное кредо, ему он и следовал. Степан Авксентьевич был очень цельным, целеустремленным человеком. Поэт-коммунист, он в творчестве требовал идейной определенности, был непримирим к разного рода словесным выкрутасам, к шумному утверждению собственного «Я», своей «самобытности». Надо сказать, что эта его позиция давала хороший пример молодым. Много лет руководя секцией поэтов в Хабаровской писательской организации, Степан Смоляков был добрым другом и наставником молодых поэтов-дальневосточников, немало сделал для воспитания литературной смены.

Своим учителем в поэзии Смоляков считал Петра Комарова. Обоих поэтов связывали и многолетняя дружба, и единство эстетических взглядов, обостренный интерес к родному краю, к его социалистической нови. Их творчество чем-то схоже — лиричностью, тональностью, прежде всего, отчасти поэтическим лексиконом и тематикой. О схожести, разумеется, говорится не в смысле подражания или заимствования мотивов. Каждый из поэтов шел своим путем. В творчестве Петра Комарова можно особо выделить свойственную ему историчность мышления, у Степана Смолякова таким же образом выступают на первый план нравственные аспекты творчества. Это частный случай давно уже высказанного положения насчет поэтов — «хороших и разных».

Составитель сборника — поэт Михаил Асламов — продуманно и бережно отнесся к отбору стихов из литературного наследия поэта. По «Избранному» Степана Смолякова читатель, как мы здесь убедились, составит себе довольно полное и верное представление о творчестве известного поэта-дальневосточника, о направленности и особенностях его таланта. Жаль только, что издательство поспешилось несколько с объемом книжки. Не вошли в нее поэма «Встреча в Заречье», да и стихи разных лет могли быть представлены более полно. Следовало и проиллюстрировать книгу. Видимо, издание такого «Избранного» еще впереди.

Н. РОГАЛЬ.

ТРУДНАЯ НЕФТЬ

«Существенно укрепилась топливно-энергетическая база. Возросла выработка электроэнергии, добыча нефти газа, угля».

Из Постановления XXV съезда КПСС «Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы»,

Истории развития нефтяной промышленности богатейшего уголка нашей Родины — Сахалина — посвящен очерк инженера-геолога Н. Ф. Панфилова «Трудная нефть»¹, выпущенный в этом году Сахалинским отделением Дальневосточного книжного издательства. Очерк охватывает почти столетний период истории открытия, исследования и разработки сахалинских нефтегазовых месторождений.

В первой главе «Поиски, открытия, исследования» мы узнаем о простом человеке, якуте Филиппе Павлове, который в 70-х годах прошлого века часто бывал на Сахалине и не раз встречал маслянистую жидкость, что заполняла ямы и радужными пятнами расплывалась по воде. Якут назвал ее «Керосин-вода». А летом 1879 года, набрав в бутылку, Павлов отвез эту жидкость купцу А. Е. Иванову, который хорошо знал ценность нефти. И только внезапная смерть купца помешала начать разведку и добычу сахалинской нефти.

В этой же главе мы познакомимся с Г. И. Зотовым, отставным лейтенантом флота, зятем купца А. Е. Иванова, который продолжил начатое дело тестя. Для разведки и эксплуатации сахалинской нефти Г. И. Зотов снарядил экспедицию во главе с горным инженером Л. Ф. Бацевичем, который первым оценил значение охинской нефти и предсказал ей большую будущность. Мы узнаем о хлопотах Зотова перед Приамурским генерал-губернатором об отводе на охинской нефтеносной площади участка для производства разведок на нефть. Сознывая перспективность открытия промышленных залежей сахалинской нефти для судьбы русского Дальнего Востока, Зотов в ходатайстве указывал, какую конкретную помощь в этом деле он надеется получить от правительства. Но переписка Зотова с губернатором Сахалина и генерал-губернатором Приамурского края по этому вопросу тянулась около десяти лет, пока не оборвалась жизнь этого русского нефтепромышленника и исследователя сахалинского «черного золота».

И только после смерти Зотова, под нажимом прогрессивной общественности России, горный департамент отправил на Сахалин первую государственную экспедицию под руководством горного инженера К. Н. Тульчинского.

¹ И. Ф. Панфилов. Трудная нефть. Южно-Сахалинск, Сахалинск, отд. Дальневост. мн. изд., 1976.

В это же время наблюдается активизация иностранных нефтепромышленников, в первую очередь немецких, китайских и английских. Но Великая Октябрьская социалистическая революция помешала иностранцам завладеть богатейшими недрами Сахалина. После освобождения Северного Сахалина, с Японией было подписано выгодное для нашей страны (с экономической точки зрения) временное соглашение на предоставление Японии концессии на разработку сахалинских нефти и угля.

О первых советских горногеологических экспедициях, о начале строительства центра нефтяников — Охи и охинского нефтепромысла читатель узнает из следующей главы «Становление «Дальневосточного Баку». Первостроитель Охи И. З. Антонов подробно описывает путь, которым добирались первые добровольцы на север Сахалина:

«В Николаевск-на-Амуре наша экспедиция прибыла из Хабаровска на 32-й день. Город только начал зализывать раны, полученные в период японской интервенции. В Николаевске нашелся попутчик-эвенк, возвращавшийся на Сахалин с оленьей упряжкой. Поехали таким порядком: впереди двигалась упряжка оленей, за ней — две собачьи упряжки. 29 января 1928 года мы были в Москальво. Переночевали в стойбище нивхов. На следующее утро лошадей впрягли цугом. Вот и Оха. Советских построек на нефтепромысле — никаких...»

В конце этой главы дается обзор развития нефтяной промышленности острова в годы довоенных пятилеток.

Из главы «Для фронта, для победы» мы узнаем о том, какую неоценимую помощь оказали сахалинские нефтяники, поставив в годы войны горючее для всего Дальнего Востока и Восточной Сибири. И, несмотря на то, что часть нефтяников ушла на фронт, а их рабочие места заняли женщины и подростки, за период войны было дано стране три миллиона тонн сахалинского горючего. Это гораздо больше, чем добыча нефти на острове за десять довоенных лет.

В послевоенное время, с открытием ряда новых крупных нефтяных и газовых месторождений, значительно увеличилась и добыча нефти. Подсчитано, что с 1923 по 1975 год добыто нефтяниками Сахалина 55,4 миллиона тонн нефти и 12,5 миллиарда кубометров газа. Это результат того, что нефтяники Сахалина не останавливаются на достигнутом, а ставят перед собой все новые и новые задачи времени и с успехом их решают. А партия перед нефтяниками поставила много задач: это и сплошной переход к механизации и автоматизации основных процессов нефтедобычи, и бурение глубоких скважин под дно моря, и ускорение ввода в эксплуатацию новых нефтяных месторождений, и повышение эффективности буровых работ. С решением этих задач нефтяники Сахалина впишут новые страницы в историю разви-

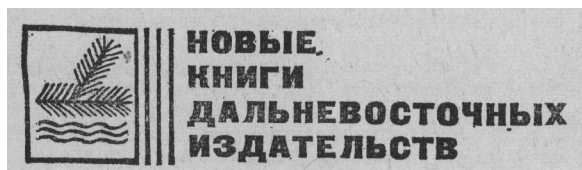
тия нефтяной промышленности островной области.

Нет сомнения, что это и к ним, к героям этой документальной книги, обратился с таким приветственным словом Генеральный секретарь нашей партии Л. И. Брежнев: «Разрешите мне от имени XXV съезда партии горячо приветствовать героические коллективы первопроходцев, труд которых ставит на службу Родине огромные природные богатства, дает новую

жизнь обширным районам Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока. Пожелаем им, товарищи, успехов в их трудных, но очень нужных стране делах».

Книга И. Ф. Панфилова содержит в себе много нового исторического, фактического и фотоиллюстративного материала. Ее с интересом прочтут и краеведы, и все те, кого интересует история развития «Дальневосточного Баку».

А. КАБАКОВ.



ХАБАРОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

НА КРАЮ НЕБА. Документально-художественные очерки о становлении гражданской авиации на Дальнем Востоке. Отв. ред. и сост. Н. К. Кирюхин. Хабаровск, Кн. изд., 1976. 304 с. («Адрес подвига — Дальний Восток»), Тираж 25 000 экз. Цена 66 коп.

Новая книга документально-художественной серии «Адрес подвига — Дальний Восток», состоит из двух частей. В первой части — «Предшественники» — рассказывается о том, как создавалась гражданская авиация на Дальнем Востоке. Здесь помещены воспоминания непосредственных участников событий тех далеких дней, в том числе прославленных летчиков М. В. Водопьянова и Н. П. Каманина, В. С. Гризодубовой и М. Н. Каминского. Вторая часть — «Наследники» — о сегодняшнем дне дальневосточных авиаторов, о преемственности поколений. Она написана работником Дальневосточного управления гражданской авиации В. Ф. Даниленко. Эта книга должна стать добрым советчиком и другом тех, кто хотел бы связать свою жизнь с авиацией советского Дальнего Востока.

Г. А. Федосеев. ПОСЛЕДНИЙ КОСТЕР. Повесть. Послел. автора. Ст. Г. Колесниковой. Хабаровск, Кн. изд., 1976. 200 с. Тираж 120 000 экз. Цена 32 коп.

«Последний костер» — последняя книга Григория Федосеева, автора книг «Смерть меня подождет», «Злой дух Ямбуя» и других, вышедшая посмертно, — рассказывает об удивительной жизни и трагической кончине героя его произведений, постоянного

спутника, проводника и друга-эвенка Улукиткана. Печатается книга по изданию: «Г. Федосеева. Последний костер. М., «Молодая гвардия», 1972». Заключает книгу статья о творческом пути Г. А. Федосеева литературоведа Г. Колесниковой «Борись, и после смерти борись!»

В. Корень. ОБРАЩАЮСЬ К ДРУЗЬЯМ. Повесть. Хабаровск, Кн. изд., 1976. 192 с. Тираж 15 000 экз. Цена 31 коп.

«Обращаюсь к друзьям» — повесть Писателя-комсомольчанина Владимира Кореньева о молодых воинах советской армии, о нелегкой, но благородной солдатской службе.

ЗЕМЛЯ ОХОТСКАЯ. Ред.-сост. Н. Т. Кабушкин. Хабаровск, Кн. изд., 1976. 208 с. (Города Дальнего Востока). Тираж 15 000 экз. Цена 48 коп.

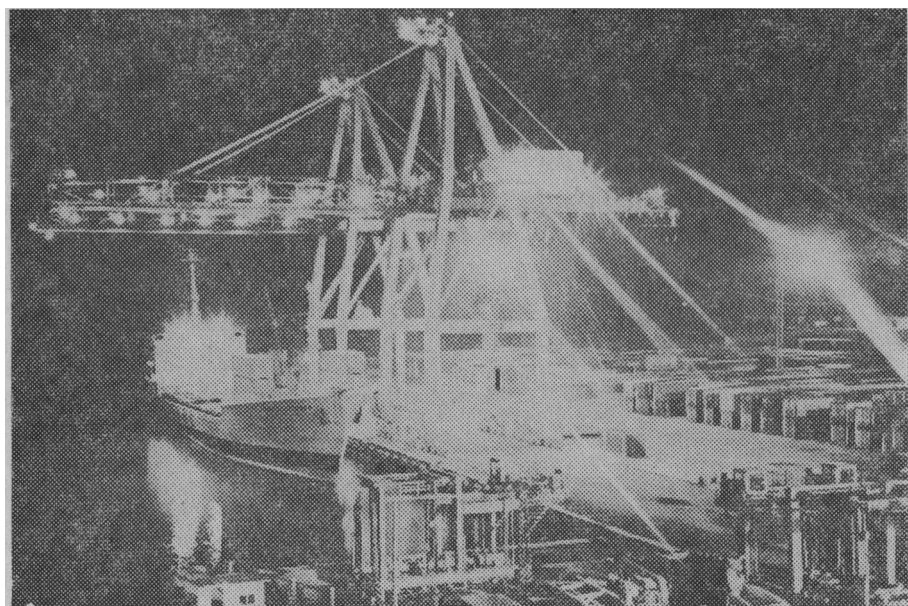
В книжке идет речь о городе Охотске, одном из старейших русских поселений на побережье Тихого океана, о незабываемых годах революционной борьбы и установления Советской власти, о социалистических преобразованиях, происшедших здесь за пятьдесят лет.

Н. П. Молостов. «ДАЛЬДИЗЕЛЬ» — ГАРАНТИРУЕТ. Хабаровск, Кн. изд., 1976. 32 с. («Опыт новаторов — в массы!») Тираж 1.000 экз. Цена 5 коп.

Коллектив завода «Дальдизель» одним из первых в Хабаровском крае стал выпускать изделия с государственным Знаком качества. О том, как организована на заводе борьба за высокое качество, о задачах дальдизельцев на десятую пятилетку узнают читатели из брошюры, автор которой — директор хабаровского завода «Дальдизель» Н. П. Молостов.

А. ЕВГРАФОВ.

ПОРТ У СИНИХ СОПОК



Всего пятьдесят минут нужно морскому трамваю «Находкинский рабочий», чтобы доставить пассажиров от вокзала Находки до бухты Врангеля. Здесь, у подножия крутых сопкок, работает и растет самый молодой в стране Восточный Порт.

Порту Восточный только третий год. Но молодо — не значит зелено! За это короткое время молодой коллектив порта набрал добрый трудовой настрой. Шестимесячное задание первого года десятой пятилетки по переработке грузов выполнено на 109 процентов. Сверх плана переработано около 50 тысяч тонн народнохозяйственных грузов. В нынешнем году у причалов бухты Врангеля побывало более ста лесовозных, щеповозных и контейнеровозных судов. Это только в первом полугодии. Для сравнения можно сказать, что за весь прошлый год Восточный порт посетило 113 судов. Это и естественно, ведь порт растет.

Еще в начале лета строители треста Дальморгидрострой сдали в эксплуатацию контейнерный терминал, который дал

право молодому порту именоваться международным. В течение июня у пирса терминала Восточного порта было обработано шестнадцать контейнеровозов, работающих на линии Находка — Восточный порт — порты Японии. Именно тогда в июне, коллектив терминала, руководимый инженером А. М. Кикахиным, добился пятидесяти процентной проектной мощности. А на теплоходе «Михаил Пришвин» бригады докеров-механизаторов Н. В. Горева и Д. И. Недбайлика осуществили скоростную погрузку, загрузив судно за семь часов.

Молодой коллектив контейнерного терминала взял обязательство довести интенсивность обработки контейнеровозов до проектной мощности уже в октябре-ноябре первого года десятой пятилетки.

Успешно действует комплекс по переработке технологической щепы. Из двадцати судов, побывавших у щепового пирса, пятнадцать обработано досрочно.

Быстрое освоение новой техники, постоянное совершенство-

вание технологии и организации переработки грузов позволили коллективу Восточного порта поднять производительность труда на 40 процентов против плана. Кстати, все погрузочно-разгрузочные работы на причалах порта ведутся почти без применения ручного труда — уровень комплексной механизации в первом полугодии здесь составил 98,8 процента.

Восточный порт работает и в то же время строится. На противоположном берегу бухты Врангеля идет сооружение уникального угольного комплекса. Сейчас строится шестисотметровый пирс. У его стенки будут швартоваться сто- и стопятидесятитысячетонные океанские углевозы. Свыше шести миллионов тонн угля будет погружаться здесь за год.

Работает и растет Восточный порт — крупнейшая морская перевалочная база на советском Дальнем Востоке.

На снимке: Порт Восточный. Ночной контейнерный терминал.

И. ТАРАСОВ.
Фото автора.

Новый комплекс аэропорта

Сооружение нового комплекса аэропорта началось в Хабаровске — воздушных воротах советского Дальнего Востока. Строители, ведущие вертикальную планировку новой взлетно-посадочной полосы, вынули первую тысячу кубометров грунта. С вводом ее в действие хабаровские авиаторы смогут принимать все существующие типы отечественных и зарубежных самолетов — при любых метеорологических условиях. Комплекс радиотехнических, светотехнических средств и средств управления воздушным движением обеспечит автоматический и полуполуавтоматический заход авиалайнеров на посадку.

Рядом с действующим строители возведут оригинальной архитектуры здание нового аэровокзала. При его сооружении будут использованы алюминиевые конструкции, гранит, мрамор, стеклопластик, другие современные отделочные материалы. Быстродействующие механизмы эска-

номят время пассажиров при сдаче и получении багажа. Новый аэровокзал за час обслужит полторы тысячи пассажиров — в два с лишним раза больше, чем существующий. Архитекторы Московского института Аэропроект и Дальаэропроект предусмотрели максимум удобств для пассажиров: два комфортабельные зала для транзитных пассажиров, отправляющихся в рейс, комнаты матери и ребенка. В непосредственной близости от вокзала разместится семизэтажный корпус гостиницы с рестораном на 250 мест.

Проектом намечается также строительство грузового комплекса, который позволит вдвое увеличить переработку грузов, значительная часть которых будет адресована БАМу.

Планом предусматривается завершение строительства комплекса аэропорта в десятой пятилетке.

М. ХАНУХ.

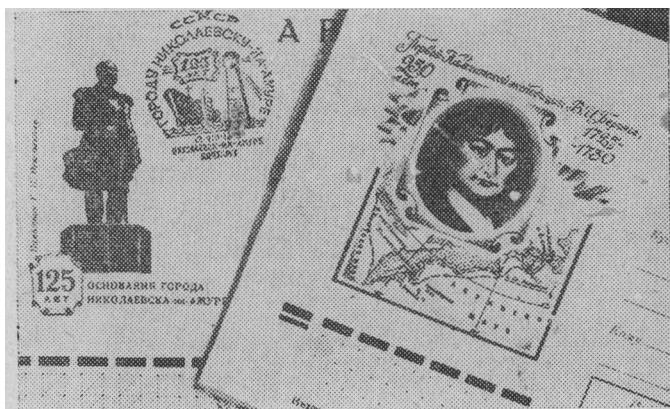
Командор В. Беринг и адмирал Г. Невельской на почтовых конвертах

В последние годы Министерство связи СССР выпустило ряд конвертов, посвященных памяти русских мореплавателей, прославившихся выдающимися географическими открытиями на Дальнем Востоке. Один из них появился в почтовом обращении к 250-летию Первой Камчатской экспедиции, снаряженной Петром I. Экспедиция продолжалась пять лет (1725—1729). Русские мореплаватели, возглавляемые В. Берингом и его помощником А. Чириковым, окончательно подтвердили наличие пролива между Северным Ледовитым и Тихим океаном, открыли острова Лаврентия, Ратманова и Крузенштерна, а также положили на карту южную оконечность Камчатки — мыс Лопатка.

На памятном конверте художник Ю. Арцименов воспроизвел портрет В. Беринга и схематическую карту северо-восточной окраины Азии, где показал маршрут экспедиции и открытые острова.

В 1974 и 1975 годах были изданы два конверта в честь выдающегося русского мореплавателя Г. И. Невельского (1813—1876), установившего островное положение Сахалина, ранее считавшегося полуостровом и основавшего русское поселение на Нижнем Амуре, ныне город Николаевск-на-Амуре.

На одном из конвертов художник И. Пчелко воспроизвел мужественный образ русского моряка, первопроходца и уче-



ного, автора замечательной книги «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России (1849—1855)».

На втором конверте, посвященном 125-летию города Николаевска-на-Амуре, показан памятник Г. Невельскому (скульптор Л. Бобровников), сооруженный в основанном им городе.

Память Невельского увековечена также специальными гашениями: 23 июля на Южно-Сахалинском почтамте было проведено гашение писем художественным штемпелем с памят-

ной надписью «125 лет открытия пролива Невельского». 13 августа 1975 года жители Николаевска гасили свою корреспонденцию специальным художественным штемпелем с надписью «Городу Николаевску-на-Амуре 125 лет».

Благодарные потомки, используя возможности филателии, воскресили в памяти советских людей легендарные подвиги русских моряков на Дальнем Востоке.

С. ШАПИРО.



Утро у города Невельска

Фото В. Журавлева

50 коп.

ИНДЕКС
73103